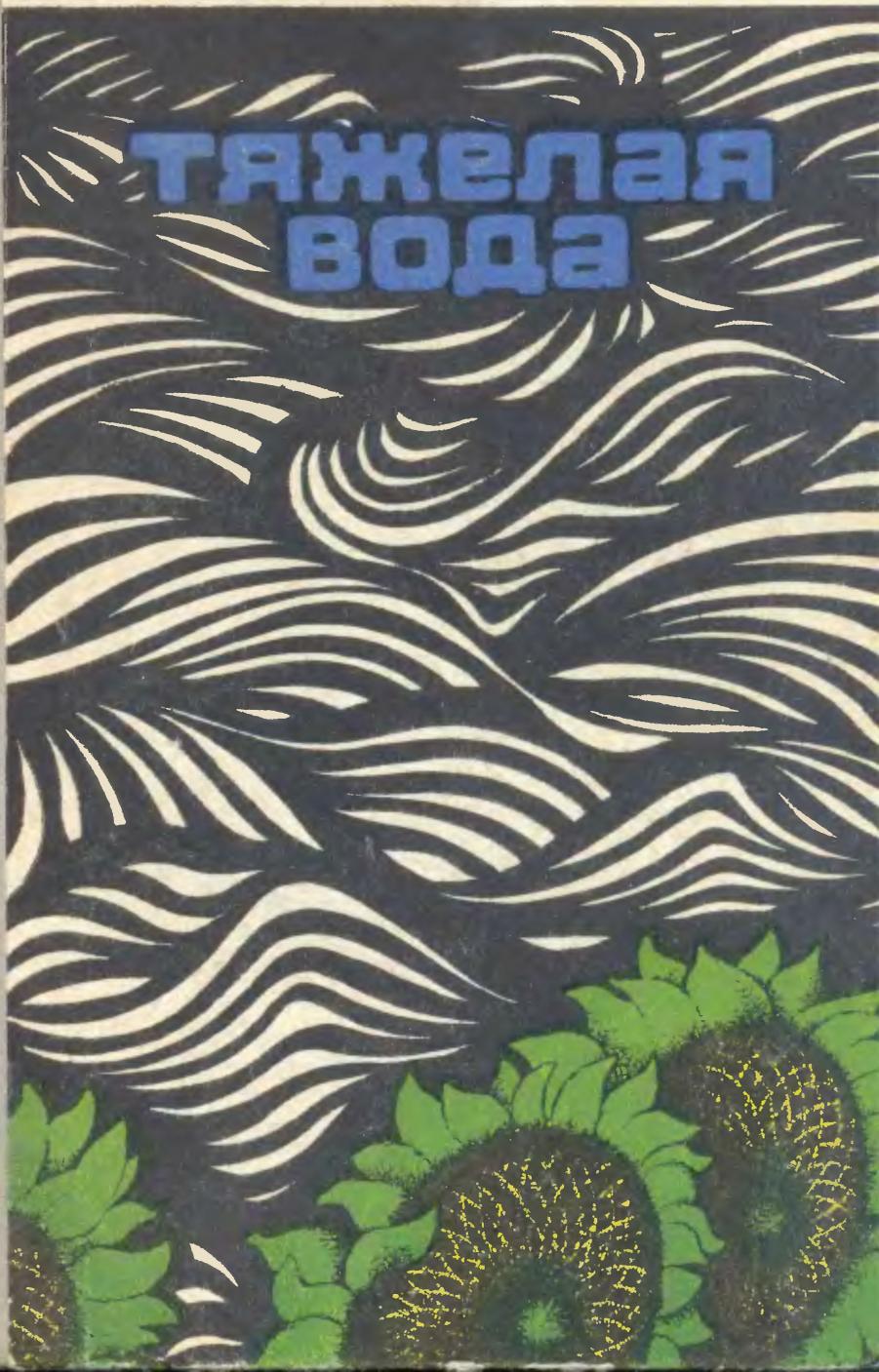


ВИТАЛИЙ ЛОГВИНЕНКО

**ТЯЖЕЛАЯ
ВОДА**

ВИТАЛИЙ ЛОГВИНЕНКО



©



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ВИТАЛИЙ ЛОГВИНЕНКО

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА

РОМАН, ПОВЕСТЬ И НОВЕЛЛЫ



Авторизованный перевод с украинского И. МАКСИМЕНКО

Виталий Логвиненко — известный украинский писатель, автор романов «Годы молодые», «Венчание», «Рубикон», «Росава» и нескольких сборников рассказов и повестей с моряках, о послевоенной колхозной деревне, о комсомоле. В годы Великой Отечественной войны писатель добровольно ушел на фронт, принимал участие в освобождении Варшавы и штурме Берлина. После войны был командирован ЦК ЛКСМ Украины на Краснознаменный Черноморский флот и служил политработником на подводной лодке.

Роман «Тяжелая вода» и повесть «Старые раны» рисуют героические будни советских моряков-подводников на боевых кораблях.

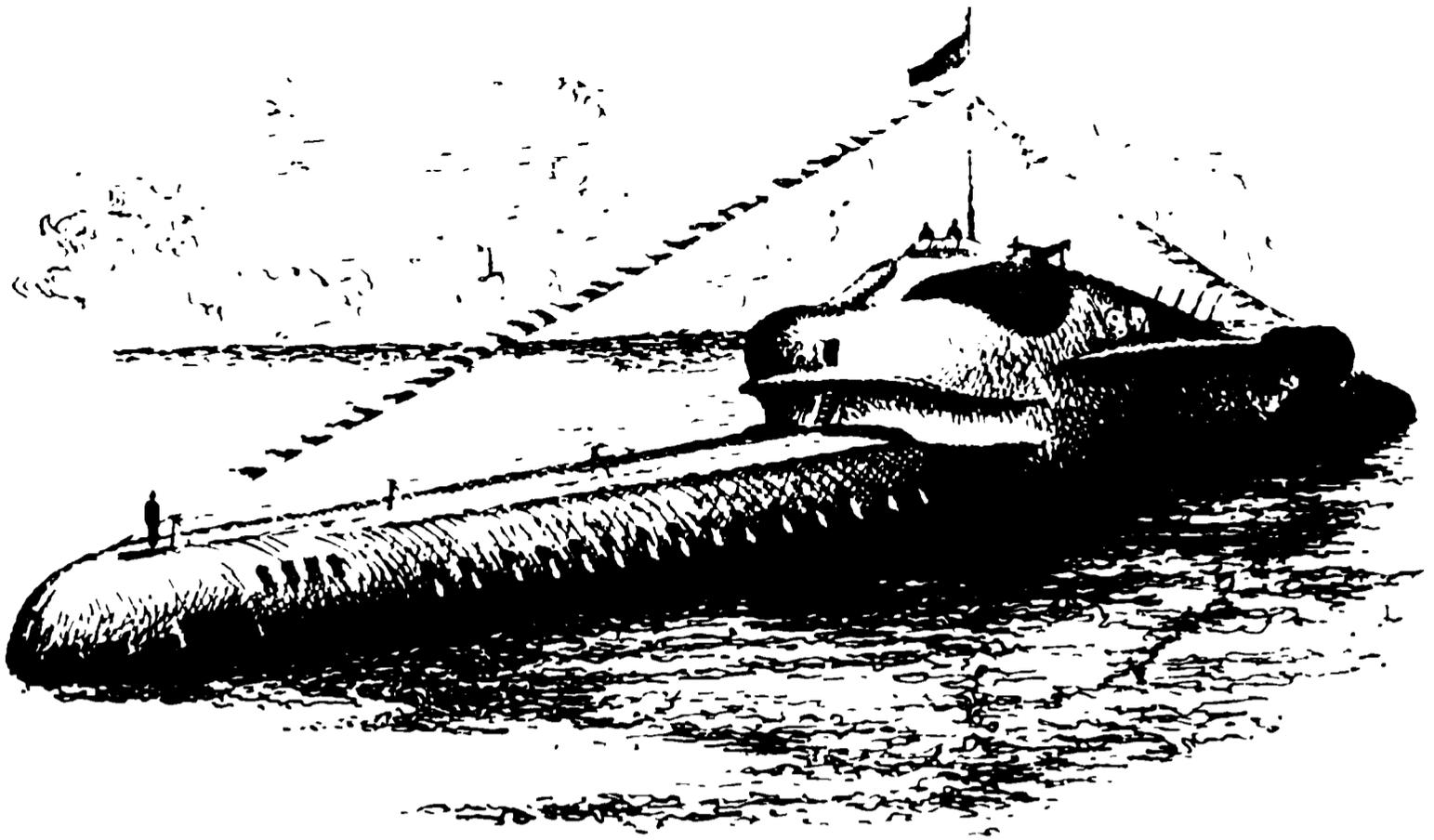
В центре внимания писателя экипаж атомного ракетносца: контр-адмирал Выдыш, жизнь и подвиг которого является образцом служения Родине, замполит Юрий Болюбаш, командир Арнольд Можаров, старшина Медядько, мичман Чотий, подводники Рязанов, Девушкин и другие. Все они составляют единый воинский коллектив, готовый в любую минуту выполнить боевой приказ Родины.

В книгу вошли также рассказы о моряках из времен гражданской и Отечественной войны.

© Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель»
1975 г.

**ТЯЖЕЛАЯ
ВОДА**
РОМАН





Океан! ». Над его беспредельностью, на разных широтах и меридианах, время от времени вздымаются огромные фонтаны, и из черной глубины выныривают зеленые сигары баллистических ракет. На мгновение повиснув среди крутых волн, они летят в космический простор, чтобы с необычайной точностью снова вернуться на планету грозными взрывами. И это ради безоблачного нового дня. Двадцатый век не знает расстояний, и мы обязаны выставлять передовые дозоры и под сводом небес, и в океанской бездне.

Кто мы?

Есть люди, родившиеся в море, и море для них — отчий дом; есть люди, для которых небо — превыше всего, и они спускаются к нам с небес в гости; а есть люди, ко-

торых ничем не оторвать от земли, — там их корень. А все мы единое — народ, которому одинаково дороги земля, небо и морс.

Для чего мы рождены?

Для продолжения рода человеческого, чтобы он постоянно совершенствовался, занимался созидательным трудом, а не кровопролитием междоусобиц. Мы готовы перенести любые трудности ради тебя, человечество! Не день и не два бьется наше сердце в морском мраке и будет еще биться много месяцев. И не романтика подводного похода, а неповторимая красота материка влечет нас. Мы пересекаем экватор и полюсы около самой мантии, которая опоясала земное ядро, а в мыслях дымчатые рассветы над волжскими или днепровскими плесами, и пробуждение трав, окропленных росами, и безмолвие хлебов, уже тяжелых от зерен, и цветение яблонь, и первый скрип журавля — все то, что является нашей Родиной, откуда каждому из нас простелен матерью рушник дороги в широкие миры, каждому свой, и где напоенная солнцем душа жаждет мира, добра и счастья.

Мы — это те, кому поручено стоять на страже эпохи в глубинах океана. Каждый день, а то и каждый час колокол громкого боя поднимает нас на ноги, бросает к боевым постам. Среди нас нет тех, кто устал, нет беззаботных, равнодушных, есть только общая сконденсированность знаний, натренированность до автоматизма, есть полнейшая подчиненность командиру и осознанная отреченность от всего постороннего.

Так было, так есть и так будет на всех морях Мирового Океана, где ходят и будут ходить наши атомные ракетноносцы. И если мы чем-то не очень похожи на Атлантов из легенды, так это потому, что мы просто люди.

ЯНВАРЬ

Ранним вечером низко на юго-западе, в начале месяца в созвездии Стрельца, затем Козерога, а в конце месяца — Водолея, ярко блеснит Венера. В течение месяца она становится все более отчетливо видной. Значительно левее и выше, на границе между созвездиями Водолея и Рыб, сверкает Юпитер. Всю ночь в созвездии Близнецов виден Сатурн. В середине ночи он располагается высоко в южной части неба. Во второй половине января в более южных районах на вечернем небе можно заметить Меркурий. Под утро низко на юго-востоке, сначала в созвездии Змееносца, а потом в созвездии Стрельца, виден красноватый Марс.

Демон летал в синих ущельях гор, освещенных полной, словно тарелка барабана, сверкающей луной; и горел костер посредине поляны, и языки пламени дрожали от ветра, а над всем этим звучала тревожно-печальная музыка Рубинштейна; и хор пел про ноченьку, как поет колыбельную обеспокоенная мать. Демон парил над девичьей кельей, из окошка которой помигивала свечка, а он, один-единственный свидетель греховных намерений адского изгнанника, был не в состоянии преградить ему путь в келью, к святости, — под сердцем кровоточила рана, и сгустки темной крови стекали по груди, застывали на пожелтевшей траве. Демон отлетел, исчезли в туманной мгле горы и ущелья, восторжествовал сумрак, и он почувствовал, что это было лишь фантазмагорией, а на самом деле он ранен фашистской шрапнелью. И лежит он на чердаке отцовской хаты, в селе оккупанты, и ему нельзя ни застонать, ни позвать на помощь, — перед глазами только щель около дымохода, словно глазок перископа. Кружится голова, донимает духота, хотя на нем матросская тельняшка и роба с ремнем и бляхой. А ноги босые, дочерна сбитые. . . «Тебя предали!» — кричит снизу Лида — невеста его, медсестра, а хату уже окружили вражеские солдаты. «Рус, сдавайся!» — и автоматными

очередями вперехлест. Через силу он становится на ноги, ищет оружие и не находит. «Лучше смерть, чем стать на колени!»

Белые-белые крылья... Они вырастали из рук, как вырастают только в сказках и во сне. Он взмахнул ими и вылетел птицей в ночную необъятность. Автоматные очереди трещали уже где-то внизу, со временем совсем стали неслышными. А он все летел да летел в поднебесье и сложил крылья только тогда, когда сердце забилося мучительно. Это был чистый вишневый сад, притихший, сплошь в цвету. Неподалеку обнимались двое влюбленных. Молодые и счастливые, как никто в этом всемирном водовороте. «Рус, сдавайся!» — и снова фашистские солдаты с автоматами наперевес. Он хотел взмахнуть крыльями и взлететь, но их словно и не было. «Бежим с нами!» Девушка схватила его за руку, и они втроем кинулись в заросли подсолнухов. Их обступали солдаты, а они прорывались из кольца в кольцо. Он потерял спасителей, утратил всякую ориентацию, но поклялся ни за что живым не сдаваться. И он шел и шел вперед сквозь сплошную стену шершавых подсолнухов, оставляя преследователей позади. Окончательно обессиленный, упал за этой стеной и потерял сознание. Его окропила утренняя роса, привела в чувство. Лежал среди пышной травы, весь золотистый от пыльцы подсолнечника. Яркая пыльца на ресницах, сладость пыльцы на губах. И рана этой пыльцой залечена... И он пошел дальше, к реке, заблестевшей сквозь туман. Его тяжелую голову окружил золотистый нимб, точно у богов, что когда-то в детстве взирали на него с икон. Он пожертвовал божественным нимбом и нырнул в реку, поплыл в ее водах среди рыб. Добрался до противоположного берега и вышел на сушу. И тогда увидел на покинутом берегу свою невесту, которая стояла в окружении зеленых упырей со свастиками — они раздевали ее. Он хотел крикнуть палачам что-то гневное, испепеляющее и не смог.

...Взглянул на часы — он сомкнул глаза только пять — семь минут назад, но все, что виделось, ранило сердце, внесло в душу сумятицу и печаль. «Не было этого, не могло быть! — отгонял он свои бредовые наплывы на грани сна и яви, о которых смог бы рассказать в по-

дробностях. — Это не мое. Это чье-то, услышанное... Чье же это? Чье?» — припоминал и не мог припомнить.

Ничего подобного, кроме него, никто не видел и не слышал: все они здоровее его и моложе и несли за плечами гораздо более легкий груз воспоминаний, переживаний. Они не знали войну такой, какой ее знал он, от первого до последнего ее залпа; они уважали его, преклонялись перед ним, как преклонялись перед всеми ветеранами Великой Отечественной, и готовили себя для новой, еще более страшной, может быть последней из всех войн, пережитых историей, и жили надеждами, что эта война никогда не разразится, а их баллистические ракеты всегда будут лететь в одну и ту же обозначенную акваторию Тихого океана.

У них в глубине стояла все та же мертвая тишина, так же равномерно лился с плафонов искусственный дневной свет, и температура воздуха не поднималась ни на полградуса, ни на градус, и его влажность не увеличивалась сверх положенной нормы. Никаких отклонений во всем, никаких перемен неделями, месяцами. Каждые сутки, как и всюду, двадцать четыре полных оборота минутной и один часовой стрелок на всех циферблатах, но без восхода и захода солнца, без вечерних сумерек и утренних зорь. Иллюзия дня и ночи. А горьковатый привкус полыни и вишневой коры в оттепель, похрустывание снега на тропинках, что протоптаны по первопутку, щекотка березового веника в щедро натопленной бане, как и аромат парного молока, — все это в мечтах и желаниях. Где-то высоко над ними раскачивалась сильнейшими ветрами Атлантика. По свидетельству синоптиков, над Скандинавией неистовствовал циклон. Циклон над Балканами, в Карпатах и Альпах. От Японских островов и до Курильской гряды взметнулся тайфун. Продолжалась война в дельте Меконга и Долине Кувшинов, где начался сезон дождей. А над ними вскипала свинцовыми волнами и вздымала смерчи бескрайняя Атлантика. Рядом с ними, в глубине, струилось теплое течение Гольфстрим. Еще вчера они находились под дугой северного сияния, в краю вечного безмолвия. Взломав ледяной панцирь, из океанской бездны вынырнула их ракета и нацелилась в звездную безвестность. Ракета оставила на ледяном поле вихрь огня и дыма. Пронзила дугу сияния, словно стрела, выпущенная из

гигантского лука. И снова иллюзия дня и ночи, хоть есть искусственное дневное освещение. И мягкое, матовое. И синий свет ночника на потолке кают и отсеков, который служит ночным небосводом с синей луной, без звезд и светил, без вечерних сумерек и утреннего розового горизонта. Нет ни на земле, ни на море, ни под водой ничего милее солнца! . .

Контр-адмиралу Выдышу после этих тяжелых сновидений не хотелось оставаться в каюте, лежать одиноко и мучиться от бессонницы. С точки зрения этики он не должен был вставать, потому что его малейшее ночное беспокойство, появление в центральном посту или отсеках, вероятно, истолкуют командир атомохода, офицеры и матросы как несомненный признак недоверия, опекуинства. Может быть, все это только кажется ему и к его присутствию за месяцы похода экипаж привык, но ранг есть ранг, и погоны контр-адмирала наверняка вызывали и вызовут не только беспокойство, а нечто более значительное, весомое. Он лежал на спине, с открытыми глазами, смотрел на потолок, где в синем ореоле светился ночник, а ему все еще грезился Демон, который летал среди синих гор, и слышались оперные мелодии. Приподнявшись на локте, чтобы поправить одеяло, Богдан Николаевич внезапно обнаружил непонятную синеватость рук. Невольный озноб на мгновение охватил его, задел изболевшееся сердце. Нет, он не то чтобы испугался очередного прихода; ему просто стало неприятно от ее постоянных напоминаний о себе. Он ее игнорирует давно, с молодых лет и до сих пор. Она не властна над ним, хоть он знает, что носит ее в себе, и в любой момент, при любых обстоятельствах готов принять ее вызов, причем без горечи сознания, что не успел распорядиться собой как следует: обязанность каждого честного человека — оставлять после себя везде и во всем порядок и ясность. И не причинять своей персоной печальных хлопот другим — ни тем, кто сейчас несет боевые вахты, ни тем, кто остался за океанским туманом. Сравнивая синеватость рук с синевой плафона ночника и ореола вокруг него, Богдан Николаевич кисло усмехнулся. Его до сих пор все на флоте знали как неисправимого оптимиста, и то, что думалось по ночам, оставалось никому не известной

слабостью возраста, которая происходит от переутомления и бессонницы.

Как и тогда, когда зарождались и набирали силу подводные корабли революционного флота, так и сейчас, в эпоху атомных ракетносцев, моряки называют политкомов «батями». Пусть это говорится за глаза, в отсеках, и независимо от чинов-рангов, но этим же не пренебрежешь! Море не принимает слабых духом, и моряки категорически отказывают любому, кто проявляет слабость, пусть даже минутную. Они же ничего и не скажут, если адмирал позволит себе немного расслабиться, не станут сомневаться в нем, не имеют права сомневаться. Но прежде всего он сам не имеет права показывать свою болезнь, чтобы не считаться преждевременно балластом на корабле. Именно поэтому Богдан Николаевич никак не мог успокоиться, поэтому все чаще и чаще его навещает назойливая мысль об этой близкой неотвратимости. Неужели Лидия Пантелеевна, Лида, жена и неизменный спутник на всех жизненных перевалах, права, называя его укрощенным львом с седой гривой? Да и грива его заметно поредела и почти ничем уже не напоминает львиную. А может, всему виной матовый свет?

Одиночество в каюте становилось невыносимым, и он, ожидая чьего-нибудь стука, уставился глазами в дверь, — пусть это будет хоть корабельный врач Аратский, от постоянных предостережений которого и в самом деле можно заболеть.

Осторожный стук в дверь поднял его на ноги. Он обрадовался, словно ему принесли долгожданную приятную весть. Выключив ночник, Богдан Николаевич зажег лампочку искусственного дневного освещения.

Командир ракетносца Арнольд Петрович Можаров, переступая комингс, поправляя на голове черную пилотку, окаймленную белым кантом, старался с некоторой беспечностью перезастегнуть на кителе все пуговицы, подчеркивая этим, что беспокоит контр-адмирала без особой надобности: сам только что отдыхал, а потому адмиральское неглиже не должно смущать их обоих. Еще раз поправив пилотку — она почему-то не держалась на его лобастой, стриженной под ноль голове, — Можаров доложил, мигая воспаленными веками:

— Товарищ адмирал, через двадцать восемь минут выходим в район торпедной атаки.

— Считай, командир, что я буду готов через пять минут, — усмехнулся Богдан Николаевич, не скрывая радости от появления Можарова и его сообщения. Голубовато-стальные глаза адмирала излучали мягкость, смотрели на него с доброжелательной живостью.

— Аратский предостерег... Так что я по обязанности... всего-навсего...

-- Никаких всего-навсего, Арнольд Петрович! -- весело возразил контр-адмирал. — Атаковать всегда приятнее и полезнее, нежели быть атакованным. Пять минут!

Можаров откозырял Богдану Николаевичу и вышел из каюты; закрывая за собой двери, снова поправил пилотку, съехавшую на ухо. «Пилотка совсем новая, а «краб» позеленевший. Отчего это? Флотские салаги вытравливают гюйсы — воротнички — до белизны, чтобы избежать насмешек бывалых, а Можарову к чему старый «краб»? Привычка? Или какая-нибудь личная примета?»

В центральном посту не чувствовалось никакой нервозности, которая на взгляд постороннего наблюдателя должна была предшествовать боевой тревоге и выходу на боевой курс, — вахта в общем обычная, без излишней торопливости и без заметной медлительности. Капитан второго ранга Можаров уже стоял возле пульта.

Сзади все те же колонны перископов, еще опущенные в шахты, и командирское кресло, вращающееся на штыре. Справа от Можарова — матрос Капуста, худощавый парнишка с трубкой-микрофоном, в наушниках и щупальцах ларингофона. Сосредоточены операторы перед досками с приборами, прыгает штурманский циркуль по карте. И всюду мигающие фонарики — красные, зеленые, желтые. И синие, как синий плафон ночника.

Богдан Николаевич спустился в гидроакустическую рубку. Здесь свет приглушен, мигают индикаторы кругового обзора, яркими точками-зернышками чертят на них замкнутые окружности.

— Горизонт чистый, товарищ адмирал, — доложил старший гидроакустик Медядько.

— Есть, старшина, — негромко отозвался контр-адмирал и присел рядом.

Тусклый свет способствовал непринужденности, и Медядько не слишком смущался оттого, что адмирал наблюдает за движениями его рук.

— Я не помешал вам, старшина? — сказал Богдан Николаевич для приличия, заранее уверенный, каким может быть ответ подчиненного высокому начальству, считал, что это будет способствовать их внутреннему сближению.

— Очень приятно, — сказал Медядько, следя за индикаторами.

Голосом Можарова заговорил центральный пост:

— Товарищ адмирал, через семь минут торпедная атака! Разрешите?

— Разрешаю, командир, — быстро отвечает Богдан Николаевич, но на индикаторах кругового обзора никаких перемен и старший гидроакустик готов по-прежнему уверять, что горизонт чистый. Где-то что-то шуршит, иногда слышно легкое потрескивание, а на экране словно ничего нет и не будет. Вдруг на нем возникает круг, вырастает всплеск. Издалека доносится ровная и четкая работа могучих винтов. Это — цель!

Медядько ее классифицирует, засекает время, заносит в свой журнал и только тогда докладывает центральному:

«Винты ракетного крейсера! Пеленг двести сорок семь!»

«Штурман, наш курс?»

«Наш курс — двести шестьдесят один».

«Лево на борт!»

О показаниях репитера гирокомпаса докладывает мичман Чотий, боцман ракетноносца, — он стоит на руле: «Двести пятьдесят... двести сорок девять... двести сорок восемь... двести сорок семь...»

«Так держать!»

«Есть!»

Пеленгаторы и сотни радиоламп торпедных автоматов стрельбы, которые до сих пор не подавали признаков жизни, вмиг оживают, определены все данные о цели — и уже, как заклинание: «Ноль!»

«Залп!.. Погружение на двести десять!»

Палуба словно убегает из-под ног. «Сто двадцать... Сто сорок... сто шестьдесят...»

«Торпеды прошли точно под целью, товарищ командир», — это Медядько из гидроакустической. И все облегченно вздыхают...

«Глубина погружения -- сто девяносто... двести... двести десять!»

«Стоп! Держать на двести десять! Осмотреться в отсеках!»

«Есть! Осмотреться в отсеках!»

Богдану Николаевичу не хотелось покидать гидроакустическую, где захватывающе можно было следить за экраном, на котором опустились всплески и окружность, вычерчивающаяся зерном яркого света, больше не выгибалась, а была именно кругом, и Медядько, записывая в журнал свой будущий доклад командиру, взглянул на адмирала с неподдельной признательностью за доверие и невмешательство.

«Центральный!.. Ноль часов пятьдесят две минуты по московскому времени... Горизонт чистый!»

Уходить из гидроакустической адмиралу не хотелось. К тому же сюда ни разу не заглядывал Аратский, как не заглядывал и в реакторный отсек, но через несколько минут Медядько заканчивал вахту и его, адмирала, присутствие при смене акустиков только смутило бы их, усложнило простую процедуру сдачи и приема вахты. Да и есть ли необходимость в том, чтобы после такого напряжения, которое выдержал сейчас старшина, тот, сменяясь, оглядывался на него, примерял свою безупречность к его личным пожеланиям? Ведь Медядько не покинет рубку, пока не выйдет старший начальник. Он устал, как могут уставать молодые, хочет одного — крепкого сна. В нем кипит юность, его не мучат глубокие раздумья и бессонница, которая приходит со старостью. Старшина, сменившись с вахты, не станет рассматривать своих рук при синем свете ночника, а повалится на койку и будет отсыпаться с удивительным блаженством. Никакой свет молодому не помеха — ни искусственный, ни дневной, ни матовый, ни даже тот, до которого сегодня не дошла мысль изобретателей.

Аратский подкарауливал Богдана Николаевича в центральном посту. До появления контр-адмирала он стоял в стороне от командирского пульта, опираясь плечом о перегородку, и не проявлял никакого интереса к тому, что делалось вокруг в центральном. Он даже скучал до зевоты от вынужденного ожидания, потому что никому сейчас корабельный врач не был нужен, и если бы не адмиральское нездоровье, он охотно отсидел-

ся бы у себя в санчасти, где ничего неделаешь никому не кажется бельмом в глазу, как вот здесь, и где стерильность во всем. Тайком все называли Аратского не иначе, как Белым Халатом, хотя корабельный врач надевал его только в своих владениях. Кто-кто, а майор медицинской службы Аратский — пример аккуратности и интеллигентности.

— Позвольте вас проводить, товарищ адмирал, в вашу каюту, — деликатно, с приятной картавостью, подошел он к Богдану Николаевичу, едва тот появился.

Вероятно, контр-адмирал собирался обсудить с Можаровым только что успешно завершённую ночную торпедную атаку, но вмешательство Аратского его сразу обескуражило и Богдан Николаевич покорно, как ребенок, прошел центральный пост. Можаров только усмехнулся вслед адмиралу, отметив про себя, что Белый Халат панористый и последовательный.

Богдан Николаевич попытался отпугнуть от себя Аратского и предложил:

— Я буду рад, майор, если вы меня проводите к реактору.

— Товарищ адмирал, я польщен вашим предложением. Однако прошу вас в каюту.

Отпираться дальше было бесполезно — Аратский заявил, что в случае неповиновения его медицинским наставлениям со стороны пациента он запишет это в бортовой медицинский журнал и доложит командиру, а командир радиогаммой — командующему флотилией.

— Не пугайте, — буркнул контр-адмирал, открывая свою каюту, — и не преувеличивайте, майор, моей болезни.

— Атомоход не профилакторий, товарищ адмирал. Мы с вами на службе.

— Именно так, — хмурился Богдан Николаевич, но майор на это не обратил внимания, потому что все пациенты, и довольные, и недовольные, слушаются наставлений врача. Речь идет не о чем-то случайном, обыденном, а об их здоровье.

Аратский заботился об адмиральском здоровье, и делал он это с большой ответственностью и пунктуальностью. Богдан Николаевич еще не успел снять китель, как майор уже принес приборчик для измерения давления, попросил товарища адмирала присесть к столу.

— Вы все, майор, печетесь о моем давлении.

— Я пекусь о вас, товарищ адмирал, вообще... А давление... Что давление? Измерим... и только. Вам бы вот сменить климат, поехать в Карловы Вары или в Ялту, куда-нибудь на юг.

— Мы идем на юг, майор, в Средиземное море. Слово по вашим рекомендациям. Как вам кажется, подходят мне средиземноморские широты? И глубина погружения?

— Подходят, товарищ адмирал, — вздохнул майор. Кровяное давление адмирала не снижалось, не действовали даже инъекции. Майор уселся в кресло и следил за тем, как Богдан Николаевич неохотно укладывался в постель.

— Включить ночное освещение? — спросил Аратский и протянул руку к выключателю.

— Нет, нет! — запротестовал адмирал. Подумал, что майора надо было бы отпустить, но тогда ведь снова придется остаться один на один с бессонницей.

Стук в дверь, не требовательный, а какой-то осторожный, заставил Богдана Николаевича поднять голову. Аратский вскочил, пошел навстречу тому, кто пришел, — врачу определять, стоит ли впускать его к пациенту, или нет.

На пороге возник Можаров, и майор почтительно отступил. На этот раз командир корабля зашел не один, с ним был его новый заместитель Болюбаш. Можаров сел в кресло, где до сих пор сидел Аратский, кивнул в сторону Болюбаша:

— У нас с Юрием Васильевичем, товарищ адмирал, приятная для вас новость.

И многозначительно взглянул на Богдана Николаевича.

— Не испытывайте моего терпения, командир, — усмехнулся адмирал и повернулся на правый бок, подбывая подушку под себя. Теперь его седая голова опиралась на руку, локоть которой утонул в подушке.

— Злоупотреблять терпением флагмана запрещено, — подтвердил с улыбкой Можаров.

Замполит протянул адмиралу радиogramму.

**«ВЕРНУЛАСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЧУВСТВУЮ
СЕБЯ ПРЕКРАСНО ТЧК СЕМНАДЦАТОГО ПЕРЕ-**

ВЫБОРЫ ЖЕНСКОГО СОВЕТА ТЧК БУДУ ПРОСИТЬ ОТСТАВКУ ТЧК БЕРЕГИ СЕБЯ КРЕПКО ЦЕЛУЮ ТИРЕ ЛИДИЯ»

Богдан Николаевич подержал радиограмму, перечитал и положил на стол.

— Супруга побывала в Минеральных Водах, а мы в нейтральных, — сказал, как о чем-то обычном, присутствием их будням, установленным службой.

— Курорты Кавказа и глубины Атлантического — тождественные понятия, — добавил в тон шутке майор Аратский, но никто ему на это не ответил.

Контр-адмирал лег на спину, потер затекшую правую руку.

— И второе, товарищ адмирал, — продолжал Можаров. — Но это уже по санкции майора Аратского.

— Что он должен санкционировать?

— Разбудить вас через два часа.

— Я не собираюсь спать, Арнольд Петрович.

— Вы будете спать, товарищ адмирал, я позабочусь об этом, — пообещал майор.

— Спорить не будем, — отмахнулся адмирал. — Говорите, командир.

— В четыре ноль-ноль мы будем в условленной точке Средиземного моря.

-- И переговорим по телефону с Русияновым?

— Так точно, с командующим флотилией.

— Я вам благодарен.

Можаров поднялся, чтобы уходить. Замполит уже держался за ручку дверей.

— В таком случае, товарищ адмирал, — вспомнил о своих правах врача майор Аратский, — я приготавливаю...

— Снотворное?

— Незначительную дозу.

— Ладно...

Все ушли, и Богдан Николаевич, выключив свет, постарался заснуть. Пытался ни о чем не думать, отталкивал воспоминания. А они, как птицы, собирающиеся на юг, слетались, толпились, кружились. К ним присоединялись все новые и новые, откуда-то издали, из прошлого.

...Таял выборгский лед, на котором он оставил лужу крови, раненный белофинским снарядом, — высаживались морским десантом на вражеском берегу. Медсанбат в Ораниенбауме, госпиталь в Ленинграде, госпиталь в Ставрополе. Единственный моряк среди армейских командиров, заброшенный туда не по доброй воле, а росчерком пера какого-то военврача, которому было все равно, где придет в себя политкомиссар Выдыш — между своих, флотских или пехоты, — лишь бы скорее вернулся в строй. Два месяца пребывания в палате с разговорчивым капитаном Сердягой, который по совместительству с основным своим делом артиллериста еще был и несравненным философом-путаником, стали для него новым испытанием, и он искал первой же возможности избавиться и от Сердяги, и от этого госпиталя. Ему обещали все — и дежурные врачи, и медкомиссия, и сам начальник госпиталя, — из этих обещаний можно было уже выстроить египетскую пирамиду. Капитан Сердяга говорил: «Богдан Николаевич, куда вы бежите, куда рветесь? Где я еще найду такого собеседника?! Мы же настоящие воины, узнали раскаленное железо! А воин, независимо от того, кто он — солдат или маршал, матрос или адмирал, — чувствует себя воином только тогда, когда победит или получит ранение на поле брани. До той поры он обыкновенное вооруженное пугало, которое способно носить на себе амуницию — и не больше. Если и погибнет в первой атаке — тоже победа, потому что это все-таки смерть воина». — «Слушайте, капитан, я советовал бы вам внимательнее читать Энгельса!» — «А в чем я неправ?» — «Да хотя бы в том, что противоречите энгельсовскому определению солдата — воина как такового! И сути нашей армии противоречите». — «Нет, Богдан Николаевич, вы уж слишком!» — «Не слишком, капитан. Армия, в которой основное — защита от вражеского посягательства, не ищет войны, чтобы ее солдаты таким образом почувствовали себя воинами. А вы... теоретизируете...» — «Признаю, товарищ морской комиссар, признаю! Но зачем же вам убегать из госпиталя? Хотите, я угощу вас марочными винами? Грузинскими? Армянскими? Крымскими? Где у меня еще будет такой собеседник, как вы?..» Оба на ногах, с одинаковым ранением — в руку, они вместе ходили и на перевязки, и в столовую, и на прогулки, вместе осваивали шахматные

секреты, с которыми их знакомил интендант, страстный шахматист, который доказывал, что линия Маннергейма была сооружена по всем законам шахматного построения. Он, моряк, не воевал на Карельском перешейке и не мог оценить правильности интендантской мысли, а капитан Сердяга, который там водил свой батальон на штурм белофинских дотов, так и не разобрался в этом, — его радовало, что линия уже не существует.

Где, какими путями-дорогами, прошел Отечественную разговорчивый Сердяга? Или, может быть, на каком-то этапе войны его путь закончился? Встречалась когда-то фамилия Сердяга, полковник, а то и генерал, промелькнула в одном из приказов Верховного Главнокомандующего и больше нигде не встречалась...

...Он уезжал в Пятигорск, где должен был долечиваться в санатории, а капитан все еще оставался в госпитале. На вокзале прощались растроганно, и если бы не все документы в кармане, он согласился бы на просьбу капитана задержаться в Ставрополе, потому что тот поезд шел только до Минеральных Вод. «Богдан Николаевич, товарищ комиссар, где я еще найду такого собеседника?..» Сердяга снял пилотку с остриженной наголо круглой головы и обнял его за плечи. Он тоже положил на плечи капитана правую руку, потому что у обоих на груди лежали левые, раненые, еще поддерживаемые бинтами, и мешали обоим стиснуть друг друга в сильных объятиях. Он посмотрел в прозрачные глаза капитана, и ему стало стыдно, что бежал от человека, который чистосердечно желал дружить и не хотел с ним разлучаться. Он ехал в Пятигорск, и ему вспоминались печоринские слова о том, что из двух друзей один всегда раб другого, хотя каждый из них в этом себе не признается... «...рабом я быть не могу, а руководить в этом случае — дело трудное, потому что нужно вместе с тем и обманывать...» Ему помогли внести в вагон чемодан, и поезд тронулся. Капитан Сердяга стоял на перроне и махал пилоткой до тех пор, пока вагон не скрылся за рядом тополей. До Минеральных Вод не присел, стоял около открытого вагонного окна и наслаждался степным раздольем, кое-где пересеченным балками, в которых лепились села с вишневыми садами, стройными тополями и журавлями, со всем знакомым и близким с детства. Минеральные Воды — конечная остановка поезда. Он

Вышел из вагона последним, прямо под полуденное солнце, что повисло на шпале вокзала. Боевой орден за финскую кампанию поблескивал на белом кителе, и его не без любопытства разглядывали станционные девушки-киоскерши, для которых новый человек уже давно не диковинка. Он купил свежие газеты в киоске, и киоскерша не преминула спросить, в какой санаторий прибыл. Разочарованная его ответом, расхвалила местные удобства по сравнению с пятигорскими и намекнула, что нигде — ни из Ставрополя, ни из Грозного, ни из других мест — приезжие не выкрадывают столько девушек, как из их Минвод. Она была красива, и он тогда подумал, что когда-нибудь может произойти здесь, на станции, похищение киоскерши со всем ее скарбом. Сам же был далек от этого и, поблагодарив за веселый разговор, направился на привокзальную площадь. За киосками, в палисаднике, из водопроводного крана проливалась вода, и в луже, разлившейся вокруг, чирикающая купались воробьи. Он попробовал эту воду, но ничего минерального в ней не нашел. На площади, кроме телеги под кленами, никого... Хоть возвращайся назад к киоскерше. Тем временем к бричке, запряженной парой гнедых дончаков, подошел хозяин-кучер в черной смушковой кубанке, запыленных хромовых сапожках, галифе и в синей косоворотке навывпуск, подпоясанный узким ремешком с украшениями и медными наконечниками. Казачок снял с вальков крайние постромки, забросил коням на спину, разнуздал гнедых, нацепил им на морды по торбе отборного овса и, поглаживая мизинцем свои пшеничные усы, любовался, как подкармливались его дончаки. «Простите, товарищ, — подошел он к хозяину брички, — откуда ваша тачанка?» Тот поднял на него прищуренные глаза, неторопливо промолвил: «А что?.. Совхозная, товарищ». — «Мне в Пятигорск, а сами понимаете...», — и показал казаку на забинтованную руку, словно и так не было видно, что он из госпиталя. «В Пятигорск? — и прикоснулся мизинцем к порыжевшему кончику усов. — А нам к Беште... С удовольствием, но направо будет... Ежели в совхоз подбросить, то директор позволит командира Красной Армии и в Пятигорск». — «Хорошо, заранее благодарю и за это». — «Клади чемодан на бричку. Курить будете, как вас... звиняюсь... не знакомы». — «Комиссар Выдыш... Прошу

мои», — и раскрыл папиросную коробку «Порт». Казак спрятал свой кисет с табачком, взял папиросу. «Пантелей Кузьмич, для вашего удовольствия... Кони крепкие, бричка на рессорах, поехали». Пантелей Кузьмич переждал зной, напоил коней. «Дочка моя Лидка задерживается, — сказал лишь после того, как его пассажир-моряк обеспокоенно взглянул на часы. — Покупками занята... А вы, не иначе, из Финляндии к нам?» — «Да, пришлось». — «И у меня ранение с гражданской, у Кочубея воевал... Из кубанцев произошел, товарищ комиссар. А жену брал отседова, с хуторов... Окаянная баба подвернулась, как чеченская буза...»

Павлина Фоминична, вы никогда не позволяли себе повысить голос на мужа при посторонних, не обидели ни единым словом или выходкой, а он, казак-шутник, все доказывал встречному-поперечному, что вы острая молодлица, у которой и рука нелегкая, и язык востер!.. И укоряли его, Пантелея Кузьмича, разве лишь за пристрастие к сорокаградусной, потому что он ведь числился кучером совхоза, возил не кого иного, как самого директора, который, учитывая революционные заслуги Пантелея Кузьмича, прощал своему кучеру разные чудачества, к которым то и дело прибегал он, изрядно выпив. И в доме вашем, Павлина Фоминична, всегда было убрано и, как на пасхальный день, пахло свежеспеченным хлебом.

...Продолговатое, смуглое до черноты лицо. Большие черные глаза, посматривающие с девичьей дерзостью, черные полосы бровей над ними, и легкий пушок над верхней губой, и родинка возле нее — все словно бы сплошь чеченское, назло ревнивому мужу. Черная с отблеском коса ниспадает на плечо из-под газовой косынки, которая прикрывала тонкую шею, тоже дочерна загоревшую. Кофта с высоким воротником и свободными рукавами на манжетах. А юбка цветастая, с множеством складок, не длинная и не короткая, как раз чтобы скрыть колени крепких ног, обутых в белые шнурованные тапочки с белыми носками. Такая вот Лидка его, Пантелея Кузьмича. «Здрасьте», — сказала ему, незнакомому, и отвернулась к отцу. «Ну как, все купила, Лидка?» — спросил Пантелей Кузьмич. «Не успела, на райкоме комсомола отсидели». — «Э-э-э, ти-и-ик его к лешему!...» И неодобрительно покачал головой. — Прошу вас, това-

рищ комиссар, на бричку. . . Лидка, да помоги же! Разве не видишь, что я коней ублагодворяю? Никакого в тебе соображения! Срамота!» Лидка-Лида помогла ему расположиться на бричке, позаботилась, чтобы он не задел раненую руку, — нашла подушечку — и села рядом. Между ними сразу же протянулась ниточка доверия. «Смотрите вперед, на отца», — сказала она ему, когда он попытался было улыбнуться ей, и тем самым предостерегла его и себя от ухаживаний, от ложного истолкования им ее доброты. . .

«Я вас люблю, Лида!» — признавались ей и пехотинцы, и артиллеристы, и летчики, и все получали от нее «нет», но ни одного она не оскорбила и всем говорила-советовала одно и то же: «Смотрите вперед». Ее руки за четыре года войны натомились бинтовать израненные осколками и пулями солдатские тела, она сама давала свою кровь уже безнадежным, и они выживали; и кто-то дал ей также, когда ее подобрала десантники на бруствере немецкого окопа, уже совершенно обескровленную и бездыханную. Но никому она не позволила переступить черту, определяющую девичье целомудрие, не оставила ни малейших надежд. . . «Смотрите вперед! . .»

. . .Ковыль и белая полынь подступали к самой дороге; дурманящая полынная горечь и удушливая сладковатость чертополоха, клевера, степного горошка, подсолнухов и кукурузных початков, которые начали пробиваться шелковыми ниточками, вместе с испарениями земли вызывали дрему, и он, укачанный рессорной бричкой, склонился к подушке и уснул. Наверно, спал он крепко и долго, как не спал за все месяцы в госпиталях, потому что когда проснулся, длинные тени от брички уже бежали впереди, пятиглавый Бештау остался где-то позади и дорога, извиваясь между лесками да буграками, должна была уйти в сплошные заросли древнего леса, поднимавшегося на косматый Машук и на весь восточный склон снежных вершин Кавказа. . . Ни розовые снега Эльбруса, ни синева Казбека так не поразили его тогда, как то, что вместо Пантелеса Кузьмича на козлах сидела Лида, а ее отца на бричке не было. Кони бежали рысцей, негромко пофыркивая, и Лида слегка понукала их негромкими возгласами. Кнут с бахромой на длинном вишневом кнотовище торчал рядом. Комиссар ни о чем не спрашивал ее, не напоминал о себе, а только смотрел

вперед, как велела она, уставившись в тучи, повисшие над горами, сверкающие в снежной голубизне, как костер. А еще видел острые девичьи плечи, черную-пречерную косу и смуглую, с пушистым желобком шею, выглядывавшую из-под косы. На каком-то повороте бричка покачнулась, Лида погнула на себя вожжи, кони пошли медленнее. Выехали на ровное — оглянулась на него. «А вы не спите? — удивилась. — И давно?» — «Не знаю», — ответил он ей. Над ними сомкнулись верхушки развесистых дубов и ясеней. То тут, то там попадались ольха, кусты терна и боярышника. «Где ваш отец, Пантелей Кузьмич?» — спросил он после паузы. «Сошел возле совхоза. Встретили директора, и он разрешил отвезти вас, как комиссара-орденоносца». — «А почему...» — «...не отец, а я с вами? Директор забрал его на отделения. Поехали на другой, выездной бричке...» — «Где мы?» — «В Пятигорске, разве не узнаете?» Узнать Пятигорск он никак не мог, потому что это была его первая и, быть может, последняя поездка туда в жизни — не выпадало как-то ни перед войной, ни позже, после войны, — каждый раз ему выписывали путевки на другие курорты...

«Я вас люблю, Лида!» — отважился он сказать ей на острове Ветров, в землянке, после боя, в котором пал почти весь их морской батальон. Он сказал это внезапно для них обоих, когда она напоила его горячим, без сахара чаем и заставила вздремнуть на узких скрипящих нарах. Укрывала полушубком, и он промолвил это, как произносится обычная благодарность. И она заплакала, потому что он долго не смел ей открыться и открылся так неуместно, что это ее обидело. А она уже считала его лучше других, ей нравилась его деликатность, нравилось то, что он лишен был сердечной глухоты и грубой силы, к которой прибегают мужчины на войне. И она вышла из землянки на холодный ветер и заплакала тайком, чтобы ни он, ни кто-либо другой не увидел ее слез. Позднее она будет убеждать себя, что это были слезы радости, веры в их счастливую звезду, звезду общей судьбы, но на самом деле она плакала все-таки от обиды. Многие говорили ей: «Я вас люблю, Лида!» — и взволнованно, и без волнения, и с театральными жестами, и без всяких жестов, но чтобы так вот, выглянув из-под полушубка... А он не понимал, как это было похоже тогда

на глумление, на благодарность за полушубок и чай без сахара. . .

Она возила его на своей бричке по всему Пятигорску, пока наконец не разузнала у курортников, где расположен армейский санаторий. У санаторных ворот Лида, как настоящий кучер-лихач, осадил гнедых, привязала к передку вожжи, прыгнула с брички. Сказала ему: «Подождите», — и пошла в проходную на переговоры с вахтерами. Заметно сгущался вечер, из-за Машука напознала темная-претемная туча, словно бы кто-то тянул ее волоком. Лида привела с собой сторожа, вдвоем помогли Выдышу сойти с брички, поднесли его чемодан. Он не успел спросить, как же она поедет назад на ночь глядя, как ее фамилия и конкретно откуда они, Пантелей Кузьмич и его Лидка-Лида, — а она вскочила на козлы и только взялась за вожжи да кнут, дончаки тотчас же ударили коваными копытами о мостовую, и бричка понеслась вдоль улочки. . . «Прощайте! Благополучия вам!» — крикнула издалека.

Еще был слышен перестук копыт и колес на мостовой, а над Машуком туча раскололась надвое от молнии и грома, ударившего вослед. Потом весь вечер и всю ночь сверкали молнии, грохотало от грома небо, не затихал ливень, и он, лежа в теплой постели палаты, все думал и думал о ней, о Лиде, которая мчалась на бричке-тачанке сквозь лес и степь, не боясь ни дождя, ни ветра, она, восемнадцатилетняя, со всеми оборонными значками на кофточке и с девизом: «Смотрите вперед!» стояла перед его глазами. Раскаты грома проносились над Пятигорском с какой-то последовательностью, и он невольно подумал, что это не Илья-пророк разъезжает на колеснице, а неугомонная Лидка-Лида напоминает о себе товарищу комиссару, мчится на бричке в небесах и не знают устали ни она сама, ни ее гнедые дончаки. Вся она в полете, в каком-то ореоле, и все вокруг нее тоже какое-то летучее, подвижное. . .

. . . Богдан Николаевич чувствовал себя так, будто хорошо выспался. Дышалось ему теперь значительно легче, и воздух в каюте казался более свежим, будто кто-то открывал иллюминаторы, которых никогда и не было и не будет на подводных лодках. Он не забыл, не мог за-

быть, исключить из сознания то, что атомоход находился в глубинах моря, что над ними невероятная толща воды и что это еще будет длиться неизвестно как долго. Он включил свет, решительно встал, сделал зарядку. Умылся с обтиранием до пояса и, очень довольный собою, побрился. Последнюю неделю его не покидала сильная усталость, мешала свободно дышать, сжимала виски, расклеивала нервы. Сейчас ничего подобного он не ощутил, готов был похвалиться командующему своим самочувствием. Что же это было раньше? Уступка собственным слабостям? Хандра? Или в самом деле какая-нибудь болезнь, о которой знают и он, и майор Аратский?.. «Ничего подобного! Нет ее и не будет! Не будет, как не было до сих пор!..» А есть у него счастье, есть торжество его жизни. И еще есть Лида, Лидия Пантелеевна.

В три ноль-ноль Богдан Николаевич услышал голос «Дельфина» — голос вице-адмирала Русиянова — так отчетливо, со всеми оттенками, словно это было очень близко, почти рядом, что он невольно разволновался. И он не сказал Русиянову все, о чем собирался сказать, а больше слушал сам, каждый раз выражая благодарность за заботу о его здоровье, о здоровье командира лодки и всего экипажа ракетносца. «Дельфин» отключился, однако Богдан Николаевич все еще держал телефонную трубку и отдал ее матросу Капусте как-то неохотно, будто «Дельфин» должен был снова заговорить с ним. Потом Можаров пригласил его в кают-компанию, и они вдвоем, попивая крепкий кофе, обсудили во всех подробностях телефонный разговор с командующим флотилией. Закончили деловой разговор, и контр-адмирал предложил сыграть партию в шахматы. Можаров не отказался и легко ее выиграл. Не удалось Богдану Николаевичу взять реванш и в другой партии, и в третьей, хотя он оказывал командиру корабля решительное сопротивление. Проигрыш не изменил его хорошего настроения, и он все переводил в плоскость дружеских шуток, посмеивался.

И не удержался, чтобы не рассказать Арнольду Петровичу свой сон с Демоном, который летал над синевой ущелий, и о музыке из оперы, которая послышалась ему, и о собственном полете с раной, которая кровоточила и была заживлена пылью подсолнечника. И о золоти-

стом нимбе богов, от которого он избавился, нырнув в прохладные воды реки.

— А мы ведь и есть, товарищ адмирал, морские боги, — улыбнулся Можаров. — Боги без нимбов и без всякой претенциозности.

— Потому-то я и нырнул, командир, — сказал контр-адмирал и окинул взглядом свод лодки, откуда ровно лился мягкий матовый свет.

— И мы с вами, — добавил Можаров, поняв сказанное Богданом Николаевичем как намек на то, что ракетносец шел по Средиземному морю на глубине. — И выйдем в условленный квадрат, и будем лежать на жидком грунте не хуже, чем лежится самому Посейдону. Вам приснилось или пригрезилось — как хотите, так и квалифицируйте, — но выглядит это и многозначительно, и пророчески...

Контр-адмирал нсторопливо ответил:

— Многозначительно? Пожалуй, верно. А вот пророчески ли, я не уверен, Арнольд Петрович.

Появился вестовой с подносом, на котором в чашечках дымился кофе, заваренный только что по рецепту Можарова, — кофе по-турецки. Пить кофе и не играть в шахматы Богдан Николаевич не мог. Командир лодки оставил себе черные фигуры, отдав белые Выдышу. Это великодушие командира контр-адмирал по достоинству оценил, заверив, что он уже готов проиграть Можарову и четвертую партию. Как зачарованный, он долго смотрел на шахматную доску и наконец заученно сделал ход королевской пешкой.

Корабельный лаг, казалось, не успевал считать пройденные мили — ракетносец по-боевому выходил в юго-восточный район Средиземноморья, где снова назревали острые международные события. Это там, вверху, под солнцем, назревал новый конфликт, который мог перерасти в войну, а тут у них, на глубине, стояла все та же мертвая тишина, они по-прежнему довольствовались искусственным дневным освещением. И мягким матовым. И синим светом ночника, который служит им ночным небесным сводом с синей луной, без звезд, без вечерних сумерек и утреннего розового горизонта...

А человечеству все теснее и теснее становится под солнцем, хотя ничего милее солнца нет ни на земле, ни на море, ни под водой.

ТОТ ЖЕ САМЫЙ ЯНВАРЬ

Я уже знал, что люблю ее, понимал и ощущал свою любовь, как могут это понимать и ощущать мужчины в таком возрасте — в одиннадцать лет. Потом я вырасту, познакомлюсь с многими девушками, не раз буду увлекаться и разочаровываться в этих увлечениях, будет у меня невеста, которая долго будет ждать меня и устанет от своего ожидания, но ее, первую, сохраню в сердце. Забудутся черты многих красавиц, как забывается все случайное, а ее черты, ее имя никогда не сотрутся в памяти, не испарятся. У нее, у Татьяны Степановны, были удивительно голубые глаза, в которых отсвечивали кроме правды еще и погожесть неба и моря, о которых она нам рассказывала в соответствии со школьной программой. Я сверял небо с ее глазами, а не ее глаза с небом. В глазах Тани (так называл нашу учительницу ее муж, начальник районной милиции) я пытался узнать море, о котором в еланецких степях знают только по киноэкрану да по флотской униформе морячков, приезжавших в отпуск.

Однажды весной Татьяна Степановна принесла на урок аквариум с водорослями, морской водой и рыбками, которые живут лишь в океанах и морях. Несли, правда, старшеклассники, но это был ее собственный аквариум, который достал начальник милиции для жены-зоолога, потому что он ее любил, наверное, не меньше, чем я. Что за чудо — аквариум — скажете? Они теперь есть всюду — и в квартирах, и в солидных учреждениях, за ними присматривают аккуратные секретарши. А тогда, в Еланце, это был первый. И Татьяна Степановна, видимо чувствуя мое расположение к себе, разрешила окунуть палец и отведать на вкус морскую воду. Вода была очень соленой. Я облизал губы и не поморщился. Как вознаграждение за это ее подарок, обыкновеннейший компас. Компас, который впоследствии выведет к морю и станет для меня маленькой реликвией. Возвратившись из первого плавания, я пошел к ней, чтобы снова посмотреть на ее аквариум, и не застал ее. Не знаю, встретится ли другая с такими глазами, чтобы в них я смог находить не только правду, но и мягкость неба и моря. Ибо находить ведь можно не только в детстве, но и в зрелые годы. . .

— В аквариумах, товарищ капитан третьего ранга, пресная вода. И не соленая, — говорит радист Зёма. Он до сих пор не вмешивался в наш разговор с Медядько, а конспектировал брошюру по теории относительности Эйнштейна. — Я сам собрал все, что можно было собрать об Альберте Эйнштейне и Нильсе Боре и теперь знаю: название «теория относительности» явно неудачно. Эйнштейн понял, что многие понятия, которые до него считались абсолютными, на самом деле относительны, а то, что считалось относительным, оказалось абсолютным.

— Неужели?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга, — утверждает Зёма. — Соленым был ваш палец.

Мы сидим в жилом отсеке для матросов и старшин. Сменяются вахты, и мне все время приходится кому-то давать разрешение войти и кому-то выйти.

— Не возражаю, Зёма. Но ведь в Севастопольском академическом и морская, и пресная. В том аквариуме были настоящие водоросли и настоящие золотые рыбки.

— Могли быть и водоросли, и рыбки, только не из морских глубин. А золотые рыбки известны в Китае и в Японии с древнейших времен. На Востоке выводились специальные аквариумные породы рыб, декоративные. Кометы, телескопы, вуалехвосты. У нас в доме в большом почете были вуалехвосты, причудливейшие по форме и пестрейшие по цвету. . . Иногда смотришь-смотришь на них, аж самому захочется стать такой рыбкой и поплавать вместе с ней.

— Ничего себе карась! — подбрасывает Медядько, улыбаясь широкой и добродушной улыбкой. Когда он улыбается, выставляя напоказ свои белые зубы, невольно кажется, что у него их словно бы больше, чем у всех остальных.

— Карась или не карась, — не воспринимает шутку Медядько серьезный Зёма, — а перехотелось, когда кто-то из домашних недосмотрел рыбок. Оставили открытой форточку, и в аквариум забрался соседский кот. Выловил, злодей, всех рыбок до единой. И бежал.

— Жаль, что тебя не сцапал, — снова смеется гидроакустик. Его, наверное, злит вмешательство Зёмы в наш разговор и то, что я не расскажу и на этот раз, как поступал в военно-морское училище. Медядько не собирается прощаться с флотом.

Приходит корабельный химик, старшина Девоушкин. Вот уж кому сниматься в кинофильмах о войне. Высокий, светловолосый, нос и щеки в веснушках...

— Мы в Средиземном, а оно сейчас точнехонько как аквариум с золотыми рыбками на всех глубинах. Куда твоим вуалехвостам! Американские «лафайеты» и «вашигтоны», английские «роджерсы», французские «редутабли»... С начинкой, да еще с какой! Икорка! Ядерная! Тесновато становится...

— Вы чего-то опасаетесь, товарищ старшина? — спрашиваю у Девоушкина.

— И да, и нет, — не таится химик. Это лучше, чем если бы он начал хитрить при мне, комиссаре. С ним, как и со всеми на этом ракетноносце, я еще не очень хорошо знаком, но обязан познакомиться. Познакомиться и изучить каждого досконально.

— Ну и личность же ты, Девоушкин! Сказано — химия!.. Чего закатил глаза? — придирается к нему Медядько. Радиста Зёму он от меня отшил — Зёма снова принялся конспектировать брошюру — и тотчас же хватается за химика, как Вакула за чертовы рога. — Ну что ты там высмотрел?

Девоушкин посматривает на свод.

— Ничего особенного... Скалишь зубы, а ты лишь представь себе, на какую глубину мы провалились! Плечам тяжело, как только подумаю. Словно мегатонны воды давят.

— Меньше думай. Мыслите-е-ель!.. Детонатор паники!

Склонный к гиперболизации, Медядько конечно же преувеличивает, хотя продолжительное пребывание под водой и повседневное однообразие, на мой взгляд, в какой-то степени сказывается на деятельности нервных центров. Все они, эти brave парни, ощущают это влияние меньше, чем офицеры или мичманы, которые старше их на десять, а то больше лет. Иногда хандрит кто-нибудь из молодых и не может объяснить даже самому себе, откуда у него эта хандра. Воспитанность, чувство локтя — неоспоримые факторы, без которых невозможно преодолеть психологические барьеры на подводном атомоходе. И идейная убежденность, о которой мы с полным основанием постоянно твердим. Я для того сюда и послан, чтобы она была у них «в плоти и крови».

— Зачем вы его так? — упрекаю Медядько, заступаясь за химика.

Исчерна-серые глаза гидроакустика хитровато прищуриваются, и он морщится так, словно жует лимон.

— Для профилактики, чтоб зря не болтал. Он ведь, товарищ капитан третьего ранга, запрограммировал для себя пойти в институт биохимии после демобилизации. Все сетует, что флотская служба — орбита, с которой ему уже пора спускаться. И жужжит нам об этом, как муха.

— Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, — нахмурился Девушкин. — Я ничего и никогда не боюсь. А ты переживаешь, чтоб случайно не поломалась флотская карьера. Адмиральский кортик держишь в чемодане!

— Держу, а что?

— Ничего, — отошел в сторону Девушкин. — В вашем селе, наверное, не заведено, чтобы без лычек приходили со службы.

Пикируясь между собою, они забыли о моем присутствии. Я вынужден был им напомнить об этом.

Медядько сидел нахохлившийся, словно петух, которого загнали на насест.

— Ты разглагольствовал перед товарищем капитаном третьего ранга, — не выдержав, снова напустился он на Девушкина, — о «лафайетах» и «роджерсах». А что ты знаешь конкретно?

— Минус на минус в жизни не дает плюс, — отбивается химик.

— А все-таки? Пусть не об американском, о своем скажи.

Я поворачиваюсь к Девушкину и жду. Нет, этот парень не зря окончил три курса политехнического и рос в семье известных биохимиков. Если он встречался вам до призыва на флот, то непременно на вечерах Клуба веселых и находчивых. С длинными волосами, в черном свитере. Пристально всматриваюсь в его лицо. Он воспринимает это как поощрение, как мое посредничество.

— Пожалуйста, интеллектуал!.. Атомный подводный ракетносец — эталон науки и культуры, дитя индустрии. . . Атомоход — сочетание новейших достижений ракетной техники, атомной энергетики, навигации и подводного кораблестроения. Синтез этих достижений.

— Слишком общо, — прерывает Медядько.

Я прикасаюсь к его руке, чтобы помолчал. Стиснутые только что в твердый кулак пальцы разомкнулись, расслабились, а сам Медядько почему-то покраснел.

— Существовали и развивались ударные авианосцы в Англии и в Соединенных Штатах. Самолеты с авианосцев считались главным средством доставки атомных и водородных бомб в отдаленные районы территории врага. Уже были освоены крылатые ракеты для подводных лодок, были построены и продолжали развиваться подводные лодки, способные нести на себе крылатые ракеты, а инженерная мысль направлялась в наш день.

Колокол громкого боя освободил Девушкина от дальнейшего соревнования с нахохлившимся Медядько — боевая тревога позвала всех на боевые посты. Я еще шел к центральному посту, а Медядько уже докладывал командиру о готовности из гидроакустической рубки, следом за Медядько слышался из переговорной трубы голос радиста Зёмы, химика, торпедистов. Они все обогнали меня, и это радовало. Для них уже все постороннее было забыто и есть лишь сконденсированность знаний, натренированность движений до автоматизма, до слияния живых организмов с организмом корабля. Полнейшая отреченность от всего постороннего, сознательная подчиненность единой цели.

— Смерть отдает ладаном, а жизнь пахнет нектаром. А тут вместе связаны жизнь и смерть и ничем не отдаст. И ни тени тебе, ни полтени.

Контр-адмирал Выдыш сказал это с какой-то скрытой досадой. Не знаю, почему. Раньше мне приходилось слышать от него самого и от многих офицеров, которые знакомы с Богданом Николаевичем с первых дней создания атомного подводного флота, что атомоходы — его слабость. Он сам, как член Военного совета, присутствовал при спуске на воду первенца современных ракетно-носцев и всех последующих, входивших в строй флотилии. Наш не исключение.

Атомный реактор, как и всю энергетическую установку, контр-адмирал знает не хуже инженера.

— У вас не болят глаза?

— Я привык к любому свету.

— Молоды еще. А меня ослепляет, у меня болят... от перенапряжения.

Яркий свет в других отсеках, а мы стоим у овальной двери, ведущей в реакторный. В коридоре таинственная полупрозрачность. Сквозь толстое стекло иллюминатора виден реактор. Стальная шарообразная посуда с многочисленными ответвлениями трубопроводов сверкает, не отбрасывая ни малейшей тени или полутени. Всюду стерильная, лабораторная чистота. И ничем не отдает, хотя там, как сказал Богдан Николаевич, вместе заключены жизнь и смерть.

— Юрий Васильевич...

— Слушаю вас.

— На лодку будут приходить свежие люди, будут сменяться поколения, но об инженер-капитане второго ранга Алексее Наивине не должны забыть. Он зачинал этот корабль и завершал.

— После возвращения, товарищ адмирал, прослежу, чтобы установили металлическую пластинку.

— Металлическую пластинку?

— Так точно. С текстом Указа о присвоении звания Героя. Медную или хромированную...

— Вы его знали, Алексея Яковлевича?

— Не пришлось, товарищ адмирал. Однажды он выступал с лекцией у нас в Академии, после похода на Северный полюс, но я в это время отсутствовал. Кажется, грипп свалил...

— С Аратским случайно не земляки? Его все время креследуют всякие простуды. Однако мы все им подвержены, — сразу же смягчил адмирал свою шутку.

— Грипп — одна из болезней двадцатого столетия. Эпидемии распространяются, как радиоволны. Подводная лодка в данном случае чудесный изолятор. ➤

Богдан Николаевич, насупив брови, кинул на меня настороженный взгляд.

— Слушайте, Юрий, не врач ли приставил вас ко мне?

— Вы сами пригласили обойти с вами отсеки.

— Сам пригласил? — И в его взгляде уже напускная наивность.

— Честное слово! Сразу же после отбоя.

Богдан Николаевич тяжело вздыхает, словно бы допустил непоправимую ошибку, и мы в добром согласии через энергетический отсек и центральный пост идем к ракетному. Для контр-адмирала здесь упомянутая

преграда — военврач Аратский с прибором для измерения давления. Он ничего не говорит, а идет следом за нами к жилому отсеку для офицеров. Контр-адмирал открывает каюту, пропускает Аратского, приглашает меня. Жестом приказывает садиться. Мы все молчим, словно в каюте адмирала должно произойти какое-то священнодействие. Богдан Николаевич тем временем снимает китель, кладет левую руку на стол. Аратский уже было заткнул уши слуховыми трубками сфигмоманометра, но вспомнил, что сначала его следует закрепить на руке, освободился от трубок; начал наматывать и завязывать тесемки. И все это делал молча. Наконец все было прилажено, можно нагнетать резиновой грушей воздух.

— Майор, — вполголоса произнес контр-адмирал, и врач на какой-то миг отпустил грушу, которую уже стиснул, — вы счастливо женились? (Я по возрасту старше Аратского, но все еще холост, однако контр-адмирал ни разу не задал мне вопроса, почему я не женат, хотя моя особа, кажется, должна интересовать его больше, чем особа врача: контр-адмирал должен определить, могу ли я оставаться замполитом на этом ракетносце или нет. И мое личное дело он просматривал до похода.)

— Все, кто женится, товарищ адмирал, надеются на счастье, — неопределенно ответил корабельный врач.

— Я слышал, что вы покорный муж своей жены.

Аратского, наверное, смущало мое присутствие. Кое-как объяснив контр-адмиралу, что мне крайне необходимо уйти, и получив разрешение, я отправился к себе. На всех и на вся, что касается службы, у меня достаточно времени, хотя его всегда маловато, но вот на свое личное... Современная жизнь резко изменяет свое спокойное течение, она нетерпима к колебаниям, ей присуща решительность во всем. Сознательно подчиняя себя общественным интересам, требованиям общества, не следует пренебрегать даром природы — чувством, которое дано лишь нам, людям. Борьба за него, отвоевывать. Прописная истина. А пригодны ли в любви какие-либо рецепты? «Свыкнется — слюбится» — не для меня. И почему я в женщинах вижу больше, чем следовало бы видеть? Быть может, я недостаточно присматриваюсь к себе? Эгоизм мешает?.. Среди конспектов, сохранив-

шихся с времен учебы в Академии, мне как-то попало на глаза мое выступление на семинарских занятиях «Человек и общество»: «...Давайте обратимся мысленным взором в прошлое, заглянем в будущее — все прекрасное, к чему стремились и стремятся людские сердца, все открытия человеческого разума находили и находят воплощение в труде человеческих рук. Я вижу миллионы рук, поднимающихся в едином порыве. И руки археолога, раскапывающие земные пласты — наслоения эпох, чтобы вернуть своему народу его историю без потерь и псевдонаучных искажений. И рука космонавта в тот момент, когда он решает сложные математические формулы, прокладывает новую трассу в космос. И руки молодой матери, кормящей свое дитя. И старенькие, изможденные руки матери, к которой не возвратились с фронтовых дорог сыновья... Руки отцов и руки детей... Руки тех, кто стоит на страже мира, и руки убийц, которыми подписываются приговоры целым народам. Пять пальцев одной руки, их пять. На них можно носить обручальные кольца, и одновременно ими нажимают спусковые крючки автоматов, как это засвидетельствовала кинохроника из Вьетнама...»

Мое выступление на семинаре профессор отметил самым высоким баллом, а товарищ, с которым мы вместе жили, сказал, что больше, чем «удовлетворительно», я не заслужил. Несмотря на оригинальный подход к теме и отсутствие ссылок на всевозможные авторитеты, то есть на отсутствие цитат. «Друг мой Юрий, ты увидел миллионы рук, а рук любимой так и не заметил. А ведь они ой как необходимы в жизни!» Я не возразил своему товарищу, потому что трудно было возражать: любовь ему далась счастливая и сразу, как говорят, с первого взгляда, и жена его, маленькая, незаметное создание, стала для него альфой и омегой существования. У меня тоже когда-то была невеста, очень давно. Свыше десяти лет назад. Если считать красоту для женщин непременной, то она была красива, хотя ее красота не претендовала на фотопитрины и журнальные обложки. Если не обращать внимание на ум, поскольку кое-кто убеждает, будто для женщин он необязателен, то его у нее было предостаточно, она воспитывалась на поэтическом наследии классиков, целиком разделяя мораль Татьяны Лариной. Она могла стать (и наверняка стала) порядочной женой,

отдавая тепло души своей безраздельно и детям, и мужу. Мы были ровесниками, но ее жизненный опыт, как и общее развитие, превосходили мои, — собственно, как это и должно быть: становление женщин происходит активнее в сравнении с мужчинами такого же возраста. Мой старший брат убеждал, что моя невеста еще где-то ходит под столом, но я пренебрег всяческими предостережениями и тем, что глаза ее нисколько не напоминали глаз учительницы-зоологички — острая боль моего детства, отправился на последнее свидание с твердыми намерениями, с недвусмысленным предложением. Это в самом деле было мое последнее свидание — она охладила мой пыл. «Никаких загсов, только венчанье в соборе. Там все приподнимает любовь, одухотворяет ее до бессмертия». Для меня, кандидата в члены партии, это было слишком!.. Она так и не поняла, почему я ушел тогда от нее. Я не отвоевал своей любви. Я не сумел разубедить свою невесту, доказать ей ошибочность ее взглядов.

— Товарищ капитан третьего ранга, разрешите?

Я уже начинаю привыкать к тому, что Медядько становится моим постоянным собеседником. Его интересует буквально все, и он на редкость благодарный слушатель. Будучи неразговорчивым, он в то же время умеет и поспорить. В учебном отряде, как признавался сам Медядько, его отучили от этого взысканиями командир и старшина роты. Вспоминает об этом гидроакустик с чувством юмора, беззлобно.

— Что-нибудь произошло?

— Я по поручению бюро. Корабль лежит на жидком грунте.

— Верно, — полтверждаю я, еще не догадываясь, к чему он клонит.

— И сколько еще будет лежать? Сутки? Двое?.. Или неделю?

— Не знаю, товарищ старшина. Мы находимся на позиции, и все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Сами знаете, мы не в обыкновенном походе... Так какое у вас поручение бюро?

— С вашего одобрения, товарищ капитан третьего ранга, хлопцы с торпедного подготовили диспут о любви. И все такое... «Психология современной любви...» Как раз есть возможность подискутировать.

— Это что, сейчас самое актуальное?

— А разве вы возражаете? Я ведь не от себя лично, а от имени всего бюро.

Сразу и не сообразишь, как ему ответить. Мне и самому было бы интересно принять участие в подобном споре, однако в настоящий момент есть куда более серьезные и неотложные темы для бесед с экипажем.

— Вы знаете, товарищ комсорг, в каком море находится наш ракетносец?

— В Средиземном. Морской театр всем известен... Эгейское, Ионическое, Тирренское, Адриатика.

— Верно. А какой самый агрессивный флот пребывает в этих водах?

— Шестой американский.

— Отсюда и вытекает, что прежде всего нам необходимо поговорить об агрессивной сущности американского Шестого флота и, в частности, о его атомных подводных ракетноносцах. А психологию современной любви не поздно проанализировать и в санатории, после похода.

— В санатории, товарищ капитан третьего ранга, не анализировать нужно, а действовать, — выставил напоказ оба ряда белых зубов Медядько.

И тотчас же убрал улыбку, будто и не улыбался вообще. Не угадаешь, какая мысль в одно мгновение отразилась на лице комсорга, однако слепое жало коснулось моего сердца: «Вы сами только что размышляли над этим, а нам нельзя?..» И я сказал несколько мягче:

— Конечно, товарищ старшина, мы обязаны учитывать интересы личного состава. Сочетание приятного с полезным...

— Служба есть служба, товарищ капитан третьего ранга, — сдержанно ответил старшина. — Отложим. Тогда посоветуйте, когда и как организовать беседы на ту тему, которую вы назвали.

— Скажу, все скажу.

Мы постепенно отошли от прежней категоричности (это я отошел) и договорились найти время и для первой беседы. Старшина немного повеселел, потому что к диспуту киномеханик припас и новый фильм на морально-этическую тему, то есть как раз о ней, о любви; фильм свежий, что называется, еще не прокрученный. Договариваемся, что беседа мичмана Чотия о международном положении, которую он провел в базе со своими

подчиненными, годится для всего экипажа. А к беседе есть у нас и зарубежная хроника.

— Если бы «Мертвый сезон» или «Братья Карамазовы»... — словно между прочим замечает Медядько.

На поток моих аргументов он согласно кивает головой: пускай будет и так. Пускай... И уходит от меня, не выражая ни удовлетворения, ни чувства разочарования.

Мне подумалось, что Медядько занят не тем, как лучше организовать беседу мичмана, а тем, что сказать торпедистам, которые, посылая его, надеялись размагнитить души и мозг от постоянного перенапряжения и сознания своей ответственности за пребывание в этих нейтральных водах. А может, старшина, как и я до сих пор, размышляет над тем, почему у него у самого не сложилась любовь? Это ему, Медядько, принадлежит выражение: «Не знаю, где мне суждено иметь свой надежный якорь, с которого никто не мог бы меня сорвать». И еще: «Она кичилась передо мной, что во всем стерильно чистая. Будто никогда ни в чем не ошибается. Безупречна во всем. А получается, что я запятнан? Чем же? Ненавижу стерильно чистых!» Так что же для него сегодня самое актуальное? Без служебных дел. Ведь он откровенно и честно сказал о том «самом», и я не спросил у него, упустил случай послушать своего комсорга. Я чувствовал, как все больше нарастает раздражение против самого себя. Уклонился от того, что обязан искать и находить, — душевной близости со всеми и во всем. По призванию и по образованию надлежит мне это делать. Два вузовских ромбика ношу на кителе, один из них академический. Если придерживаться едких определений Медядько, то я весьма образован, настолько, что стал стерильно чистым, просто идеальным. А они, подводники, не воспринимают таких и могут не воспринять меня, если я буду навязывать лишь свое и не буду считаться с тем, что предлагают они. А мы ведь все на глубине. Ни солнца над нами, ни луны, ни вечерней, ни утренней зари. Есть свет, искусственный и дневной, есть матовый и синий свет ночника. И для матросов, и для адмиралов, для всех.

«. . . Подводные лодки типа «Джордж Вашингтон» напоминают подводную лодку типа «Скипджек», но многое переиначено. Обратите внимание: отличия очевидны уже

в первом торпедном отсеке. Хотя на подводном ракетоносце типа «Джордж Вашингтон» сохранены все шесть торпедных аппаратов, количество торпед уменьшено вдвое — с двадцати четырех до двенадцати. Размещение техники и оборудования в носовой части второго отсека — центральный пост, пост управления ракетной стрельбой, — подобное размещение на подводной лодке типа «Скипджек». Точно так же три палубы делят отсек по высоте на четыре отделения. Почти одинакова планировка центрального поста управления подводной лодкой. Что же касается кормовой части отсека, то в ней на верхней и средней палубах расположены навигационная аппаратура, центральный пульт управления ракетной стрельбой, внизу — большой гидроскопический стабилизатор качки подводной лодки... Увеличилось на подводном ракетоносце и число устройств, которые выдвигаются в ограждении рубки. Дополнительными приспособлениями, которые выдвигаются, стали астронавигационный перископ и радиосекстан...»

Голос диктора с экрана удивительно схож с голосом Дениса Калиновича, беседу которого мы только что прослушали с неподдельной сосредоточенностью и интересом. Я не ошибся — давно известное всем из разных источников, заученное до оскомины, в новых, сложных обстоятельствах обрело иную значимость, иное содержание. Денис Калинович сидит возле меня и слушает объяснение диктора с таким же любопытством, как только что мы слушали его. А все повторяется, будто позаимствованное из конспекта мичмана. За исключением разве лишь чертежей, которых у него не было и которые есть на экране. И кадры хроники, снятой американскими кинооператорами для рекламы и запугивания...

«...Третий отсек — ракетный — разделен двумя палубами на три отделения. Вдоль отсека в два ряда расположены ракетные шахты. Есть люки для доступа в верхнюю, среднюю и нижнюю части ракет. На первых ракетных атомных лодках там были сферические баллоны сжатого воздуха для выстреливания ракет. Четвертый, пятый и шестой отсеки атомного подводного ракетносца

типа «Джордж Вашингтон» подобны реактивному отсеку, отсеку вспомогательных механизмов и турбинного отсека подводной лодки типа «Скипджек...»

— Товарищ капитан третьего ранга, — наклоняется ко мне сзади вестовой кают-компании Рамир, — командир приглашает к столу.

— Эй, кто там? Убери корону! — кричит спереди Медядько, потому что Рамир заслонил пучок киносвета и на экране, между двух шахт с ракетами «Поларис», проецируется черным пятном голова Рамира в бескозырке.

Вестовой втягивает ее в плечи и приседает на корточки.

— Командир приглашает, товарищ капитан третьего ранга, — повторяет Рамир.

— Позже, сейчас нельзя, позже... Объясни командиру.

— Хорошо, я объясню, — обещает Рамир со вздохом.

«...Устройство американских атомных подводных ракетоносцев двух последующих серий типов «Итен Аллен» и «Лафайет» в принципе является повторением подводных лодок типа «Джордж Вашингтон». Изменения носили характер последовательных усовершенствований, связанных главным образом с улучшением заселенности и усовершенствованием системы ракетной стрельбы».

На экране ходили симпатичные парни — американские подводники; они занимались своими делами и не проявляли никакой агрессивности в отношении наших парней, которые следили за их движениями, выражениями их лиц, угадывали за их деловитостью и ловкостью месяцы тяжелых тренировок, усталости, а то и разочарования в самих себе.

Медядько, как и многие другие, сидел прямо на полу, на палубе, поджав ноги по-восточному. Время от времени он недовольно ворчал — оттого, что кто-то мешал смотреть ему на экран, или оттого, что он видел на экране. Наклонившись и напрягая зрение, я присмотрелся:

кто же это рядом с гидроакустиком?.. Девушкин. Пытается что-то прокомментировать своему соседу Медядке, а тот лишь отмахивается. «Жужжит... жужжит...»

С экрана крупным планом улыбался офицер флота США. Его интервьюировал журналист, что-то записывал, и подводник улыбался. Он чем-то напомнил мне американского офицера, пилота-аса, который с экрана хвастался своими «подвигами» на вьетнамской земле. Это был пилот-ас, которого еще не сбили ни над Хайфоном, ни над Ханоем. А так все парни на экране симпатичные и спортивные.

«...Основным оружием атомных подводных ракетоносцев Соединенных Штатов являются три модификации ракет «Поларис»: «А-один», «А-два», «А-три» — с дальностями стрельбы соответственно две тысячи двести километров, две тысячи восемьсот километров и четыре тысячи шестьсот километров. Нам известно по данным американской прессы, что на боевом патрулировании находится двадцать — тридцать таких лодок и на борту каждой из них размещено по шестнадцать ракет с силой заряда каждой ракеты до миллиона тонн тринитротолуола. Командование военно-морских сил Соединенных Штатов считает, что подводная ракетная система будет эффективной и в тысяча девятьсот восьмидесятом году, когда продолжительность эксплуатации подводных лодок типа «Джордж Вашингтон» достигнет двадцати лет. Мы не забываем и о заявлении адмирала Берка, который, отвечая в телевизионной студии на вопрос студентов колледжа о количестве подводных лодок, необходимых для выполнения «своей работы», прибег к такому: «...Вы можете исходить из числа русских городов, числа мегатонн, необходимых для разрушения одного города, надежности и точности ракеты, и сами определите количество подводных лодок. После этого удвойте полученное число для обеспечения уверенности, и вы будете иметь число, близкое к тридцати».

Киноаппарат отстрекотал, и свет из его линз тотчас же погас. В отсеке стало темно, словно в глубоком погребе. Никто не пошевелился.

Вспыхнули плафоны, и матросы, словно по команде, вскочили на ноги. Я приподнял руку, и они остановили на мне свои взгляды, все одинаковые, пристальные. И на лицах сосредоточенность, как в строю.

— От себя лично и от всех нас я хочу выразить благодарность Денису Калиновичу, товарищу мичману, за содержательную беседу. (Моя благодарность, как мне показалось, несколько обескуражила Чотия.) Нашей благодарности заслуживает и старшина первой статьи Медядько. Все получилось содержательно и своевременно. Спасибо, товарищи.

Из отсека я не вышел, пока не рассредоточилось по кубрикам большинство; возле меня задержались мичман Чотий, радист Зёма и комсорг Медядько. Да еще за спиной, возле переборки, стоял химик Девушкин. «Что там у него? Сугубо интимное, наболевшее, и он ищет у меня совета? Или же служебное?» Девушкин смотрел перед собой, неуловимые тени блуждали по его бледному лицу. А может, оно только показалось бледным — при искусственном дневном освещении.

Медядько догадывается, что я хочу сказать ему что-то, и в ожидании чуточку наклоняет голову. Будто в чем-то провинился.

— Что, комсорг, не ожидал успеха мичмана? — в шутку поддеваю я его. — И никто не скучал!

Оглянулся, чтобы пригласить ближе Девушкина, а его уже и след простыл. «Не ко мне, значит, к Медядько какое-то дело».

— Денис Калинович научился ораторствовать, ничего не скажешь, куда там Цезарю или Курако. . . — И поморщился, так и не вспомнив других мастеров ораторского искусства, известных из истории.

— Это как же, Василий, понимать, — называя акустика по имени, заговорил мичман, польщенный комплиментом Медядько, — как насмешку? Шпильку подпускаешь?

— Как признание, товарищ мичман, и как поощрение к другим поручениям бюро. — А сам хитровато прищуривает свои исчерна-серые глаза, уставившись на Дениса Калиновича.

— А вы дипломат, — улыбаюсь я. «Куда исчез Девушкин? Как-то нехорошо мы с ним поступили, словно бы считали лишним. Нехорошо».

— Дипломатничать он умеет, — говорит мичман. — О, вы еще не знаете, товарищ капитан третьего ранга, этого украинца Медядько! Подводный консул!

— Чего не умею, того не умею, — серьезно ответил гидроакустик. — Словами не всякого проймешь. А мы имеем оружие. И не хуже их оружия, — кивнул он в сторону, на белую парусину экрана, которую в этот момент сворачивал киномеханик. — А то и получше... Так зачем же мне упражняться в дипломатии? Улыбаться там, где я в состоянии, — конечно, в случае самой крайней необходимости! — давать по зубам?

За ужином в кают-компании я рассказал об этой беседе Галаеву. Старпом Галаев, лакомясь воблой, пробормотал что-то наподобие: кто-кто, а мы покичиться умеем! У некоторых из молодежи, дескать, абсолютно отсутствует критическое начало в отношении к собственной персоне. Самолюбие мешает, к критике нетерпимы. Очень мало скромности у ребят, вот чего им недостает. Грамотны, научились разглагольствовать без устали. Медядько — типичный представитель нынешней молодежи. А Девушкин — еще типичнее. Зазнайство — это не та сила, которая нужна флоту. Молодежь нужно повседневно воспитывать. И не восторгами, на которые столь щедр замполит, а суровыми служебными требованиями. Суровость еще ни в чем не повредила, ни в чем и никому.

Галаев чистил воблу с таким неистовством, что было слышно, как потрескивают сухие рыбы косточки. Отломил и положил на тарелку рыбью голову и принялся неторопливо отделять мякоть от костей. Запивал воблу черным кофе, который разносил Рамир.

Офицеры отмалчивались. Закончится ужин, разойдутся по каютам — каждый со своей невыраженной, но правильной для себя мыслью. И я пойду, словно бы осмеянный за несовместимый с флотскими уставными требованиями чрезмерный восторг молодежью. Доказать старпому ошибочность его убеждений? Ведь он просто не понял, о какой силе сказал старшина первой статьи Медядько, что он имел в виду!

Странный человек этот Галаев, очень уж во всем категоричен! Интересно было бы знать: влюблялся ли он когда-нибудь сам и любили ли его женщины — горячо, верно, до самозабвения?..

ФЕВРАЛЬ

С раннего вечера на юго-западе, сначала в созвездии Водолея, а потом Рыб, ярко блеснит Венера. Возле нее виден яркий Юпитер. 17 февраля планеты сближаются. К концу месяца видимость Юпитера ухудшается, и он скрывается в лучах вечерней зари. Всю ночь в созвездии Близнецов можно видеть Сатурн. Под утро низко на юго-востоке, в созвездии Стрельца, виден красноватый Марс.

Седьмые сутки подводный ракетоносец неподвижно лежит на жидком грунте. Притаившийся, как могут лишь таиться гигантские финвалы, и внешне вполне безопасный, — если атомные ракетоносцы вообще могут быть безопасными. На глубине Средиземного моря тот же мрак, что и в Атлантике, в Северном и Баренцевом морях. И та же мертвая тишина и в гидроакустической, на индикаторах кругового обзора никаких изменений, хотя они постоянно чертят те же самые замкнутые круги ярким светом точек-зернышек. Тускло мерцают индикаторы, ровно светится экран, и вахта акустиков длится вечность, как длится летаргический сон.

Медядько привык как никто другой из его коллег к этой вахтенной летаргии. Улавливая шумы за бортом и часами наблюдая за экраном (когда там появится круг на нем и вырастет всплеск, чтоб обозначить цель!), старшина первой статьи умудряется мысленно обнимать и царство Нептуна, и предаваться воспоминаниям. Чаще всего вспоминаются ему две колени зимней дороги, наезженные полозьями в сторону их села. Четыре отпуска было у Василия Медядько на флоте, и все они были в феврале, в морозы и метели. Всегда односельчане видели его в шинели и шапке, будто он и не настоящий моряк, тот, что в бескозырке и белой форменке. Девушки-танцовщицы из колхозной самодеятельности отстукивают флотское «яблочко» в морской униформе — закупил им Дом культуры в военторге, — брюки расклешены, бескозырки блином, наперекор всем уставам. А Медядь-

ко никогда не нарушал уставы, служил исправно. Исправно не значит заискивающе, потому что заискивают больше всего те, кто нарушает. И отпуска себе майские не выпрашивал, привык, что его месяц — февраль, со всеми удобствами и неудобствами. В прошлое лето побывал дома в августе, но это только одно огорчение, по крайней необходимости.

А так — две колеи зимней дороги, выглаженные полосьями и присыпанные кое-где соломой или сеном, да проталины с конским навозом и со следами подков. И еще затуманенная инеем полынь на окольных дорогах, свежий заячий или лисий след, и сизость низкого неба, которое покоится на снегах, и степная зимняя тишь, в которой заглушаются все звуки, как на глубине.

Слева по борту ракетносца — остров Крит, за кормой — Родос и острова Киклады. Где-то неподалеку от их лодки на морском дне есть корни этих островов, ибо ему, Василю Медядько, врожденному степняку, с малых лет казалось, что острова на море похожи на водоросли и кувшинки на Черном Ташлыке, и, как кувшинки, врастают корнями в самое дно, и держатся их темно-зеленые листья на воде, как на стеблях. Между Родосом и цепочкой Киклады и другими островными россыпями Эгейского моря, через Дарданеллы и Босфор, курсом норд-ост будет обратный путь в Севастополь, в Новороссийск или же в Одессу. Кратчайший путь домой. Санний след всегда кажется более длинным, чем след под водой на ракетносце; ибо тот, что в степи, со всеми его изгибами, выбоинами, будет лежать до весенней оттепели, а этот, подводный, никогда не останется, как не остается след звезды, падающей и угасающей в одно мгновение. А еще дорога лишь тогда является дорогой, со всеми ее свежими и старыми колеями, когда улавливается запах дымка из дымохода и иногда доносится издали переключка петухов. С недавних пор это петушье пение все чаще слышится Василю Медядько и во сне, и наяву. Тревожно беспокоит оно на вахте, мешает различать шумы и звуки за бортом, поступающие сверху и всплывающие снизу, которые регистрирует чуткая акустика. Среди златогрудых, ярко-красных, с пышными сизо-фиолетовыми и черно-каштановыми хвостами и куцыми, без

хвостов, старшине неизменно виделся пестрый петух, у которого красивый гребень, красные сережки и громкий голос. И все это после последнего отпуска, после краткого посещения Кривой Пущи, где есть такой петух и где в степной долине еще водятся стрепеты...

Третьи петухи провозвестили рассвет, отогнали сон. Один из тех, что нежат, но не запоминаются. Ночь на родном сеновале, о которой он мечтал и в матросской казарме, и на подводной лодке, промелькнула мгновенным забытием. За один день он должен был уладить в сельсовете куплю-продажу родного дома и успеть на рейсовый автобус, который заворачивает в Кривую Пущу раз в неделю. Надеяться на оказию — значит опоздать из отпуска, который предоставлен ему по семейным обстоятельствам. Он спал на чердаке старого сарая, который давно использовали как курятник, и петух-пестряк кричал в самое ухо, словно решил выгнать отсюда. Вставать не хотелось, хотя и покалывала в бок сухая ветка, вылезшая из сена и проткнувшая дерюгу, на которой он лежал, и около пятки шевелилась, щекоча, какая-то букашка. Полежать бы еще часок, полчасика или четверть часика — ведь как-никак, а это будет последний раз в родном доме.

Отсюда он пошел, крест-накрест повязанный полотнами, под пьяный гул и шумные песни родных и девчат, с сундучком в сельсовет, где собирали допризывников. Там вытер у матери жалостливые слезы, попрощался со всеми и в компании сверстников на грузовой трехтонке покатил на станцию, а оттуда эшелоном к Черному морю, в Севастополь. Каждую зиму приезжал в отпуск, и каждую зиму одинаковые встречи и прощания. Теперь отпуск из-за маминой смерти. Поздно узнал, когда вернулся с Индийского океана. Через четыре месяца. А сейчас позвали родичи, встревоженные за двор, за хату, к которой подбирались чужие руки, — за давностью пользования она могла стать общественной собственностью. Посягательства неопровержимые — новый председатель сельсовета Евгений Минович, только что демобилизованный танкист, уже поселил в его пустом доме агрономшу, которая приехала к ним из Одесского института и теперь хозяйничает на его дворе, словно она прирожденная кри-

вопущенская. А хата стоит на видном месте, встречаются покупатели, так неужто подводнику помешает лишняя тысяча? Он попробовал еще чуточку подремать, но уже не дремалось. Над ним прогибались заросшие паутиной старые стропила, нависла дряхлая кровля. Кое-где сквозь соломенные почерневшие снопы пробивался солнечный луч, и на чердаке было видно, как ранним вечером бывает видно в тени или как обычно видно в гидроакустической рубке. Под стрехой чирикали воробьи, — наверное, ссорились между собой.

Лег в темноте и не заметил, что рядом, около подушки, лежала заржавленная, зазубренная коса, — когда-то он ненароком порезал ею палец и со злости забросил сюда, от греха подальше. Стояла прялка, покрытая пылью и вся в паутине. Колесо с потрескавшимися спицами, верхнее и нижнее веретена с пересохшими крючьями. Прялку на чердак вынесла покойная мать. За прялкой на ворохе лежалых отрубей голые кукурузные початки и выщербленный кувшин. Дужка от ведра, ржавый обруч... А петух хлопает сильными крыльями и кричит не своим голосом.

Клохчут и бранятся несущки на насесте. Скрипнули двери сарая, отворились. Это квартирантка выпустила кур во двор. Созвала их, посыпала что-то, и они весело закокотали. Квартирантка с кем-то поздоровалась и пошла. А он сложил вместе подушку с дерюгой, взял в охапку и не спеша снес по лестнице вниз. Лестница под ним скрипела, хоть сделана была из стоящего дерева — из береста...

— Рубка, как горизонт? — спрашивает у Медядько вахтенный офицер с центрального поста. Вахтенный офицер — помощник командира, Людас Вайнейкис.

— Горизонт чистый, товарищ капитан-лейтенант.

— Есть, старшина.

...Квартирантка — агроном Вера — сварила на очаге галушки с молоком, нажарила яиц с салом. Пригласила его завтракать, и он не отказался, хотя у него в чемодане черствело колечко полтавской колбасы, полтора бублика и сто граммов голландского сыра. Все куплено

в поезде у разносчицы на сдачу от пива. Пивом он сразу утолил жажду, а сдачу запихнул в чемодан и забыл. Вспомнив утром, уже за завтраком, выложил на стол. Вера для приличия попробовала и колбасы, и сыру, но ела только яичницу, пила молоко. Галушки достались ему. «Вы хорошо сделали, что спали на чердаке, — сказала она и смутилась так, что на ее курносом носике и круглых щечках покраснели веснушки. — Вот только, паверное, неудобно было». — «Я люблю спать на сене, — сказал он, обжигая губы молоком. — Если бы не проклятый петух. Днем дремлет в бузине, а ночью сам не спит и другим не дает». — «Вам было жестко?» — спросила она, и ее веснушки обозначились ярче. «Нет, спасибо». — «А то навевдывалась тетка Химючка невзначай. . . не вместе ли мы? А вы же знаете Химючкин язык». — «Чихайте на все. Болтовня не болячка, свербит не вам. . .» — «Э, пет, Василий Иванович, у меня репутация». — «У всех репутация». — «Так-то оно так, но Химючку уже никто не соватает». Девушка — одиночка, и естественно, что к ее чести односельчане относятся придиричиво, взыскательно. Пускай и красоты в ней не много, и тела, и прическа проще простой, да ведь агрономша из Одессы. Некоторых сельских молодиц удивляют Вернины брючки, в которых она появляется среди женщин, и легонькая кепочка. А он воспринял эти ее чудачества как само собой разумеющееся — мода, как телевидение, не знает теперь границ. «Должна подыскать квартиру, — сказала она. — Вещи свои я сложила, осталось только перебраться». — «Есть что-нибудь на примете?» — «А ничего. Вы приехали внезапно. Не ждала, хозяйство завела». Он впервые взглянул на нее внимательно. «Нет, не думайте, что я несправивная собственница. Завела кур, чтобы веселее было на дворе и чтобы хата не пахла пустотой. А петуха я вам зарежу, ошпилю и зажарю на дорогу. У меня студенческие правила — все пополам, вот так. И дели столько, сколько делится». — «И на флоте у нас, у подводников, точно так же». Он снял со стены свой портрет, флотский, который мать заказала бродячему фотографу, увеличила присланную им фотографию. Взял его с собой, и сейчас этот портрет лежит в тумбочке на корабле. . . С улицы посигналил «Запорожец» малинового цвета, и пока он угадывал, кто бы это мог быть, во двор уже входил пред-

седатель сельского Совета — представительный парень в клетчатой рубашке навыпуск, хорошо выглаженных чесучовых брюках и в босоножках. Когда-то его звали Женька Вьюн, а теперь Евгений Минович. А с ним толстенная женщина, на цыганский манер обвешанная радужными монистами. Маленькие уши ее украшали сережки, похожие на ледяные сосульки. Этой женщины он не знал. Агрономша заохала при председателе сельсовета, что перед нею вновь встает жилищный вопрос, что вообще она способна оставить Кривую Пушу, эту степь на семи ветрах, — где-нибудь да отыщется для нее уголок и применение знаниям. Тогда Евгений обнял Веру и посоветовал не горячиться, потому что вот эта женщина и есть покупатель хаты Медядько; это двоюродная сестра Евгения, она согласна, чтобы Вера квартировала у нее до тех пор, пока колхоз не построит ей дом. Все вместе осматривали хату, сарай, хлев, погреб, обошли сад. Сестра Евгения ощупала все, что можно было ощупать. Ходила и все гудела, а в нем накопала злость. И почему это ей не по вкусу осокори под окнами, которые нужно непременно спилить? Забирают влагу и фундамент разрушают, сказала. А мама никогда не сетовала, что осокори разрушают фундамент, потому что и в грозу, и в ветер они служили хате надежной защитой. И яблонизимовки, дескать, неоправданная роскошь, — старые, несортовые. А для чего вишняком занимать столько огорода, если в колхозе этих вишен как навоза? «Две тысячи много, — определили покупатель. — Уменьшай цену, Василий, вполовину». Он не умеет и не будет уметь торговаться. И женщина ему не понравилась, отказал. И они ушли со двора, прихватив с собой Веру, — Женька Вьюн зачем-то пригласил ее на переднее сиденье «Запорожца». Его сестра перед тем, как сесть в малолитражку, еще раз повела пристальным взглядом вокруг, словно разведывала с улицы. Перебирая пальцами рядки мониста, открыто выжидала, что он подаст знак начинать переговоры заново. Такого знака он не подал, и машина покатила, оставляя резковатый запах выхлопных газов.

Когда бы он об этом ни вспоминал, в нос всегда бьет тот запах. . .

— Старшина Медядько! Рубка, как горизонт? — снова с центрального слышится голос вахтенного офицера.

— Слушаю вас, товарищ капитан-лейтенант. Горизонт без перемен, чистый горизонт.

— Есть, старшина.

...В памяти тот жаркий день, тот кривошественский зной, который расслаблял, покрывал пылью сады, огороды, иссушал берег. Роняла лепестки мальва. Под знойным небом увядала ботва, кукуруза, накалялись подсолнухи. Подрагивали ветви деревьев, твердела листва, и корень тянулся в глубину, туда, где должны пульсировать животворные источники. И, всему наперекор, из перегретой земли стремились к солнцу золотистые луковички, картофель и белая репа. От этого пекла даже укроп утратил прелесть аромата. Вербы окунули в воду свои обвисшие ветви, и на одной из них, раскрыв клюв, качалась ворона — все подбирала да подбирала крылья, никак не могла сложить. Снялась и полетела на поиски более удобного места на берегу. Как ему тогда хотелось, чтобы в Кривой Пуше была речка, а не пруд, было больше воды. Много воды, столько, сколько этой полынной степи! И чтобы вода была прозрачной, словно безоблачное степное небо.

-- Гидроакустическая, я центральный! Как горизонт?

— Без изменений, товарищ капитан-лейтенант.

— О малейших подозрениях немедленно докладывайте.

— Есть докладывать о малейших подозрениях.

— Старшина!

— Слушаю вас.

— Вы случайно не устали?

— Вахту отстою, товарищ капитан-лейтенант. После вахты не помешала бы чашечка крепкого кофе.

— Для вас, старшина, найдется и две чашечки. И крепкого, и горячего.

— Благодарю, товарищ капитан-лейтенант.

...Ходил на кладбище поклониться матери. Похоронили ее с краешку, около самого рва. Деревянный крест над ней, на могилке посажены петушки, посеяны мат-

тполы и бархатцы. Тетка Химючка обо всем позаботилась, поскольку ее хата стоит неподалеку от кладбища. Она не оставила Василя в одиночестве, пошла вместе с ним, всплакнула, а потом показала ему могилы дедушки и бабушки. А также могилы двух солдат, погибших в дни войны, и могилу тракториста, который в прошлом году подорвался на немецкой мине в буераке. Тетка Химючка посоветовала ему, как сыну, хлопотать, чтобы на могиле матери поставили ограду. Тогда и живым удобнее будет навещать-проведывать, да и скотина не будет топтаться на этом святом месте. Василь сразу же принялся за дело — пошел искать кузнеца Парамона, который умел мастерить подобные ограды. Парамонова кузница находилась раньше за селом, в поле. Оказывается, нет уже ее. Не слышно больше ни перестука молотков, ни глухих ударов молота о наковальню. Там, где была кузница, он нашел лишь несколько железяк в бурьяне да остатки фундамента и обломок глиняной стены, тоже поросшей чертополохом. Обошел остатки колхозной кузницы, ломая голову: куда делся кузнец Парамон со своим горном и наковальней? Неужто уехал из Кривой Пуши и теперь на селе некому возиться около горна, клепать и гнуть железо, как умел это делать Парамон? Задержался, чтобы обобрать со штанни репейные колючки, и увидел за кустом купыря заброшенный чистик¹. Не оставил, взял: кому-нибудь в хозяйстве пригодится. Ступил еще шаг и застыл — из зарослей купыря и полыни выскочило потревоженное семейство степных стрепетов. Самец, самка и четыре птенца. Серенькие птенцы едва оперились, отращивали крылышки. Он залюбовался буровато-охристым оперением самца, поблескивавшим на солнце, на фоне этого глянцевого блеска рябели черные пятнышки; отметил гордую осанку птицы, не торопившейся взлететь, а все словно манившей к себе того, кто их испугал. Но когда он попытался подойти к стрепету, птица пригнула голову к земле и скрылась в полыни, хитрый самец своей красотой отвлек его внимание от семьи, самка с птенцами исчезла. Он свистнул стрепетам вслед, но ни один не взлетел, не отозвался. Выждав, снова свистнул — польнь не шелохнулась. Только мелькали над полем пе-

¹ Чистик — палочка с наконечником для очистки земли с плуга.

стрые, желтые и белые бабочки и было слышно, как на ярко-красном цветке чертополоха возился и сердито гудел мохнатый шмель.

— Что-нибудь ищете?

Он взглянул на дорогу — агроном Вера стоит, улыбается ему из-под кепочки. «К Парамону заглянул, а тут уже стрепеты гнездятся». — «Гнездо их дальше, в терновнике. Сюда они пастись ходят. А Парамон Константинович заведует с весны ремонтными мастерскими, что за мельницей». Он стоял на дороге, переступал с ноги на ногу, ковырял чистиком землю. «Стрепетов гонять, Василий Иванович, нельзя, они у нас гнездятся спорадически. Стрепет птица редкостная, как и дрофа. Не стало Дикого Поля — перевелся. Забавная птица, особенно ранней весной, когда самцы борются за самку, за размножение. Знаете, как они бьются? Насмерть. Пока слабый не отступит». — «Куда же девается тот, кто побежден?» — «Летит дальше. Кто знает, куда летит, — может, искать пары» — «А если не найдет?» — «Тогда остается один. Летает одиночкой. В природе все так, борьба за существование. И побеждает более сильный». Вера срывала над дорогой ромашки и, ничего не загадывая, перебирала лепестки. К ромашкам нарвала несколько одуванчиков, петров батог и вплетала цветок за цветком. Не сговариваясь они пришли к пруду, укрылись в тени верб, сели — Вера на старое бревно, он просто на травку. А в пруду все бултыхались чьи-то утки, разбивая ряску, и покачивались на поверхности воды оброненные ими белые и сизые перышки. Крякал и кивал утке сизый селезень, кивала и подкрякивала селезню серенькая уточка. Вера поднялась, отряхнула брюки, немного запачкавшиеся и примявшиеся. «Пойду в лабораторию, — сказала, словно вздохнула, — узнаю, как озимая будет на всхожесть. Две лаборантки у меня, заочницы. Вы в это время искупайтесь, а я приготовлю обед. И петуха зажарю вам на дорогу». — «Петуха не режьте, боже упаси». — «Не резать так не резать». Вера пошла, и ему было видно, как она по запруде перебралась на тот берег, как остановилась возле колодца с журавлем и напилась из ведерка... и как, помахав кепочкой кому-то в колхозном саду, все-таки зашла туда. Ему тогда почему-то стало не безразлично, сколько времени там будет находиться агроном, и он следил, не сводя глаз с того места, где она должна

была появиться. Не появилась. К испорченному настроению присоединилась и эта бессознательная досада. А селезень с уткой крякали и кивали друг другу и никак не могли накряться и накиваться. Когда ублаготворились и вышли на берег, взмахом крыльев оба стряхнули с себя остатки воды, принялись чиститься. Потом селезень присел возле чистика, с подозрением поглядывая на увесистую рукоять, а утка начала трепать клювом Верин венчик из ромашек и одуванчиков. Их никто не тревожил, и селезень вскоре задремал, потому что его совсем уже не интересовала уточка-вертунья. А в полынной степи, изнемогая от зноя, охранял семью самец-стрепет, редкостная птица, абориген Дикого Поля, который не всегда там гнездится и прилетает туда только по зову инстинкта. Прилетает преимущественно с Балкан, которые сейчас за кормой ракетносца, за островами Эгейского моря, на норд-вест и прямо на норд...

Круг на экране немного выгнулся — вот-вот вырастет всплеск. Старшина почувствовал, как горячая кровь бросилась в голову, запульсировала в висках. Повлажнели ладони. И он весь превратился в сгусток чувств. Цель? Нет, снова круг стал кругом, который расчерчивают индикаторы, и никаких посторонних звуков, кроме тех, что до сих пор улавливались в подводной тишине.

По московскому времени двадцать четыре минуты пятого. В пять ноль-ноль его сменит младший акустик.

...Рейсовый автобус в тот день выехал без него, и он почувствовал внутреннее облегчение. Садилось за горой красное, словно раскаленное на углях, летнее солнце, ложилось на дворе вечерние тени. Стадо оставляло за собой пыль, пропахшую свежим молоком и теплым дыханием коров. Хата была на замке. Вера не приходила. И он от нечего делать, посмотрев на пустые окна, начал убирать во дворе. Нашел в сарае метелку, подмел. Принес из колодца воды, полил цветы в палисаднике, прикинул на завтра, где скосить Вере бурьян, обкопать яблони, черешни, починить калитку. А уже потом пешком в дорогу, к поезду. Смеркалось, а Вера не появлялась. Стемнело, с неба посыпались чьи-то звезды, выполз край луны, а ее

все не было. Он истосковался, подошел к крайнему окну, решительно его подергал. Шпингалеты не выдержали, окно отворилось. Бросил чемодан в темноту, влез сам, нашел дерюгу и подушку, на которых спал в прошлую ночь, выбрался наружу, заботливо прикрыв за собой окно. Забрался на сеновал, и снова скрипела под ним лестница, и перекладыны угрожали сломаться и не ломались. Снились стрепеты, шныряющие повсюду, и он узнал среди тысяч других того красавца самца, которого спугнул за развалинами Парамоновой кузницы. На рассвете его снова разбудил пестрый петух; заорал снизу, как оглашенный. «Где Вера?»

Скрипнула дверь сарая — Вера выпустила кур, созвала их. А вскоре стояла на лестнице, смотрела на него из-за дверцы и улыбалась так маняще, как никто. Лишь мама, бывало, когда сгоняла его с чердака... Наперекор родне, хату свою он переписал на Веру. И проводила она его до разъезда, и сидела рядом, пока не пришел поезд. И осталась на перроне, как остаются девчата, — сквозь улыбку сдерживая слезы... Через Эгейское и Мраморное моря, Дарданеллы и Босфор, курсом норд-ост самая короткая дорога домой. До земли... «Моряки возвращаются не на землю, а в море», — не раз напоминал им контр-адмирал Выдыш. Агрономы же — только на земле и для земли...

Абстракцию вообще и абстракцию в искусстве в частности Василий Медядько не понимал и не принимал; абстракционистов он заочно считал своими непримиримыми врагами. Его художественные вкусы не представляли собой чего-то принципиально установленного. Их как таковых, собственно, и не было, никто ему с детства их не прививал. Флотская повседневность ставила перед ним свои служебные задания — усовершенствование мастерства гидроакустика, повышение политической грамотности, физическое развитие, — а искусство, художественные веяния как-то не вписывались во все эти требования. Враждебность Медядько основывалась на абстрактных информациях и толкованиях, которых слышался еще в учебном отряде от командира отделения, что всесторонне ознакомил его, молодого матроса, со всеми приобретениями человечества, как знакомил подчиненных

салаг и сам, неустанно совершенствуясь в воспитательной практике, вместе с ними доходил до неопровержимых истин.

Своему первому флотскому наставнику были обязаны впоследствии многие из гидроакустиков на всех флотах и флотилиях, потому что знания, полученные у него, держались в голове надежно и долго. Василию Медядько было противно все, что он считал «стерильно чистым», то есть, с его точки зрения, лицемерным. Абстракция, модерн — это и есть законченное лицемерие, убеждал командир отделения, и старшина первой статьи был с ним согласен.

Склонность к рисованию появилась у него после второго длительного похода на ракетноносце в Антарктику. Большинство матросов и старшин увлекалось тогда стихотворениями, радист Зёма — освоением новейших открытий в физике и кибернетике, Медядько же запасся дюжиной школьных альбомов, набором цветных карандашей и начал передавать на бумаге звуки за бортом. Он слушал их и после многочасовой вахты, морские звуки слышались ему на досуге и даже во сне, как, скажем, рулевому видятся причудливые конфигурации и соединения показателей катушки компаса, сигнальщику — навязчивые отблески поверхности воды, и он не мог и не стремился забыть о них, а старался зафиксировать на бумаге. Нередко жалел, что не учился музыке, — рокот моря напрашивался в потную тетрадь. Василий Медядько воссоздавал морские шумы и звуки в виде разных мудреных сплетений-паутинок, которые растекались во все стороны радужными лучами; или клубились, напоминая рой шмелей, ос и пчел; или были похожи на радары, которые несут на себе акулы, киты и кальмары. А еще всюду были глаза, девичьи загадочные глаза, которые каждый раз меняли и цвет, и разрез, и длину ресниц. То синие-синие, как васильки, то черные, как терн, а то с прозеленью, как крестообразный барвинок, а то и такие, что не подыщешь ни одного сравнения.

Он сидел на краю стола в жилом отсеке и дорисовывал последнюю страничку альбома, довольный, что в этот раз посчастливилось найти что-то очень оригинальное: цепь светло-зеленых кружочков создала сплошной сплав светло-зеленых волн, из которых, покачиваясь, как бы плывут в вышину голубые паутинки-волночки.

А сквозь этот голубой простор, из его фона, проглядывают синие глаза с синими ресницами. Медядько улыбнулся про себя и подписал рисунок: «Подводный февраль на радиорасстоянии».

— Гениально, — сказал Девушкин, садясь около гидроакустика. — У тебя, Василий, ассоциативное мышление. «Подводный февраль на радиорасстоянии». Никогда не догадался бы!

Медядько широко улыбнулся и не без удовольствия ждал, что еще будет болтать химик, потому что ему нравилась на досуге такая болтовня, не отдававшая злой насмешкой.

— Этот рисунок видел, товарищ Девушкин? — раскрыл Медядько альбом на другой странице. «Радар хищника».

— Не гениально.

— А этот?

— Как называется? «Чувствительность»?

— «Чувствительность».

Медядько переглянулся с Зёмой, который тоже рассматривал рисунки со всех сторон. Альбом чем-то привлек его, и Зёма попросил перелистать все сначала, показать все рисунки, от первого до последнего.

— Пикассо... — определил матрос Капуста. — И когда вы успеваете, товарищ старшина?

— А это что? Глаза пантеры или багдадского вора? — понемногу ехидничал химик. — Не обижайся, Василий, но мне это не понятно. Ну что это?

— Прочитай.

— «Абракадабра». Бессмыслица, значит?

— Женщина-бессмыслица, — весело пояснил гидроакустик. — Разве такие женщины не бывают? Да еще под водой?

Они подзуживали один другого, и их ни капельки не сбивали взаимные шутки. Все подходили и подходили матросы, толпились вокруг альбома Медядько.

— Мальчики! — стукнул себя кулаком по лбу Капуста, словно снова открыл ньютоновский закон тяготения. — Ведь товарищ старшина первой стадии абстракционист!

— Основоположник абстракционизма на флоте, — серьезно подтвердил Девушкин.

Медядько, будто и не улыбался до сих пор, нервно захлопнул альбом, поднялся.

— А еще кто я? — нахмурившись, посмотрел он на Девушкина, потом на Капусту и на тех, кого не приглашали к столу.

— Абстрактное мышление человеку необходимо, как дыхание, как сон, — оправдывался Капуста, поглядывая на Медядько, точно кролик на удава. — Это же не обида... «Фантазия — качество необычайной ценности». Знаешь, кто это сказал?

— Основоположник абстракционизма на флоте! — повторил Девушкин. — А как звучит!

Химик прикусил язык и поднялся. Моряки расступились перед капитаном второго ранга Галаевым — старпом протянул руку к альбому Медядько. Стало слышно, как шуршат вентиляторы, и бархатистое дуновение ласково обдает лица матросов.

— Интересно, н-нда... — процедил сквозь зубы старпом. — Вот вы чем занимаетесь? Новое течение на корабле? И кто его возглавляет?! Комсорг.

Галаев забрал альбом и, не приглашая Медядько, пошел из отсека, по дороге указывая морякам на разбросанность каких-то вещей, примятость постелей и на все, что, по его мнению, лежало или стояло не в надлежащем месте. «Идеального ничего не бывает, но подводник должен стремиться к идеальности!» Едва Галаев вышел из отсека, Зёма и Девушкин наперебой забросали Медядько советами не дрейфить, идти к замполиту и объясниться. Гидроакустик отмахнулся, направился к своей койке, разделся, лег. Лежал на спине, полный тревожного ожидания: к кому будет вызов — к командиру или замполиту, капитану третьего ранга Болюбашу? Искал два объяснения — одно для Можарова, другое для Болюбаша. Время от времени старшина поднимался, садился, опирая подбородок на ладони, и молча укорял себя за неосмотрительность, с которой показывал свои шутливые рисунки. А то, что они не заслуживают иной оценки, нечего и сомневаться — капитан второго ранга Галаев недаром понес их командиру. Да еще контр-адмиралу Выдышу покажут! Никаких объяснений, признать вину, раскаяться...

— Я вам что говорил, Юрий Васильевич! — придавая особый оттенок каждому слову, обратился к Болюбашу

старпом и положил перед ним альбом Медядько. — Художества комсорга! Комсорг пропагандирует буржуазное искусство.

В каюте замполита они были вдвоем.

— ...Я предупреждал вас, что Медядько типичный представитель современной молодежи. И далеко не из лучших ее примеров. Взгляните-ка, взгляните!

Болюбаш и без настырных приставаний старпома проявил интерес ко всему, что было в альбоме старшины акустиков: и к самим рисункам, и подписям под ними, и оставленным наброскам, свидетельствовавшим о недовольстве автора. «У этого Медядько творческое видение, — подумал. — Безусловно, способный парень...»

— Убедились, комиссар?

Болюбаш, усмехаясь, обернулся к Галаеву:

— Конечно... «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал».

Галаев захлопал веками. «Как мне понимать вас, товарищ капитан третьего ранга?»

КРАСНЫЙ И СИНИЙ СВЕТ

Все как вчера, и позавчера, и девятнадцать суток назад. Проходит февраль, проходит за ним и зима, а на глубине никаких погодных перемен — та же мертвая тишина, так же льется с потолка искусственный дневной свет, и воздух не потеплел ни на один градус, и его влажность несколько не увеличилась по сравнению с установленной нормой. Техника работала надежно, ритмично. Недалеко от нас, как твердит Медядько, вросли в морское дно корни острова Крит и островов Киклады: к ним прислонялись белые, розовые и черные ветви кораллов, создающих под водой бело-розовые и розово-красные дворцы. И в этих дворцах, как и у нас, только условность дня и ночи. Так ведь у нас еще искусственный дневной свет и мягкий матовый. И синий свет ночника в каютах и кубриках. И красный в центральном посту.

Напряженное однообразие во всем дает о себе знать: и в том, что затаенная раздраженность матросов то там, то здесь выплескивается в мелочных недоразумениях, и в душевной подавленности, и, наконец, в том, что у людей с темпераментом холериков и сангвиников постепенно

угасает свежесть восприятий, чувств. Ракетносец лежит на жидком грунте третью неделю, и всплывание на перископную глубину для дежурного радиосеанса экипаж воспринимает как вознесение из фантастического мира, хотя, кроме командира Можарова, контр-адмирала, Галаева и меня, никому не доводится припасть к стеклу перископа и сквозь сложную систему линз видеть слепяще-бурые волны Средиземного моря, далекие очертания и дымок пассажирского лайнера, цепочки облаков, тянувшихся с юга на север впереди журавлиных верениц, и солнце, поднимающееся или погружающееся в нейтральные воды. После радиосеансов в условиях напряженного однообразия под водой я становлюсь чуть ли не единственным источником информации для всех. «Что? Где? Как? Почему?» приберегаются для меня. Чувства удивления, сомнения, изумления, наконец, восторга, особенно присущие детям, проявлялись в этих условиях у взрослых моряков необычайно; за несколько минут каждый мог пережить сложную гамму душевных движений. Меня все время не оставляло удивление перед их страстью к знаниям, к этому постоянному двигателю существования. Привыкшие еще до службы каждый день трансформировать в своем сознании поток разнообразной информации, привыкшие к прессе, радио, телевидению и документальному кино, окруженные широким кругом друзей и знакомых — тем, что социологи называют сферой общения, сознавая свою значительность и призвание (разумные существа, как теперь модно говорить), они, как губка, вбирали все сказанное мною, охотно комментировали разные события мирового значения, делились личным, сокровенным. И, боясь обмануть их надежды после всплытия ракетносца, я взволнованно настраивался на особую тональность для разговоров в отсеках или кубриках, так как знал, что равнодушный не воспитывает и не воспитает бойца. У каждого из них, наших ребят, именно сейчас остро проявляется потребность общения с командиром и со мной. Не ответить на эту их потребность ни Можаров, ни я не могли и не имели права и заботились о том, чтобы в какой-то мере удовлетворить их неизменные влечения — и познавательные, и эстетические. Здесь, на глубине, достигающей свыше двухсот метров, в ракетносце, где влажность несколько не увеличивалась по сравнению с принятой нормой, Арнольд Петро-

вич и я (будем считать, что и другие офицеры) непрерывно заботились о климате корабельной среды. Нас не волновал режим, который складывается под влиянием географических условий Средиземного моря, — ракетно-носец поднимался и между ледяных склепов Северного полюса, — под воздействием атмосферного круговорота, излучения земли и моря или солнечной радиации, нет, нас прежде всего беспокоила способность излучения матросских сердец, которую еще невозможно измерить таким способом, как кровяное давление сфигмоманометром или же дозиметром — своеобразным прибором — радиацию на корабле; этих дозиметров — «карандашей» — у нас достаточно, и мы все носим их при себе; способность излучения матросского сердца так не прощупать, как прощупываются пульсы или размеры старых осколков, которые еще и до сих пор носят в себе многие ветераны войны...

— Психические процессы, психические состояния для нас, дорогой товарищ капитан третьего ранга, весьма знакомы. В этом мы осведомлены. Но подводный атомоход не учебное заведение, и заниматься психологией, философией и так далее офицерам корабля ни к чему. Главное — служба. Наша субмарина и так подводный университет, все матросы учатся. В каждом кубрике новейшие учебники разных отраслей. Еще и романы читают.

Старпом решительно отклонил мое предложение поговорить на офицерских занятиях о психоосновах воспитания подводников. Аратский словно подтвердил мысль старпома Галаева, процитировав:

— Любая отрасль научных знаний имеет самостоятельный облик, если она изучает какой-нибудь своеобразный класс явлений объективного мира и пользуется при этом особыми методами. Этот класс явлений и составляет предмет данной науки. Предметом изучения психологической науки является психика, закономерности ее возникновения, развития, функционирования. Психика — свойство высокоорганизованной материи мозга. Разговор в кают-компании не является единственной формой познания психики подводников, — продолжал в духе старпома Арнольд Петрович. И уже откровенно свел все к шутке: — Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь харак-

тер — пожнешь судьбу. Мы согласимся, Юрий Васильевич, углубиться в психоосновы воспитания, а ты еще что-нибудь придумаешь новое, запряжешь всех в свою колесницу. Мы научены твоими предшественниками. Нет-нет, не уговаривай и не соблазняй. Воспользуйся возможностями и сочини какой-нибудь трактат или брошюру, а мы потом и почитаем.

Врач Аратский — Белый Халат, приглаживая ладонью черную курчавость волос, будто они мешали ему смотреть мне в глаза, посоветовал:

— Мир психических явлений сложен, и ваше предложение, Юрий Васильевич, не лишено актуальности и рационального зерна. Как медик, присоединяюсь, но... сами понимаете. Усталость проявляется прежде всего в нежелании лишней раз поразмыслить над чем-нибудь серьезным. Не у всех, конечно. Хроническую леность умственных способностей я заметил у некоторых... — Майор стал протирать платком левый глаз, ничем не засоренный. — Эх, чего ради... сами удостоверитесь.

— Аратский, что вы там уговариваете Юрия Васильевича? — спросил Можаров, который только что сдал командирскую вахту Галаеву и собрался уйти из центрального поста. — Нашептывать — дурная привычка, майор. Предлагаю сыграть партию в шахматы.

— Товарищ командир, — растерялся майор, — я ничего не нашептываю. Мы все о том же. Медицина и психология родственны... как и политика.

— Хотите экспериментировать — экспериментируйте, — уронил, словно ненароком, Можаров и вышел из центрального.

Аратский поспешил за командиром.

— Дежурной вахте приготовиться заступать, — четко и властно объявил вахтенный офицер.

— Зайду к адмиралу, — зачем-то сказал я Галаеву, неожиданно и для него, и для самого себя.

Старпома не заинтересовало, действительно ли я зайду к контр-адмиралу или нет. На его губах застыла затененная улыбка.

«Экспериментируйте»... Для чего это?»

Альбом старшины Медядько лежал на адмиральском столе, открытый на последнем рисунке. — «Подводный февраль на радиорасстоянии». Богдан Николаевич что-то записывал в толстую, в клеенчатой обложке тетрадь, раз-

линованную в клетку. Писал мелким почерком, достаточно густо, экономно. Поставив точку и отложив написанное, он снял и положил на тетрадь очки, протер глаза и только тогда удивился, что я все еще стою, будто пришел к нему с неискупленной виной.

По корабельной трансляции вахтенный приказал дежурной вахте собраться для инструктажа в четвертом отсеке, и контр-адмирал, выждав мгновение после того, как умолк голос, словно о чем-то могли сообщить лично ему, сказал:

— А у меня в каюте перемена, и существенная. Не заметили? — И морщинки возле прищуренных, излучающих доброту глаз повеселели.

Я не заметил ничего особенного, что бросалось бы в глаза, — все как прежде, как в каюте командира и в моей. Разве что горел красный свет, точно так же, как в центральном посту.

— Электролампочка?

— Именно! — обрадовался контр-адмирал моей догадливости. — Вы наблюдательны! Этот свет спас меня от хандры. Я изнемогал от ночника и от матового. Бессонница, скверное настроение... Аратский утверждал, что я не умею полностью отключаться и расслабляться. А теперь я в форме. И вылечил свет. Скажу по секрету: я долго не мог взять в толк, почему меня привлекали гидроакустическая и центральный пост. И вот эврика — красный свет! Теперь Аратский все обосновал научно! По нему, по Аратскому, моя психика нарушалась зрительным перенапряжением. К красному свету глаза человека относительно не чувствительны, а в темноте адаптация снижается. Так вот, я хочу вас спросить: где эта темнота? Он меня убеждает, а я в душе смеюсь, потому что знаю — не в том дело. Не зрительное перенапряжение, нет! Кровь — вот что! При синем свете она холодеет, замедляется пульсация, синеют конечности...

Я невольно улыбнулся.

— Не спешите с выводом! — погрозил мне Богдан Николаевич. — Красный свет будит кровь, она равномерно заполняет все сосуды, лучше пульсирует. А какой я внешне?.. То-то и оно! При матовом свете — хоть завешивание составляй... Красный свет — свет солнца. И адаптация майора Аратского здесь ни при чем. А между прочим наш корабельный ученый врач понимает, что все это

самовнушение. — И контр-адмирал устало вздохнул. — Вы тоже, Юрий Васильевич, если не ошибаюсь, чем-то обеспокоены?

Не настаивая на своем неприятии утверждений старпома Галаева, я выложил суть моего предложения о разговоре в офицерском кругу, реакцию Можарова, Аратского и старпома, молчаливое согласие остальных. «Мое первое фиаско на ракетноносце» — так, собственно, можно было это определить. Но как понять слова командира: «Хотите экспериментировать — экспериментируйте»?

Контр-адмирал, казалось, слушал без того удовольствия, с каким встретил мой приход. Меня даже поразила мысль, что он вообще не хотел бы об этом слышать, что ему очень неприятно осознавать какое-то мое поражение, — и не потому, что я новый замполит на корабле и он до некоторой степени несет за меня ответственность, все гораздо значительнее: командир корабля не поддержал своего заместителя, представителя партии на корабле; очевидно, не все так было, как я рассказал. Или я ничего не понял, или меня не поняли. Или — хуже — меня игнорировали. «Третьей смене заступить!» — напомнил через трансляцию вахтенный офицер, и я поднялся, словно заступать на вахту надлежало и мне. «Вы куда?» — спросил Богдан Николаевич одним взглядом. И я снова сел.

— Опекать во всем оперативную и вахтенную службы нам не годится. Хозяйственников приучили, бытовиков... Что касается экспериментаторства, то я думаю, Арнольд Петрович имел в виду неподготовленность здешних офицеров к такому разговору сейчас, в конце длительного плавания. Да еще с нарушением цикличности освещения. И температуры. Здесь она постоянная, влажность неизменная, а мы с вами запрограммированы для умеренного пояса с четырьмя временами года. С весной и осенью, летом и зимой. А где зима? Ее для нас в этом году не было! А где короткий день и длинная ночь? Где весеннее и осеннее равноденствие? На сколько увеличился день от Нового года до нынешнего времени? — Контр-адмирал взглянул на отрывной календарь, висевший на каютной перегородке, как на домашней стене. — На два часа и тридцать семь минут! А мы и не ощутили этого... Арнольд Петрович не отказал, но и не похвалил вас. Он предостерег.

Богдан Николаевич снова надел очки, достал из стола другую тетрадь и, найдя на какой-то странице нужную запись, перед тем, как прочесть, посмотрел на меня из-под очков и пояснил:

— Не знаю, кому из ученых принадлежат эти парадоксальные мысли, но я встретил их у одного журналиста.

«Если вы не согласны с тем, что сентиментальные люди жестоки, что мягкосердечные наиболее вспыльчивы, а дружелюбнейшие менее всех душевны, если вам трудно смириться с мыслью, что сибариты — самые энергичные представители человечества, а юмористы — самый хмурый в мире народ, — поговорим... о медведях».

— Почему о медведях?

— На них показательно. Весной медведь опасен. Проголодавшись за зиму, он жаждет крови, ищет мяса. За один раз съедает до семи — десяти килограммов лосины, если подвернется сохатый. Летом его не узнать. Разжиреет, подохреет, станет боязливым и ко всему еще и записывается в благочестивые вегетарианцы. Его устраивают мед, различные ягоды, а из скоромного — только муравьи. Именно тогда этот хищник избегает рискованных встреч, не чурается амурных. И чем ближе к зиме, тем он ленивее, все меньше у него желаний влезать в авантюры. Первые холода — и медведь залегает в берлогу, для него зима — длительный сон, весенний разбойник и летний вегетарианец невообразимый соня. Самка во сне плодит и выкармливает потомство. Конечно, если невзначай не разбудить зверя и не накликать на себя его лютой гнев, он проспит столько, сколько отведено природой. Круг замыкается весной и затем идет сначала, как повторение цикла... В природе все циклично. «Второй смене от мест отойти!» — команда вахтенного офицера из центрального поста.

— А как же мы, люди?

Глаза контр-адмирала сидели глубоко в глазницах, под защитой больших надбровий, и я не мог обнаружить в его взгляде ни желания продолжать разговор на эту тему, ни решительного стремления углубляться в биологические теории.

— Нарушители давно установившегося в хорошем смысле... Ведь мы, атомоходы, не обращаем внимания на наследственность, не подвластны ей. Живем, действуем

по своей программе и далеко отошли от того, что оставили нам прапращуры. Я степняк, но разве так это, если для меня степная долина вместе с детством где-то в воспоминаниях, а вся сознательная жизнь — это флот?

— Простите, но на корабле распорядок дня выверен со всех точек зрения, продуман и соответствующим образом расписан. Во всех компонентах.

— Да, продуман. Не природой, а человеком. Но не следует забывать присущее нам чувство родного очага и желание найти покой там, где родился и вырос.

Во взаимоотношениях с офицерами и матросами Богдан Николаевич всегда одинаков, не повышает голоса, рассудительный и справедливый, умеет любого выслушать до конца. Некоторые полагают, что он, контр-адмирал, подчас делает вид, что ему все понятно. Вот и меня слушал и слушал. Я не хотел надоедать и поднялся. Богдан Николаевич жестом указал мне на стул.

— Блажен человек от встречи со всем земным, Юрий. И хотя все мы подвержены насилию этого усложненно-урбанистичного мира, все-таки не теряем ни проникновенности, ни широты взгляда, особенно там, где возникают новые явления и процессы, умеем дать им оценку. Все, чего мы касаемся, становится более значительным, разумным словно само по себе. И более одухотворенным, сердечным, наконец — впечатляющим. Человеку нужен и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Я убедился, что если не утешаться каждый день поэзией, открытием нового человека, новых знаний и вообще разумным спором — лишишь себя самой сути жизни.

— Медядько рисовал интуитивно, по непонятному для него самого вдохновению. У него нежное сердце, хотя внешне он колючий. Старпом расценил его рисунки как зло.

Контр-адмирал провел пальцами между шеей и кителем, словно ослаблял воротник.

— Галаев принадлежит к офицерам, которые любят и умеют командовать. Он способный, энергичный, инициативный, с самостоятельным взглядом на все, но, к сожалению, тяжеловат в общении. И с талантом подводника.

— Мне припомнилась, товарищ контр-адмирал, давняя притча.

— Пожалуйста...

— Еще когда господь создавал мир и стремился все поделить как можно разумнее, он задумался: чем, какими особенными чертами, наделить гениев? И решил придать им три черты — талант, волю и порядочность. Но в последний миг раздумал и решил, что хватит с них и двух. Отсюда в большинстве случаев, если человек талантлив и порядочен, ему не хватает воли. Если он волевой и порядочный, у него отсутствует талант. А если есть и талант, и воля, он недостаточно порядочен.

— Ваша притча, замполит, слишком приблизительна. Что касается старшего помощника, то он не всегда разборчив в выражениях, но в его словах и поучениях нет никакой крамолы или недоброжелательности, скорее наоборот.

— Он при всех отобрал у Медядько альбом. Старшина подчинился, но ведь это несправедливо. И вряд ли Галаев извинится.

— Не извинится, — подтвердил контр-адмирал. — Он офицер капитальный, однако не всем дано понимать тонкости чужой психики, чужого восприятия, наконец, отличие своих взглядов на вещи и явления от представлений другого. Галаев сидел вот тут полтора часа, и я ничем не мог его переубедить, никакими доводами, насчет рисунков старшины. Он и ушел уверенный, что Медядько, если ему досталась искра божья, обязан рисовать только понятое всем. Но ведь... гидроакустик еще не мастер! Да и Галаев не искусствовед. Вообще, Юрий Васильевич, не будем забегать вперед, я надеюсь, что со временем вы поймете друг друга.

— Товарищ адмирал, альбом разрешите вернуть старшине?

— Не разрешаю. Этот альбом уже мой. Подарок с автографом. Славный парень! — И показал дарственную надпись старшины.

Колокол громкого боя словно взрывает подводную тишину из середины, взрывная волна тревоги обдаёт каждого из нас горячим, звучным рокотом, и мы уже не вольны думать ни о чем постороннем. Какая команда будет сейчас? Умолкает колокол, включается трансляция: «...Всплывать на перископную глубину, радистам приготовиться к дежурному сеансу связи».

Богдан Николаевич прячет под черной пилоткой белые, как кудель, волосы.

— Пошли, комиссар, в центральный. Поглядим на белый свет.

Белый свет, крутая зеленая волна.

МАРТ

С раннего вечера на юго-западе, в созвездии Рыб, а во второй половине месяца, в созвездии Овна, ярко блестит Венера. Значительно правее и выше, в созвездии Близнецов, виден Сатурн. Во второй половине ночи низко на юго-востоке можно увидеть красноватый Марс. На утреннем небе можно заметить Меркурий. Луна проходит поблизости от Марса, потом — Венеры и далее — возле Сатурна. Юпитер скрывается в лучах Солнца.

— Вспышка любви подобна атомному взрыву со всеми его последствиями, — изрек Медядько, узнав о неожиданном браке боцмана.

Супружество Дениса Калиновича восприняли на ракетноносце как сенсацию не только старшина гидроакустиков, а все, кто хорошо его знал. В том, что мичман Чотий привез из отпуска жену откуда-то из плавней, изпод Херсона, ничего удивительного не было, поскольку почти все женщины в поселке подводников не здешние, а «иммигрантки» с разных концов необъятного Союза. Они сразу же попадали под неусыпное наблюдение старожилков и прекрасно осваивались, так как их уже многое объединяло. Сенсационность брака боцмана состояла в том, что Денис Калинович снискал репутацию человека с твердым характером, достаточно требовательного в отношении женщин. Скупой на комплименты и ласку для всех, без разбора, женщин, он старательно приберегал их для маленькой Зумрад — дочери командира корабля Можарова и его жены, киргизки Тенти. Зумрад очаровывала

своей сообразительностью и красотой не только мичмана Чотия, но и всех, кому доставалась от нее малейшая благосклонность. Но селение, наверное, знало, что маленькое сердечко Зумрад принадлежит прежде всего мичману, который в плавании никогда еще не позволил себе съесть ежедневную по подводной норме плитку шоколада, и сохранял для нее весь этот шоколад, как сохраняют с лета свои подарки детям новогодние Деда Морозы. Еще с младенчества Зумрад привыкла встречать отца с морей-океанов. Еще с тех пор, как поднялась на пожки, кроме отца встречала и Дениса Чотия — Деся. «Поцелуй меня, Деся, я тебе счастье принесу!» И целовал Денис Калинович ее в головку и в щечки, и все пальчики на обеих смуглых ручках обцеловывал. Вряд ли стоит говорить, как Арнольд Петрович сдерживал отцовскую ревность, а привязанность-влюбленность Зумрад в боцмана Чотия истолковывал как что-то колдовское, если не было это частичным проявлением восточного происхождения, наследием горячей привязанности матери. Поймет ли маленькая Зумрад, насколько далеко отошел от нее Деся после женитьбы? Признает ли она еще кого-нибудь после этой непростительной измены?

— Еще Фигаро определил, что женитьба самый безумный день, — сказал старшина радистов Зёма.

— Женщины очень мстительны. Зумрад — женщина. Ваша неосмотрительность, Денис Калинович, обернется для вас стократными неудачами во всем, — предостерегал мичмана химик Деушкин, хотя мичман уже не нуждался в его предостережениях.

— Кто она, ваша искусительница? Нам достаточно знать ее биографические данные, — настаивал Медядько и отступал от Чотия, когда тот в этих случаях готов был пустить в дело свои боцманские кулаки. А это уже не шутка, потому что Денис Калинович до службы учился на рулевого в мореходном, плавал на паруснике «Товарищ», натирал себе ладони веревочными тросами, умел вязать все морские узлы: прямой, рифовый, плоский, штык с обнесением, вантовый и беседочный, шкотовый и шлюпочный, кошачьи лапки и узел-удавку. Стоит ли дожимать его насмешками, которые прозрачно намекали на истину? «Кто же она?» — нередко мучил вопрос самого мичмана, но он никому не проговорился об этих тайных муках скороспелого молодожена, который так и не

изведал всей прелести медового месяца. Денис Калінович оставил жену с вещами, которых не успел распаковать, прямо на пороге квартиры и пошел в море, в это плаванье, с такой поспешностью — по боевой тревоге, — с какой и женился, словно его и тогда подгонял колокол громкого боя. «Кто она?»

...Ехать в санаторий вместе с экипажем Денис Калинович отказался, ссылаясь на то, что столько лет не бывал в Забайкалье, в тех даурских краях, где он родился. Капитан второго ранга Можаров учел просьбу мичмана, признал причину уважительной, и Денис Калинович, проводив матросов в санаторий, стал собираться в Даурию. Еще день-два — письмо Захара Мозоли, бывшего однокашника и друга с мореходки, и разминулось бы с мичманом. Захар недавно распрощался с морскими широтами, с их ревучими сороковыми, с протоками Дрейка и Магеллана, с пассатами и муссонами и бросил свой последний якорь на Баклановом острове, где-то в устье Днепра. «А плавни какие! А рыбалка! Сомов взвешиваем центнерами, украинскую с перцем — граммами. А какие майские ночи здесь! Сам Гоголь и тот не знал таких вздохов-воздыханий!» Что ни говори, а Захар Мозоля, обученный «морской травле», тертый калач, умел сбить с толку кого угодно, и Чотий поддался на его мольбы — поехал на Украину. На сердце кошки скребли, было неспокойно, а он, вопреки всему, поехал в Херсон, оттуда пароходиком до Голой Пристани, а дальше до Бакланового острова катерком Захара Мозоли, который все похвалялся, что этим маршрутом приезжают к ним известные и еще не известные космонавты и один из них якобы уроженец острова. Как и Чотий, Захар еще был холостяком, хоть и старше Дениса Калиновича. «Женщин на острове маловато», — пожаловался Захар Мозоля, как холостяк и как председатель местного рыбхоза. «И у нас их не густо», — сказал Денис Калинович равнодушно, хотя детьми пестрели и Баклановый остров, и селение подводников. «Не пожалеешь, что заглянул, дружище», — сказал Мозоля, приглашая к столу на рыбацкую уху. Уха и чарка к ней свидетельствовали, что Захар в письме не слишком преувеличивал красоту дне-

провских плавней. А вернулись с работы женщины, и открылись на сине-черном небе летние звезды, — сущая правда, что сам Гоголь не ведал таких вздохов-воздыханий, как узнал их впервые Денис Калинович. И женщины ничуть не хуже даурских казачек, особенно рыбхозовская бригадирша Марта Молокан. И руки у нее ко всему приспособлены — и к любви, и морские узлы вязать. Но почему-то одинокой ходит Марта, ждет своего. «Кто она? Кого ожидает?»

За неделю мичман немного загрустил и стал собираться туда же, в Даурию. «Почта нерегулярная, вот и грустишь. Купим тебе транзистор. А пока велю вкопать телеграфный столб с громкоговорителем», — решил Молозя. И уже на следующий день с раннего утра до полуночи над островом гремел громкоговоритель. Под его перезвон и завершал Денис Калинович свой отпуск на Баклановом острове. А эхо в плавнях будто прирученный филин: крикнешь невзначай — откатится на днепровских волнах в окрестную даль и снова возвращается к тебе. И радио гремит во все концы, достигает отдаленнейших камышей. Все, что было там, в плавнях, в начале прошлого лета, вспоминается Денису Калиновичу в плавании...

«Эгей, лю-уби-мы-ый! — кричит Марта с берега старику перевозчику и слушает свой голос, который, не достигнув середины реки, спадает на днепровскую рябь и с этой рябью выплескивается к ногам Марты отзвуком. — Эгей, понятно вам, куда посылала?» Перевозчик бросает весла, кружит в лодке по пойме, но никак не расслышит, чего хочет от него бригадирша, все разводит руками и на уши показывает — позакладывало, мол. Да еще и чья-то моторка, как назло, тарахтит невдалеке, и радио на острове на всю мощь звучит: итальянский тенор кого-то слезно молит вернуться в Сорренто. «Сходите в Гопри, слышите?! В Го-оп-ри-и!.. За крючками!» Не перекричать Марте ни тарахтенья моторки, ни первоклассного певца, и она перестает кричать деду, идет в радиоузел ругать радистов, а заодно и его, мичмана, Захарова гостя... «Баламуты! По какому такому распорядку гремит с утра до поздней ночи этот ваш металлический котелок?» — «Претензий не принимаем, для претензий выбрали председателя правления, к нему идите, Марта Никитична», —

и «ха-ха-ха» дуэтом, так как радистов на острове двое — старший и младший.

«Ехал бы, товарищ мичман, куда-нибудь на пляж. Ну чего томишься, сидишь у этих баламутов, как в погребе? Загородились от солнца! Тьфу!..» — «Ха-ха-ха...» .

Сначала, когда вкопали телеграфный столб на возвышении острова и повесили на нем неутомимый громкоговоритель, островитяне похвалили Захара — на острове стало-таки веселее. Но ненадолго, скоро это всем надоело, громкоговоритель посоветовали председателю снять и повесить флажок. Захар Мозоля велел поднять флажок, как признак пульсации жизни на острове, а громкоговоритель ни в коем случае не трогать. Кое-кто плюнул и смирился, а Марта Молокан все еще протестовала. Зачем? Дед-перевозчик уверял, что этот динамик стал в плавнях прекрасным ориентиром, их маяком, а упрямство Марты, ее придирки к «общественному радиву» есть не что иное, как обыкновенная месть Захару за его непростительное равнодушие к ее еще не увядшей красоте. «Ихтиологу отказала в сватовстве из-за вашего Захария, из области человек, вон какой и откуда, — говорил Денису Калиновичу перевозчик, — так пусть же совесть имеет, время от времени к ней заходит. Подскажи, мичман, ты его гость, и расправа за критику тебе не грозит». Денис Калинович обещал подсказать и подсказал. Захар только выругался.

«Женихи-пустобрехи, чтоб вы навек оглохли! Неужто вам самим не осточертел крик на столбе? А вам, мичман? Сидите тут, под их пультом, как битл!» — «Осточертело, — нехотя отозвался старший радист и с хрустом откусил красный бочок сочного яблока. Яблоки он ел только с хлебом. — Садитесь, Марта Никитична, берите яблоки, груши. Груши еще зеленые, а яблоки скороспелые». — «Выключите радио, ребята». — «Нельзя, Марта Никитична, через несколько минут последние известия». — «Все новости с утра известны». — «Корова доится трижды в день», — мудрил младший радист, парень атлетического сложения, которому бы таскать под жарким солнцем рыбацкие сети, а не отсиживаться в радиоузле. «Эх ты... теленок!» — и Марта ущипнула его за ухо, а он, внезапно застыдившись, поцеловал ей ручку. Его лицо пылало от смущения, на лбу, покрывшемся потом, обозначилось большое белое пятно. Взволнованный па-

рень выпустил из рук шило, которым прокалывал в ботинках дырочки — для вентиляции, — наклонился, чтобы поднять его, а Марта тем временем крутила второе и громко смеялась: «А почему это у тебя, баламут, коленки дрожат?» — «Где дрожат? Не выдумывайте». Как вошла бригадирша, так и вышла — без здравствуйте и до свидания... «Пожалуйста председателю. Идите, мичман, за ней», — сказал старший радист. И Денис Калинович заспешил вслед за Мартой в рыбхозовское правление, хотя в этом не было никакой нужды.

Дорожка протоптана в песке, и Денису Калиновичу видно, как каблук ее босоножек утопают в нем. Она старается ступать там, где тверже. Потом дорожка поднимается вверх, на песчаный бугор, и Марте все труднее и труднее идти. Наконец она одолевает подъем, останавливается передохнуть на самом гребне, поросшем кустарниками. Высокая, стройная, стоит под солнцем в сплетении слепящих лучей, как богиня, вся сотканная из солнечного света, каждое мгновение способная раствориться в нем, остаться для мичмана видением. Вот она приглаживает правой рукой прядь светлых волос, упавшую на лоб. Оборачивается к мичману-гостю — на ее лице никакой злости, наоборот, оно сама кротость. Такие лица бывают лишь у женщин, которые все время ощущают свою зрелость, не тягостятся ею, не боятся ее и, не думая о последствиях, стремятся любить до изнеможения, до самозабвения. Словно поманила его, Дениса Калиновича, за собой.

...Захар указал им глазами, чтобы сядились, а сам, не отрываясь от телефонной трубки, дослушивал кого-то на другом конце провода. Среди стульев, стоявших вдоль стены рядом, Марта выбрала наименее запыленный, смахнула с него пыль, тихонько подставила ближе к Захару и так же тихо, стараясь не помешать разговору, присела. Председатель рыбхоза улучил момент, накрыл мембрану ладонью, шепнул Марте: «Гопрн, исполком». Потом ни разу не взглянул ни на Марту, ни на него, своего гостя, а все поглядывал на потолок, будто там находил все ответы на вопросы исполкомовца. Было душно, и Захар сидел в расстегнутой шелковой сорочке, вытирал платком грудь, лоб, шею. Марта старалась не смотреть, как председатель обмахивал платком открытую грудь, с показной сосредоточенностью, как и Денис

Калинович, изучала лежащую на столе никогда не виданную вещь — цельный слиток меди или бронзы наподобие булавы, но рукоятку завершала не булава, а венчик из серебряных перьев с золотистой отделкой. Зеленоватое наслоение кое-где на рукоятке, блеклость отделки и черноты на перьях свидетельствовали, что эта вещь долго пролежала в земле. «Я знаю, чем ей вернуть блеск», — сказала Марта, когда Захар закончил телефонный разговор. «Ценная находка, реликвия истории», — пояснил им обоим Захар. «Что это?» — спросил мичман. «Старинный пернач, символ полковничьей власти на Сечи». — «Ого!» — «Ого, конечно. Ты знаешь, Марта, способ, каким можно обновить блеск металла? Серьезно?» — «Знаю. А как владеть этим перначом?» — «Вот так», — весело ответил Захар. Встал на ноги, как можно крепче взял его жилистой правой рукой, резким взмахом поднял вверх. Марта невольно отпрянула. Захар положил пернач на стол, со смехом спросил: «Испугалась, Марта?» — «Ага. Ухватистый... Необычная власть, а вы умеете». — «Ничего я не умею, — нахмурился Захар. Тот, чьи кости лежали рядом с ним, с женщинами не воевал. Сотники и хорунжие были под рукой. И анонимщики не заводились, не было их — и все. Как и адамового ребра не было среди запорожцев... — Деда отравила, Марта, в скобяной магазин за крючками?» Марта стала оправлять ситцевое платье, пытаюсь закрыть колени, и не смогла — очень уж коротко платьице, не достает как раз на два пальца. «Не отравила, дед в пойме. Разве докричишься туда с вашим радио? Сидят там женихи-пустобрехи и баклуши быют. Пернач бы на них!» Захар хлопнул ладонью по столу. «Не кивайте, Марта, на других, а то не ровен час пернач еще походит по вас». — «По мне не походит, не успеет», — сказала Марта с каким-то лишь ей одной понятным подтекстом. Отнесла стул, на котором сидела, обратно под стену, остановилась перед Захаром с таинственной улыбкой, которая играла на ее увлажненных губах. Пока они, мужчины, разгадывали настроение бригадирши, она взяла пернач, старательно завернула его в газету, которая лежала на стопке разных бумаг, и пошла из кабинета. Захар едва успел крикнуть вслед: «Оставьте шутки! Это реликвия. За нею завтра приедут из краеведческого!» Марта остановилась, не выпуская ручки уже открытой двери. «До завтрашнего дня отдам.

Жду лично вас». И решительно закрыла за собой дверь. Захар не отважился догнать Марту, не оставил кресло, а все погружался и погружался в него. «Видал подобную женщину, а?» — только и спросил Дениса Калиновича. У него, Захара, вероятно, немели руки и ноги, а сердце сбивалось с ритма и в висках стучали горячие молоточки от сознания, что при мичмане Марта не постеснялась сама назначить свидание — не он ей, а она, — и нет уже для него никакого пути отступления, никаких отговорок, к которым могут прибегать мужчины, пока их разбирают сомнения и есть оправдание для колебаний... «Вот чертяка!» — покачали головой оба...

Денис Калинович все возвращался и возвращался мысленно к поступку Марты, и его почему-то охватывала неосознанная грусть. То, что сначала забавляло, — удивление, растерянность и беспомощность Захара, — постепенно обретало для Дениса Калиновича иное содержание. И чем ниже садилось солнце над плавнями, тем тревожнее он поглядывал со двора председателя рыбхоза на двор Марты, на калитку ее забора и дорожку, ведущую к этой калитке. Он издалека видел, с какой необычайной легкостью и торопливостью она хлопотала по хозяйству, как бежала в магазин, как развела огонь в летней печке и варила вареники. Денис Калинович ожидал из правления Захара, сидел в шезлонге, почитывая О'Генри. Сгустились сумерки, и Денис Калинович отложил книгу. Иногда умолкал громкоговоритель, и тогда слышно было, как днепровские волны плещутся о борта лодок, что стояли на привязи около мостиков, как на осоке кричат бакланы, как позвякивает подоюник соседки.

«Сходи к Марте и забери пернач», — попросил его Захар. «Прости, но меня туда никто не приглашал, приглашали тебя». — «Она бригадир, я председатель рыбхоза, и мое посещение завтра обрстет сплетнями. Сходи, Денис, прошу». — «А она тебе вареников наварила». — «Откуда знаешь?» — «Со двора видно было. У плиты хлопотала, дуршлагом трясла». — «Ну так что?» — «А ничего. Полвечера носилась с макитрой, с ситом и дуршлагом». — «Не выдумывай». — «И в магазин бегала. Все предусмотрела». — «Не пойдешь?» — «Пойду, но пожалеешь еще. Сам толкаешь». — «Иди, иди!» И Денис Калинович пошел к Марте.

Принаряженная Марта встретила мичмана как-то не-приятно. Пернач лежал на столе, около бутылки мускатного вина. Стол был застлан свежестыранной скатертью с голубой каймой. Как и вино, пернач при свете играл своей золотистостью и серебристостью, — куда и девались зеленоватый налет на рукоятке, и чернота на перьях, и вся отделка обрела первоначальную красоту.

«Вы волшебница, Марта. Вероятно, умеете обновлять и иконы?» — «Вероятно, умею, — сказала сдержанно. — Вон там, за печью, у меня порошок «Слава» за двадцать три копейки». — «Так все просто, никакой загадочности?» — разочаровался он. «Так все просто, никакой загадочности, — повторила за ним: — Загадочность — ваш друг. Почему не пришел сам?» — «Послал меня, Марта». — «Сплоховал?» — «Как сказать...» — «А вы ничего не говорите, — блеснула она черными глазами из-под бровей. — Пожалует еще». — «Пойду, — сказал он. — Велено пернач забрать и поблагодарить». «Поблагодарить» добавил от себя... «Отдам, солить не собираюсь. А вас сейчас не пущу, как хотите. У меня сегодня праздник». И не пустила...

Сколько дней прошло с той летней ночи, дней и ночей, коротких и длинных, — а на его губах, как вспомнит все, свежо ощущается терпкость ее поцелуев, чувствуется душистость ее загорелого тела, чем-то похожая на аромат нагретой солнцем и только что сорванной с плети дыни чогаре. На подводном ракетоносце нет ничего такого, что напоминало бы запах этих дынь, в шкиперских причиналах корабельного боцмана все пропахло красками, олифой и пряжей. А когда Денис Калинович побреется, освежится одеколоном «Карпатская роза». В каюте они живут втроем — он, Зёма и Девошкин. Старшина радистов любит «Шипр», старшина-химик отдает предпочтение рижским одеколону. Иногда еще нюхает из пузырька-флакончика духи «Кармен». Радист Зёма говорит, что всегда в их каюте чувствуется запах хвои, а Девошкин жалуется на недосмотр корабелов, которые, мол, оборудуя их каюту, оставили где-то под обшивкой старый сапог, начищенный гуталином. Химик — человек, у которого, наверное, испорчено обоняние, и ничем ему не докажешь, что это абсурд. Никого не удивит, если когда-ни-

будь химик будет убеждать, что под линолеумом на палубе теми же корабелями забыт уже не старый сапог, а невыделанная шкура африканской зебры или гималайского медведя. «Парадоксы окружают нас. Мы топчемся на парадоксах, — говорит Девошкин мичману. — И то, что мы с вами на атомоходе, — необъяснимый парадокс». Старшина Девошкин, может, и случайность на подводном ракетносце, может, и парадокс, но Денис Калинович — нет, потому что флот — его призвание; подводные лодки современного флота — ударная сила, дитя индустрии, признак могущества государства, роста его науки и культуры. Так что это закономерность нашего развития, а не парадокс. Вот брак его — это действительно парадокс. А может, тоже нет, может, она и есть такая, и должна быть такой... любовь?

«Кто она, ваша искусительница? Нам достаточно знать ее биографические данные», — как-то задел гидроакустик Медядько самое чувствительное место в сердце мичмана, и с тех пор оно не имеет никакого покоя. По мере того, как приближался, по подсчетам Марты и по его собственным подсчетам, фатальный день, мичман становился неузнаваемо раздражительным, не терпел ни малейших упоминаний о своей женитьбе, не переносил постороннего любопытства, кому теперь будут предназначаться его морские подарки — приветы от Посейдона — Зумрад или же молодой жене. И командир корабля Можаров, словно оберегая боцмана от легкомысленных шутников, в его присутствии отчитывал всех старшин за служебные недосмотры, ставил им в пример боцманскую вахту, отмечал умение Дениса Калиновича целиком отдать себя службе и только службе.

Кто она, его Марта?

Проходили подводные сутки, и на полочке шкафа мичмана к девяти столбикам шоколадных плиток, которые он старательно складывал и в этом плавании, добавлялась новая, а в табеле-календаре отмечался еще один день ожидания. Ни Зёма, ни Девошкин больше ни о чем Дениса Калиновича не спрашивали, старались не замечать, как он подходил к шкафу, смотрел на свои шоколадные столбики и лицо его становилось тоскливым и каким-то даже беспомощным. Им обоим тогда становилось жалко его, и они оставляли мичмана одного. Неужели правда, островитянка завела Дениса Калиновича в

темный колодец и окрестила его в холодной ключевой воде, из которой brave мужчины выходили послушными и подвластными женскому произволу? Как сложится дальнейшая жизнь мичмана?

И внешне, а тем более внутренне мичман Чотий совершенно не напоминал тех корабельных боцманов, представление о которых нам дают классические примеры из произведений Станюковича, Новикова-Прибоя и еще раньше Гончарова: с боцманской серьгой, дудкой, неизменными усами и татуировкой на теле, которая представляла собой своеобразную аттестацию старого «морского волка», хозяина корабельной палубы и всех составных частей рангоута.

Мичман Чотий в свои двадцать пять лет с успехом мог заменить мичманские погоны офицерскими, поскольку с возвращением на базу ему надлежало выехать в столичный университет, где он заочно кончал исторический факультет, продолжать службу на берегу в политическом отделе или в другом месте, гдегодились бы его знания, в конце концов, закончить любое высшее военноморское учебное заведение и обеими ногами встать на первую флотскую офицерскую ступень. Но его лично и командование флота устраивала преданность мичмана атомоходу, рулевой и боцманской службе. Молодой, светло-русый, он без особых ухаживаний мог привлечь к себе внимание не одной красивой девушки, но его замкнутость и скупость на ласковые слова отпугивали многих. Он и Денисом Калиновичем стал преждевременно, как становятся все молодые люди с солидными обязанностями.

Кто она, его Марта?

«Всплываем на перископную глубину. Радистам приготовиться к очередному сеансу связи!»

Пока Зёма связывался с базой, принимал радиogramмы и передавал квитанции приема, мичман присматривал за управлением горизонтальных рулей, следил за показателями автомата — пульта управления, за движениями своего младшего рулевого, который справа от него, по курсу, стоял на вертикальных рулях. Собственно, выражение «стоять на рулях» осталось из прошлого: Денис Калинович и его подопечные на атомоходе сидят в креслах, так же, как сидят пилоты в трансконтинентальном лайнере. Индикаторы глубины и скорости погружения,

дифферента, крена — вся автоматика работает безукоризненно, но мичман уверен, что после того, как ракетно-носец снялся с жидкого грунта, все внимание командира лодки приковано к его посту. Можаров будет заглядывать на перископной глубине в окуляр перископа, но время от времени будет наблюдать и за рулевыми.

Мичман Чотий сидел спиной к командиру и чувствовал на себе его пронзительный взгляд, прежде чем воспринимал слухом: «Боцман, держать точнее!», «Боцман, не топи лодку!» «Боцман... Боцман... Боцман...»

«Опустить антенны!»

«Опустить перископы!»

«Боцман, опускайся на глубину сорок метров».

Ракетноносец послушно идет под воду, и теперь все прислушиваются к кратким сообщениям мичмана: «Десять... Двадцать... Тридцать... Сорок!»

«Стоп! Держать на сорока! Осмотреться в отсеках!»

Сменяясь с вахты, Денис Калинович пропустил перед собой радиста и шифровальщика с центрального и подумал, что сегодня, именно сегодня, должна была бы подать о себе весточку Марта, его жена, его любовь.

Грач — птица весенняя, но в этих средиземноморских широтах грачи не гнездятся и даже не зимуют. Их зимовка где-то там, на Украине, в краях, где выросла волшебница Марта Молокан. А еще за Курском, Саратовом, за Доном — вплоть до Средней Азии и даурских мест находит себе зимний уголок грачиное племя. А без грачей русская душа и март не воспринимает как март. Все чайки да чайки — и в тихую погоду на море, и в шторм, когда стальные борта корабля ощущают удары могучих волн и за стенкой рубки гудит и неистовствует ураган.

Грач — птица весенняя, перелетная, — уже собрался в стаи и полетел на север.

В мичманскую каюту корабельный шифровальщик заходил лишь тогда, когда звал старшину радистов в шифровальную или когда химик проверял дозиметры-«карандаши» да еще, может, один-два раза опять-таки к Зёме и Девушкину без крайней необходимости. Боцманская и шифровальная служба обособлены, а поэтому к мичману Чотию он обращался изредка, по необходимости.

Появление шифровальщика в каюте после недавнего

радиосеанса, его доброжелательная и понимающая улыбка отразилась в груди мичмана щемящей болью, от которой было тяжело дышать. А шифровальщик молчал, загадочно держа дверь каюты настежь еще для кого-то позади себя. Это были гидроакустик Василий Медядько и радист Зёма. Медядько держал в руках самодельную куклу, завернутую в простыню и одеяло и перевязанную лентой.

— Товарищ мичман, молодой папочка наш, — выступал Медядько вперед с поклоном, как выступали когда-то простолюдины с хлебом и солью перед властью имущими. — Мир никогда не переставал удивляться. Стало нормой повседневности рожать детей на высоте десяти и больше километров на пассажирских «Туполевых», «Антоновых», «Ильюшиных», которые летают на внутренних и международных маршрутах. Историей не зафиксировано, чтобы дети рождались на стратегических бомбардировщиках и подводных ракетносцах. Однако если человечество и дальше будет так развиваться, то... все возможно. А поэтому с целью узаконения нашего приоритета...

Включилась корабельная трансляция и голосом капитана третьего ранга Болюбаша оповестила экипаж о рождении сына у Дениса Калиновича — Чотия-младшего, который уже имеет определенный вес на флоте, — четыре килограмма и двести граммов и поздравляет своего отца, желает скорого и благополучного возвращения. Морякам-атомоходам общий привет — три фута под килем.

После паузы, словно поразмышляв, стоит ли сразу еще что-то сообщить, все-таки добавил: согласно учебной программе занятия рулевых по непотопляемости атомных подводных кораблей не отменяются, а поздравление мичмана Чотия с рождением сына разрешается за обеденной трапезой.

Голос умолк, а Денис Калинович стоял, бледный и молчаливый, потирая ладонью шею, будто снимал душившую его боль. Глаза его наполнились слезами, но эти слезы невозможно было заметить, они исчезали, не достигнув ресниц. Денис Калинович наконец подошел к шифровальщику, к Зёме, потом к Медядько, обнял каждого и каждому сказал скороговоркой слова благодарности, как это обычно говорится близким людям или избавителям от незаслуженного наказания.

— Меня перебили, я еще не все сказал, — положив куклу на постель мичмана, сказал Медядько.

— Помолчи, Василий, не нужно, — попросил мичман. — Ты хотел знать, кто она, ее биографические данные... Теперь знаешь кто. Она — мать моего сына!

Старшина Медядько впервые со всей полнотой почувствовал и осознал, какую боль он когда-то причинил мичману необдуманной шуткой и какое ранимое сердце у мичмана. Да кто знает, а может, и у него, Василия Медядько, такое и он со временем как муж будет подобен мичману.

— Ограждение рубки и надстройка становятся частями корпуса, на который набегает поток в районе максимальных гидродинамических давлений. При таком обтекании центр давления находится значительно выше центра тяжести. При этом возникает большой крен. Такой подъем более всего вероятен в случаях аварийного продувания главного балласта без наличия настоящего затопления...

«У меня родился сын... Сын! Его вес четыре килограмма и двести граммов! Сколько же это, много или мало? Марта крепкая. И ноги есть, чтобы ходить, и руки, способные управлять любым рулем... Гм, говорила, что вожжи от солнца держит в своих руках. Надо же придумать такое... вожжи от солнца!..»

— На чем я остановился?

— Продувание главного балласта без наличия настоящего затопления, — не моргнув глазом, ответил сигнальщик, которого Денис Калинович не очень хотел брать в это плавание и который даже похвалялся кончить из-за этого жизнь самоубийством. Над ним посмеялись и взяли. Матрос оправдал доверие мичмана. И боцман Чотий не пожалел, что согласился взять этого первогодка, — старательности у него хватает, добросовестности не меньше.

— Рассчитываются траектории аварийного всплытия при разных начальных скоростях движения. А уже на основании анализа этих кривых избираются необходимые скорости продувания балластных систем. Эти же

кривые используются в дальнейшем для разработки методов по борьбе за непотопляемость и живучесть атомных подводных лодок...

«У меня родился сын... Сын! Какой же он? На кого он похож? На меня или на Марту? Лучше бы на Марту.

Мама, Евфросинья Евлампиевна, о внуке мечтала и чтобы был похож на невестку, на счастье. Счастливые сыновья те, что похожи на мать, дочери — на отца... У Марты на груди родинка, как раз на том месте, где целовал. А она засмеялась и шепнула на ухо о какой-то примете. Больше не касался там губами, а примета все равно сбылась...»

— На чем я остановился?

— Кривые используются и в дальнейшем, — снова подсказал сигнальщик-первогодок.

— К внешним причинам выхода из строя рулей относится применение оружия или навигационное столкновение...

«У меня родился сын... Сын! Наверное, если наклониться, запах его тельца тоже напоминает аромат дыньки чогаре. А может, подсолнечного венчика, покрытого росой, или... первой капли весеннего дождя? Самой первой, что щекочет лицо...»

— На чем я остановился?

— Применение оружия или навигационное столкновение.

Денис Калинович оглядел аудиторию, всех четырех матросов, сидевших перед ним, не заметил на лицах ничего, что свидетельствовало бы об их озабоченности его неожиданной забывчивостью, которая никак не была присуща ему, который всегда и во всем был цельным и трезвым. Две пары серых глаз с зеленым отблеском и две пары тоже серых глаз, но без всяких отблесков светились любопытством и вниманием.

— ...Попеременная перекладка вертикальных рулей с одного борта на другой сдерживает аварийное погружение лодки. Это потому, что влияние импульсного угла

крена может существенно уменьшить аварийное переглубление лодки, особенно на большой скорости. А почему?..

«Я еще не сказал им о носовых горизонтальных рулях и рубочных. Они же менее эффективны для создания аварийных дифферентов, создают подъемную силу, которая обеспечивает аварийное всплытие. И об эффекте реверсирования. Почему же у меня не хватило времени?.. Конспект и все было рассчитано, должно было хватить. Сразу же доложить старпому...»

Прежде чем мичман об этом подумал, вахтенный офицер приказал по трансляции кончать все занятия — корабль должен был обходить майор Аратский и проверять в отсеках температуру и влажность, а химик Девушкин определять состав воздуха и радиоактивность. Денис Девушкин с чувством приглушенной горечи и разочарования в себе повторил матросам команды вахтенного. Рулевые-сигнальщики поднялись с мест, преградили мичману дорогу.

— Товарищ мичман, у вас родился сын?

— У меня родился сын. — И Денис Калинович сразу же почувствовал облегчение.

— Четыре килограмма и двести граммов?.. Это же здорово!

— Разве?

— У меня было три семьсот... А рост какой?

О росте ничего не сообщалось, и Денис Калинович мысленно пожалел, что не знает этого. Какие они с Мартой передали сыну гены? Самые лучшие, самые животворные, от любви... Чтобы выросал их сын во всем такой красивый и такой мудрый, как природа, подарившая родителям летнюю ночь в днепровских плавнях. И утро с солнцем, которое простелило им лучезарный путь через Днепр к морю. И день, отмеченный новым продолжением рода Чотия.

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Белый свет, крутая зеленая волна.

Средиземное море угрожало длительным штормом. Малахитовые валы с неистощимой последовательностью поднимались вверх и оттуда падали изнеможенными

гребнями на окуляры перископов, которые снова и снова выныривали из бурунов морскими зеркалами, оставляя на гребнях валов мгновенные вспышки. Они затем пенистыми тропинками скатывались под киль ракетносца, в пропасть моря. Ракетносец идет от его гостеприимных глубин на зюйд, и неутомимое перо курсографа чертит почти прямую линию. Корабельный лаг, который было истосковался от неподвижности на жидком грунте, добросовестно отсчитывает морские мили. Все в движении — и люди, и техника, — и уже отошли куда-то изъяны их характеров, которые начали было проявляться там, где мы пролежали прошлый месяц. Перед нами снова Атлантика с ее айсбергами и штормами и дуга северного сияния. В краю извечного безмолвия ракетносец осуществит пуск второй баллистической ракеты, которая взломает ледяной панцирь, оставит на ледяном поле вихрь из огня и дыма и пройдет сквозь дугу сияния, будто стрела из гигантского лука. Никто из нас не увидит этого зрелища, как не увидит и северного сияния, — подводный атомный ракетносец всплывет на поверхность лишь перед входом на базу, на траверзе острова Ветров, где всегда встречают нас сторожевые дозоры.

Досадно, однако, мне еще не довелось видеть северного сияния — служба на подводных ракетносцах только лишь началась. До сих пор я плавал на тральщиках и сторожевых катерах Черноморского флота, потом на гвардейском крейсере Тихоокеанского. Слушателем Академии я стажировался на подводных лодках снова на юге. Еще на Тихом меня поразила рассказ о синих сумерках и постылой тишине Северного полюса, и я решил во что бы то ни стало получить назначение на подводные ракетносцы. При распределении мне попытались было отказать, поскольку в послужном списке у меня были только надводные корабли. И мне пришлось рассказывать Государственной комиссии легенду, которую я считаю правдивейшей правдой, о моей склонности к подводным лодкам, в частности — к атомным. Эту легенду-правду я не раз еще буду повторять, как повторяются охотничьи были, — и в штабе флотилии, и в политотделе контр-адмиралу Выдышу, и тут, уже на корабле.

...Снисходительно-милостивое: «Бо ж любиш?»¹, с которым мой пращур, казацкий судья Охрим Бирка обращался ко всем грешникам запорожского товарищества, независимо, на чем тот или иной из них попался — на мед-водочках или же на прелюбодеяниях с безрассудными женушками, — и которое по своей сути больше походило на защиту, чем на обвинение перед объявлением приговора, со временем прилипло к нему прозвищем «Божлюбаш» и нам, его потомкам, досталось узаконенной фамилией. А мы, Болюбашаши, разнесли эту фамилию по белу свету, как разносят осенние ветры летучие зернышки. Кроме громкой и необычной фамилии Болюбаш, прапрадед оставил нам еще и добрую славу весьма деятельного и сообразительного казака-изобретателя, которой он удостоился на Сечи. Задолго до «потайного судна» Ефима Никонова и лодки американца Бюшнеля он конструировал и оборудовал крупные подводные лодки, о которых писал еще французский философ Фурье, побывавший в Константинополе в конце XVI столетия. Напуганные до потери сознания запорожцами, турки рассказывали французу необыкновенные истории о том, как запорожцы поднимались прямо из морских глубин и повергали в ужас всех воинов и жителей окрестных крепостей. Фурье сомневался в существовании запорожских подводных лодок до тех пор, пока не встретился со свидетелями казацкого изобретения. Историк Монжери, ссылаясь на записки Фурье и другие достоверные источники, написал книгу о подводном мореплавании и войне, где утверждает первенство Запорожской Сечи в осуществлении такого плавания. Его книга в 1827 году вышла из печати в Санкт-Петербурге, и там сказано: «Въ конце XVI и последующихъ столетияхъ украинцы часто избежали отъ преследования Турецкихъ галеръ с помощію большихъ подводныхъ лодокъ». Как рассказывал дед Василь и как утверждалось у Монжери, запорожцы обшивали свои лодки-чайки кожей, и над палубой, которая была герметичной, поднималась шахта, в которой сидел командир-наблюдатель, казацкий капитан. Он наблюдал за морским пространством, являлся и штурманом, и рулевым, нагнетал свежий воздух в лодку при помощи мехов и подавал команды вниз, хлопцам-весельникам, у кото-

¹ Украинское «Бо ж любиш?» означает «Ведь любишь?».

рых хватало сил работать на веслах от Хортицы до Царьграда. Кстати, герметичность лодок в местах прохода весел через борты достигалась своеобразными кожаными манжетами да еще живицей с какими-то примесями, состав которых не мог раскрыть ни один лазутчик. А прапрадед Охрим хорошо разбирался в этом, все время совершенствуя рецептуру, как и вообще стремился усовершенствовать подводное оружие для казаков. Если бы обстоятельства сложились благоприятно, казацкий судья и изобретатель Охрим Бирка-Божлюбиш наверняка завершил бы конструирование лодки-малютки, чем-то похожей на лодку «Черепаха» Бюшнеля, предназначенной для доставки пороховых бочек под вражеские галеры и взрыва их одним-единственным смельчаком. Нужно ли доказывать, что каждый запорожец считал бы своей честью вести лодочку Охрима Бирки. Но не суждено было прапрадеду осуществить свое изобретение — его мажарба, запряженная цугом в две пары серых круторогих волов, покатила по Дикому полю на Добруджу, где за Дунаем казаки должны были располагаться новым кошом. Волон понукали сыновья Охрима, молодые казаки — Василь и Павло, оба как весенние бересты, которые, сколько ветер ни гнет их, все равно выпрямляются. Их кони шли за мажой-арбой на привязи. А на арбе, между рядками, громоздилась незаконченная лодка, которую Охрим Бирка-Божлюбиш мечтал пустить на дунайские волны, завершить и испытать на деле. Нещадно жгло солнце, и мой прапрадед на степных речушках поливал лодку водой, чтобы она не рассохлась; косил свежую траву и покрывал лодку от жары. За Ингулом он внезапно заболел — то ли сказались годы, то ли чрезмерный зной и переживания, и уже ничто не радовало моего прапрадеда. Он молча смотрел в открытую блеклость небес, изредка ощупывал лодку, словно боялся, что без него сыновья дадут лодке рассохнуться или, что еще хуже, бросят ее на полпути. Дикое поле в те времена еще не знало лемешных плугов и лежало под зарослями высокого ковыля, типчка, тырсы, репейника и полыни. Из полыни и чертополоха, наполнявших воздух горьковатой сладостью, выскакивали стайки дроф и стрепетов, удирали зайцы, мелькали рыжими хвостами лисицы. Под степными орлами, кружившими, казалось, у самого солнца, звонили жаворонки, а вдали, над ковылем, будто напу-

ганные татарскими дозорами, мчались куда-то гурты сайгаков. Посвистывали суслики, из-за перекати-поля выглянул и застыл от страха одутловатый сурок. Глаза прапрадеда ненароком встретились с глазами сурка, и прапрадед, указав на него сыновьям, промолвил: «Не услышу уже я от него первого марта»¹ — и отвернулся, чтобы сыновья не увидели казачьей слезы. Целую ночь тянули волю мажу-арбу, и его сыновья — мои прадеды, не останавливались на передышку, потому что старик не разрешал это делать. А когда снова вынырнуло из утренних рос красное солнышко, они съехали в балку, где между зарослями терна и вербы журчала крохотная речушка. Прапрадед велел отпустить из ярма волов, стреножить коней, затем неторопливо спустился на землю. Дойти к воде без посторонней помощи он не смог и снова заплакал. При поддержке сыновей встал перед речушкой на колени, перекрестился, смочил губы. А потом долго смотрел на себя, на свои длинные белые усы, отражавшиеся в воде. и без вздоха повторил сказанное вчера: «Не услышу уже от байбака первого марта». — «Услышите, тато, ведь вы же казак из казаков!» — возразили сыновья. «Какой из меня теперь казак? . . . Закончили казачествовать и мы, и внуки, и правнуки. . . Отныне я. . . е. . . ланец. . .»¹ Там, на лугу, велел расстелить для него жупан, подложить под голову шапку и прилег, чтобы никогда уже не судить других, а самому предстать перед судом всевышнего. Сыновья взяли в руки лопаты, вырыли могилу на ровном месте, положили старика в лодку, которая так и не дождалась морских баталий, накрыли казацкие глаза красным бархатом, насыпали над ним холмик земли. Тронулись дальше, на Дунай. Когда солнце собралось садиться куда-то в заросли полыни, сыновья возвратились назад к отцовскому убежищу. Соорудили шалаш на девять дней, дабы помянуть старика по христианскому обычаю. Остались и на шесть недель для поминок. Колодец рыли для путников, для тех, кто будет идти за ними. Отцовская могила, шалаш, криница. . . И речка, которая уже называлась по последним словам

¹ Согласно народному поверью 1 марта просыпается сурок и свистит — это первый признак весны. (Прим. автора.)

² «Я е ланец» (укр.) — «Я есть голяк» (украинское «ланец» означает: голяк, оборванец).

Охрима Бирки-Божлюбаша Еланцем, — не достаточно ли всего этого для того, чтобы отказаться от дальнейшей дороги и осесть в степи?

Возле криницы, которую вырыли сыновья Охрима, остановился воз молодой вдовы сотника Невидомого, и так и остался возле болюбашевского шалаша. А после того, как вдова еще и всплакнула над могилой Охрима Бирки-судьи (когда-то казацкий судья спрашивал у сотника: «Ведь любишь?» — за его ухаживания за ней, за сожителем без венца, да и помиловал), прадед Василь сказал прадеду Павлу, что отныне без Невидомихи и свет ему не мил. На том и порешили, пришли к согласию, что не доживать же век вдове в одиночестве. Так они и зажили на этом месте. Кто-то проезжал мимо их шалашей, кто-то останавливался — отмерял для себя кусочек земли и возводил хатенку. А колодец для новоселов копали на совесть Болюбашенки в знак благодарности за соседство. Шесть колодцев вырыли братья и ко всем поставили журавли со срубам. С тех пор на хутор Шесть Журавлей Болюбаша привозили девчат из Новой Одессы и Нового Буга, своих выдавали в Вознесенск, Бобринец и Николаев, и теперь мы с Невидоменками уже словно бы и не родня, если не заглядывать в церковно-приходские и сельсоветские регистры и не прослеживать родословную из колена в колено. Хутор Шесть Журавлей тоже исчез с карт административного деления и остался только на картах топографических да еще существует в преданиях еланецких старожиллов как этнографическое понятие, когда возникает спор, кто первый подал мысль назвать речку Еланец Еланцем — казаки или турки, цыгане или евреи.

Каждое лето я приезжал на каникулы к деду Василю, потому что отец отказался от хутора сразу, как только его, мало-мальски грамотного, выдвинули в райземотдел, и наша семья стала городской. Дед Василь похоронил бабушку Вустю зимой сорок первого и на старости лет стал бригадным сторожем; после коллективизации хутора прекратили свое существование, бывшие хуторяне переселились в «опорные базы», и Шесть Журавлей стали полевым станом бригады и местом водопоя. До последнего времени уцелела лишь хата деда Василя и колхозные конюшни, стоявшие среди вишняков, в которых весной гнездились птицы. Под дедовыми яблонями стояло три или

четыре улья, из которых пчелы вылетали на гречишные поля и к корытам у колодцев, куда сливалась из ведер лишняя вода. Я любил купаться в этих корытах, обросших мхом, — в любой зной они были прохладными. Хутор все еще назывался Шесть Журавлей, хотя на моей памяти сначала стояло три журавля, потом стало два, а в прошлом году остался один, последний. Многие из наших предков похоронены на хуторском кладбище, в центре которого виден холмик с камнем-крестом, — под ним останки казачьего судьи и изобретателя Охрима Бирки — Божлюбаша. Кроме работы сторожем у деда была еще одна забота: ходить в Еланец на заседание сельского Совета и требовать внесения в повестку дня отдельного пункта — выделить лес на восстановление всех шести колодцев, всех шести журавлей... Этот пункт единогласно ставился на обсуждение и единогласно переносился на следующее заседание, потому что с лесом в степи всегда было затруднительно. Умер дед Василь тихо и не обременительно для живых — на пасху. Он был похоронен последним на хуторском кладбище, рядом с прапрадедом Охримом; над его могилой был поставлен деревянный крест из последнего колодезного журавля, потому что колодец на бывшем хуторе был теперь ни к чему — колхозники запланировали перегородить балку капитальной гатью и сделать здесь ставок. И кладбище закрыли навсегда, первым и последним похоронен был здесь представитель рода Болюбашей...

Досадно, что до сих пор я не видел северного сияния. Вспоминаю, правда, как когда-то в детстве дед Василь показывал мне ночное небо и под Большой Медведицей, или, как называют у нас, Большим Возом, оно озарялось ярко-оранжевым светом, а снизу желтыми лучами. Позднее я узнал, что на Украине тоже наблюдают северные сияния, не такие, конечно, как в Антарктике, но длительные и тоже с зеленовато-оранжевыми коронами. Но дед Василь не считал эти сияния природным явлением, все убеждал меня в неизбежности новой мировой войны, в том, что не за горами тот адский день, когда человечество навек погубит само себя. Обрадовавшись космическому полету Гагарина и колхозному телевизору, даже заплакал от радости потомок казака-изобретателя, потом осенил себя крестом, когда слушал мои рассказы о новейших достижениях науки и техники. Ничто так не

пугало его, как те опустошения, которые могут быть после атомного взрыва, когда земля перестанет быть землей, а вода водой и никто не сможет напиться из болюбашевских колодцев. Но мы и существуем для того, чтобы этого не произошло, и ходим по нейтральным водам, и измеряем глубины земных и небесных морей.

Постучали, и вслед за тем сразу же показалась в дверях фигура капитана второго ранга Можарова; по привычке, переступая комингс, командир поправлял пилотку, сидевшую где-то на затылке. Арнольд Петрович стоял посредине каюты, широко расставив ноги, словно ракетно-носец вот-вот станет раскачиваться из стороны в сторону. Что-то его веселило, и он громко сказал:

— Какой смысл отсиживаться в каюте, если гидроакустики вылавливают в рубке пение кашалотов! Это такой неповторимый концерт, что вряд ли, Юрий Васильевич, услышишь что-либо подобное в весеннем лесу. Иди к Медядько, грандиозная симфония!

Можаров сообщил, что за час-два ракетно-носец оставит за кормой и исландские широты, и все китовые табуны, а по утверждению Богдана Николаевича, в условиях подводной изоляции ничто так не вызывает эйфории — независимо от способности любого воспринимать необычное, — как те китовые пения, что напрашиваются на магнитофонную пленку. С обеда вместе с первой сменной контр-адмирал не оставляет гидроакустической рубки, словно решил стать дублером старшины Медядько, и его, Можарова, сманил в рубку на этот концерт и очень жалеет, что я ничуть не посвящен в подводное диво.

Он напомнил, чтобы я не опоздал в кают-компанию на последний вечерний чай в этом походе. «Обязательный для всех, — подчеркнул он. — Никто не волен нарушать флотский патриархальный обычай».

— Так пойдем со мной, потомок запорожского изобретателя. — И забрал меня из каюты.

Напевы кашалотов, сколько я ни сидел в Медядьковой рубке, не повторились. И контр-адмирал жалел об этом, будто не я, а он лишился наслаждения узнать необыкновенное. За вечерним чаем Богдан Николаевич весь разговор сворачивал на это пение и на хищническое отношение людей, которые задались целью извести китов,

этих наистарейших представителей фауны. Если охота на все виды морских гигантов будет идти такими же темпами, то еще в XX столетии под водой не услышишь их пения и гидроакустики станут вылавливать только забортные шумы атомных ракетносцев.

Вестовой Рамир Мамедов подставил адмиралу второй стакан крепкого, как шасла, чаю, но Богдан Николаевич, поблагодарив матроса, сказал, что ему что-то нездоровится. «С каких-то пор я не выношу матового света», — и немедленно вышел. Майор Аратский переглянулся с Арнольдом Петровичем и с его разрешения поспешил вслед за адмиралом. Кто-то из офицеров еще попытался поддержать в кают-компании приятное настроение, но его попытка так и осталась попыткой. Не сговариваясь, мы с командиром направились в адмиральскую каюту, — кто-кто, а Богдан Николаевич никогда не пренебрегал корабельным товариществом.

Он лежал на диване и тяжело дышал, обильный пот заливал высокий лоб, на котором выступили голубые вены. Глаза его были закрыты, и наше с Можаровым появление в каюте никак не отразилось на нем — даже не пошевелинулся. Аратский сделал контр-адмиралу инъекцию и приложил к руке грелку. Прошло минут двадцать, и из его груди вырвался слабый вздох.

— Эти уколы никакое не лечение... Не тот климат, Арнольд Петрович, — тихо сказал майор.

— Не шепчитесь, — неожиданно отозвался контр-адмирал. — Майор, вы должны всех успокоить. У меня обыкновенное переутомление. Слышите? — И через силу раскрыл глаза, чтобы рассмотреть, кто в каюте.

— Лежите спокойно, пусть это вас, товарищ адмирал, не волнует. Придем на базу — я передам вас под наблюдение флагманского терапевта.

— На базе, майор, мы с вами еще поговорим, — усмехнулся уголками губ адмирал, — потому что к терапевтам у меня отвращение.

— Моя обязанность, товарищ адмирал, доложить.

— У вас обязанность, а у меня отвращение.

Целую ночь Аратский не смыкал глаз, как и все мы, наблюдал за Богданом Николаевичем. Тот уже ни на что не жаловался, доказывал майору и нам преимущество красного света над синим и матовым и даже трижды, извинившись, просил морского чая — без сахара, с души-

стой заваркой и лимоном. Под утро, совсем веселый и посвежевший, спросил Можарова:

— Когда там позволено начальством всплывать, командир?

— Через сорок минут, товарищ адмирал.

— Через сорок... Так быстро?

Богдан Николаевич разочаровался, словно его полностью устраивало вечное подводное плавание. А может, это было предчувствием чего-то другого?

Аратский еще не успел рассказать адмиралу о каком-то личном приключении (из серии незабываемых встреч со знаменитыми одесситами), как на ракетноносце прогремел колокол громкого боя — боевая тревога, атомоход пойдет на подъем.

Собирали адмиральские пожитки втроем — Аратский, я и сам Богдан Николаевич. Он отложил в сторону стопку книг из корабельной библиотеки и, сказав шутливо, что имеет слабость не возвращать произведения любимых писателей, попросил меня сдать эти книги. Передал химику дозиметр, словно между прочим замечая, что больше ему этот прибор не понадобится.

Ракетноносец уже шел в надводном положении, и грозное море ощущалось безостановочностью накатов громадных волн, которые встречали его форштевень, бились о ходовой мостик и с рокотом скатывались по верхней палубе к корме. На мостике, кроме Можарова, боцмана Чотия и старпома Галаева, еще никто не побывал, но в центральном посту, ракетном и частично жиллом отсеках, повеяло соленым морским ветром, от которого сначала у тебя немного кружится в голове и грудь стеснена до сладкой боли. Контр-адмирал время от времени припоминал какие-то советы то исключительно для меня, то для всех. Майор поддакивал, не перечил, вставлял и свое. Можно было восхищаться умением майора поддерживать в Богдане Николаевиче душевную благосклонность к себе.

Капитан второго ранга Можаров спустился с ходового мостика словно подмененный — чересчур бравый, насквозь пронизанный той свежестью, что присуща только морякам в открытом море. Он был одет в канадку, на воротнике которой и на шапке ухитрился занести внутрь корабля несколько крупных снежинок, в сапогах и мехо-

вых рукавицах. Сбросил рукавицы, смахнул ими с бровей капельки воды, доложил контр-адмиралу:

— Корабль прошел траверз острова Ветров. Ракетно-носец сопровождают катера противолодочной обороны.

— Есть, командир. Как там, вверху?

— Плоховато, товарищ адмирал. Снег, — стряхнул он рукавицами водяные капли с полы канадки. — Ветер норд-остовый, море шесть-семь баллов, температура минусовая.

— Здесь душновато, там морозно. Придется снова переклиматизироваться.

— Так точно, товарищ адмирал, придется, на берегу жены ждут.

— Заждались, говоришь, командир?

— Так точно.

Ошвартуется атомоход на отведенной ему стоянке, подадут с берега трап, и Богдан Николаевич перед тем, как сойти с корабля, пожмет руку Можарову и скажет: «С благополучным возвращением, командир», — и под его, Можарова, команду «смирно» спустится с корабля. На пирсе тем же «смирно» встретит члена Военного совета дежурный по базе и проводит его к черному «ЗИМу», стоящему около бухтовой стены, вероятно, с вечера, с адмиральским адъютантом и водителем. Адмирал уедет, а нам еще несколько дней не придется ступить на берег, никому, пока все и вся на атомоходе не обретет выходного состояния.

Я поднялся на ходовой мостик и сначала ничего не различил. Понемногу вырисовались заледенелые лееры лодки, вокруг темная, словно загустевшая магма, поверхность моря. Прожектора катеров противолодочной обороны проложили нам мерцающую дорожку для захода в бухту, выхватили на мгновение из бурного мрака боковую цепочку и туманные ревуны, стонавшие каждый раз, как налетал снежный вихрь. А среди воя вихря и стопа ревунов слышался тревожный крик чаек, который понемногу бередил душу, хотя меня никто не ждал. Впереди ракетносца скрестились прожекторные лучи катеров, и в это скрещение залетела белокрылая чайка, черкнула краем крыла белый гребешок волны и полетела к берегу, точно понесла кому-то от всех нас самую первую весточку.

На западе с раннего вечера, сначала в созвездии Овна, а потом Тельца, ярко блестит Венера. Левее, высоко в юго-западной части неба, в созвездии Близнецов, виден Сатурн. Во второй половине ночи на юго-востоке, в созвездии Водолея, можно видеть красноватый Марс. До конца месяца в более южных районах на утреннем небе, на востоке, в созвездии Рыб, можно заметить Юпитер.

О женщины, чье сердце остро ощущает и грусть-боль, и радость-счастье, и любовь без конца! Вас не касаются военные и государственные тайны мужей ваших, но есть ли на свете какие-нибудь другие тайны, которые не стали бы для вас доступными разгадками? Распознавая все перипетии жизни и судьбы, вы сами остаетесь той не постижимой тайной, раскрыть которую под силу было лишь Данте, Шекспиру, Рафаэлю...

Колыбели флота — Кронштадт и Севастополь — в нашем сознании прежде всего предстают в величии крепостей с бастионами и рavelинами, орудия которых направлены на море и на сушу, в уюте просторных бухт, где возвышаются громады кораблей с главными калибрами, также нацеленными днем и ночью в сторону моря, в суровых улицах, на которых морские патрули шагают по мостовой истории и охраняют не только ее реликвии, но и обыкновенную повседневность. А еще бульвары с военными оркестрами по воскресным дням и в праздники, множество бескозырок с матросскими ленточками, голубизна воротничков-гюйсов и кроме всего этого женское очарование, не лукавое, непритязательное, не требующее обожания, хотя красотой своей она не уступила бы Пандоре Зевса и сундук ее весомее сундука Пандоры, — жажда свиданий. Подтверждено не одним поколением военных моряков, что их подруги живут надеждами. И море для них не абстрактное понятие, как для тех, которые лежеляются где-то в средней полосе России или на Полесье, но и их будущее. Издавна города корабелов дают флоту не только новые боевые единицы, но и нареченных. В про-

шлом эта флотская традиция ревниво охранялась. Теперь нет — двадцатый век привел в движение народы и континенты, и женская краса, которая раньше могла увядать в неизвестности, теперь видна отовсюду, и моряки берут ее в полон и везут с собой, преодолевая небывалые расстояния и нарушая утвердившиеся обычаи. И в Кронштадте, и в Севастополе, как и в Совгавани и Североморске, женское очарование стало заметнее.

Как и всюду, суровость и бедность природы компенсирует и украшает женская красота. Женщины, живущие на базе подводников, имеют свою официальную «штаб-квартиру» — совет, функционирующий при базовом Доме офицеров. В отличие от любого Военного совета, женский избирается не по приказам сверху, а открытым голосованием, после делового обсуждения каждой кандидатуры, с соблюдением всех демократических основ. Правда, при этом не остаются в стороне политотдел и лично контр-адмирал Выдыш, который никогда и ни в чем не допускает самотека и всегда направляет выборное собрание женщин в надлежащее русло. Он потом и утверждает избранный состав совета и при содействии этого совета заботится о семьях атомоходов. Для Богдана Николаевича и политического отдела это был самый сложный участок службы, ибо кто и по каким уставам отважился бы регламентировать поведение женщин и определять круг их прав и обязанностей? Не соответствующий своему назначению по тем или иным причинам женский совет слагал свои полномочия как таковой, который лишается вотума доверия у большинства морячек, и Богдану Николаевичу снова и снова приходилось подбирать и рассматривать новый его состав. В конечном итоге выяснилось, что наиболее подходящая кандидатура на высокий пост председателя совета — Лидия Пантелеевна, собственная жена, которая не столько пользовалась авторитетом мужа, как это делали ее предшественницы, сколько своим жизненным опытом и пониманием сложной женской психологии. Постепенно вокруг нее закрепился преданный актив и все сферы женского влияния на характер и ритмику повседневной жизни в поселке оказались в поле зрения женского совета.

О женщины, чье сердце остро ощущает все! Вам недостаточно одного совета, пускай он до последних усилий стремится удовлетворить ваши потребности. Женское

совершенство непременно нуждается в зависти, конкуренции, прославлении превосходства своей красоты. В поселке, как и в других местах, с течением времени определились «фаворитки» общества, которые непременно окружали себя менее яркими личностями — женщинами скромного характера, нетребовательными и равнодушными к быстро текущей моде, но хорошими хозяйками. Немногочисленная «каста» «фавориток» мирно сосуществовала с официальным женским советом, не пренебрегала его приглашениями, хотя и не проявляла особого увлечения общественной деятельностью, а появлялась на заседаниях для того, чтобы пробудить у членов совета зависть к своим модным нарядам. Не по инициативе совета, а именно по настоянию «фавориток» начальник Дома офицеров флота оборудовал в фойе вешалки, чтобы поселковые женщины имели возможность приходить сюда заблаговременно, до начала киносеансов и театральные представления, и демонстрировать свои наряды не только перед членами женского совета, но и перед офицерами также.

Праздничный стол заботливой хозяйки-морячки не стол, если на нем нет пирога с палтусом. Еще ракетносец отстаивается в отдалении, еще экипаж ракетноносца не переселился на плавбазу и никто из офицеров и матросов не знает, кому первому будет разрешено сойти на берег, а уже на всех этажах домов, где живут их семьи, выпекаются пироги с палтусом и сверкает ярко-красное бургундское. Как бы изобретательно и вкусно ни сервировали морячки праздничный стол, «фаворитки» морщились, когда на нем не было семги, баночки крабов и хотя бы ста граммов красной икры. И веселье их ограничивалось суровыми рамками той псевдодемократичности, которая не признает хмельных пений о Маричках и Иванках и Дунях-тонкопряхах, а отдает преимущество песням, в которых цыганщина принаряжена в новейшие одеяния. Куда лучше щекотливая игра в почту или в лотерею, где никто из мужчин не остается в проигрыше. Будучи не в состоянии соревноваться с советом в общественных делах, «фаворитки» брали известный реванш в сугубо женских затеях, где с непревзойденными тонкостями подчеркивалось их совершенство. Они не очень сокрушались, если членов совета и женщин-фронтвилок приглашали в президиум торжественных собраний вме-

сте с членами Военного совета, ибо для них, «фавориток», отводились первые ряды в зале и президиум прежде всего смотрел на них, как и те, кто сидел сзади. Чуть-чуть не по себе чувствовали «законодательницы мод» на следующее утро, когда после морского парада, под гром сводного оркестра, демонстрацию открывали члены женского совета во главе с Лидией Пантелеевной — пуританкой с тремя орденами и множеством медалей, которые были даже не у всех адмиралов, — за ними следовали учительницы местной школы, врачи, медсестры, а уже замыкать колонну женщин приходилось им, «законодательницам мод». Но кому же придет в голову отрицать, что пестрота и привлекательность этой колонны, которой неизменно посылались приветы и аплодисменты трибуны, ее успех зависел не только от того, что у жены адмирала много боевых наград, а наверное же и от стройности и красочности последних рядов, где манящая чернота глаз окаймлена голубизной век и манящая голубизна зениц окружена черными ресницами. О женщины, чья гордость никогда не дремлет! . .

Снежный ураган преследовал самолет с того момента, как он зашел на посадку, и догнал его в конце посадочной полосы. Самолет вдруг развернулся против ветра, приняв на винты и весь размах крыльев неодолимую ярость метели, и остался в таком положении, пока длинный снежный хвост не понесся дальше, а фюзеляж самолета перестала беспокоить лихорадочная дрожь. Пилот выруливал к аэровокзалу, и пассажиры успокоились. Их было не так много, всего семь человек: армейский полковник, штатский журналист, кинооператор, женщина с детьми — двумя мальчиками, десяти и четырех лет, и молодая женщина в форме старшего лейтенанта флота, к которой по очереди обращались с разными вопросами то кинооператор, то журналист, то полковник.

Снежные тучи разорвались, и по всему аэродрому, среди сугрбов, оказалось множество проталин и луж с ледяными окнами. Самолет остановился неподалеку от главного корпуса вокзала; подали трап, и бортпроводница пригласила пассажиров к выходу. Мужчины дали возможность первыми выйти женщине с детьми и женщине-офицеру. Ни первую, ни вторую никто не встречал.

Армейского полковника ждала «Волга», за журналистом и кинооператором пришел «рафик»; и полковник и журналист предлагали женщинам места в своих машинах, но ни одной не удалось воспользоваться этим, потому что легковая и «рафик» направлялись в областной центр, а женщинам нужно было ехать в Межгорье.

В тесном зале для пассажиров, кроме них, никого не было (только что улетел «ИЛ-14» на Москву), и зал выглядел очень просторным. Женщина с детьми присела на жестком диванчике, и маленький мальчик сразу же уселся на колени к матери. Старший начал было слоняться по коридору, но женщина прикрикнула на него и усадила рядом с собой; мальчик тоскливо начал наблюдать за их спутницей, которая то и дело посматривала в окно на привокзальную площадь. Потом и второй мальчик положил голову на колени матери. Утомленные дети уснули, а она сидела, неподвижная, укутанная пуховым оренбургским платком, и белизна этого платка словно подчеркивала ее утомление, отразившееся на бледном скуластом лице. Темные глаза устало смотрели из-под тяжелых ресниц, будто из какого-то глубокого укрытия. Женщина была по-своему красива, и если бы ей удалось раздеть своих мальчишек и уложить в теплую постель, она заглянула бы в зеркало, привела себя в порядок и сразу бы преобразилась. Одета она была в шубку, но мерзла, потому что не грели капроновые чулки и синтетические сапожки, впитывавшие холод вокзального цементного пола. Женщина-мать не обращала внимания на усталость, мыслями она была в Межгорье, в котором еще никогда не приходилось быть и куда она не хотела даже ехать. Телеграмма, которой ее муж настойчиво требовал приехать в Межгорье из обжитой Уфы, и пропуск, полученный через некоторое время в милиции, лежали в паспорте, как и метрики детей, и все другие документы, и все это она берегла в сумочке с большей тщательностью, чем оберегаются драгоценности; черная сумочка висела у нее на правой руке и ни разу с руки не снималась.

Женщина-офицер ей нравилась, хотя за все время они обменялись всего лишь двумя-тремя фразами, поскольку в полете знакомство не состоялось (за женщиной-офицером усиленно ухаживали армейский полковник и журналист, хотя она вела себя по отношению к ним очень сдержанно и даже холодно), а в зале для пассажиров ее что-

то взволновало, растрогало. «Офицер флота, старший лейтенант, — думала женщина-мать. — На сколько же рангов она ниже моего Тимура?» И не могла угадать, потому что принадлежала к числу тех женщин, которые равнодушны к званию, которое имеет муж сегодня и которое присваивается кем-то с постепенным повышением, словно дань их постоянным разлукам и годам, в течение которых поднимаются на ноги дети и стареют родители.

Как огорчительная неустойчивость здешней весны, на аэродром, на котором не слышно было гула моторов ни на земле, ни в воздухе, словно он притаился до более подходящего времени, внезапно налетели косматые шлейфы метели, бились жесткими снежинками об огромные стекла вокзала, утопали в лужах на асфальте.

Оставив чемоданы в помещении, старший лейтенант направилась к дежурному. Женщина с детьми, которая не хотела будить ребятишек, обрадовалась, что старший лейтенант принесет и для нее какое-то благоприятное известие.

— Простите, ваша фамилия Галаева? — спросила старший лейтенант, возвратившись от дежурного.

— Да, Галаева.

Дети, сквозь сон услышав ответ матери, вскочили и, сонно хлопая глазами, оглядывались по сторонам, разыскивая еще кого-то, кто заинтересовался бы ими, кроме этой тети в военной форме.

— Мы Галаевы, — подтвердил старший мальчонка певучим голосом. — Мы тоже... моряки.

Старший лейтенант улыбнулась и сказала, обращаясь ко всей семье Галаевых, что за ними командир базы послал «газик». В знак благодарности женщина предложила старшему лейтенанту апельсин, но та, поблагодарив, ответила, что не любит апельсинов, и в свою очередь угостила мальчишек орехами. «Как ее зовут?» — подумала Галаева, но спросить не решалась, не зная, почему именно эта женщина не представилась сама.

— Аида Павловна! — позвали старшего лейтенанта из комнаты дежурного. — Наивина! Вас просит к телефону «Якорь»!

«Ее зовут Аида Павловна».

Наивина вскоре снова возвратилась, и в ее печальных глазах можно было прочесть какую-то новую, менее

утешительную вестъ. Галаева подождала, пока Аида Павловна не скажет сама.

— «Якорь» сообщил, что его обещание остается в силе, но у них произошла небольшая задержка.

Через некоторое время Аиду Павловну в третий раз пригласил к телефону дежурный аэровокзала, потом четвертый, пятый — незнакомый Галаевой «Якорь» добросовестно сообщал о задержках, объяснять которые на флоте не принято. Галаеву охватила тревога, но она не выдавала ее ни перед Аидой Павловной, ни перед детьми. Тайком рассматривала старшего лейтенанта и убеждала себя в том, что женщины, подобные Аиде Павловне, не бывают несчастными. «У нее есть все, ни в чем не отказала ей природа... И природа, и судьба».

Форма морского офицера была очень к лицу Аиде Павловне. Строгость черного приталенного полупальто, черной, с крабом шапки, черных сапожек на высоких каблуках и черных перчаток — все это неназойливо оттеняло ее красивые каштановые волосы, зеленоватые глаза, правильность всех черт лица, которые при любом настроении не утрачивали привлекательной бледности. Ее суждения, даже резковатые, не воспринимались как резкость, отличались нежностью произношения, и в этом тоже ощущалась незаурядная воспитанность — если первопричиной этому не были нежность ее уст и родинка, расположенная в правом уголке губ. Аида Павловна не умела засиживаться (так показалось Галаевой), и ходить взад-вперед, наверное, для нее было потребностью. Ее легкая замедленная походка, наверное, обуславливалась стройностью, легкостью всего тела, к чему стремится подавляющее большинство женщин.

Солнце, в последний раз коснувшись вокзальных стекол, скрылось за горизонтом, затянутым облаками, и дежурный включил свет. Почти одновременно с этим на привокзальной площади лучи автомобильных фар разрезали сумерки.

— Это ваши, Аида Павловна, — обрадовался дежурный.

Он заторопился в свою комнату, быстро надел полубок, подхватил в одну руку ее чемодан, а в другую — громоздкий чемодан Галаевой, понес к выходу быстрее, чем женщины успели выразить ему благодарность.

Галаева одела детей, которые до сих пор были непоседливыми, а теперь присмирели, и торопливо направилась за дежурным. Аида Павловна окинула зал взглядом, каким обычно окидывают номер гостиницы, чтобы ничего не забыть, направилась последней, подумав: «У кого же мои ключи? У коменданта или у Лидии Пантелеевны?»

На дворе потемнело, все усиливался морозец. Водитель-матрос представился Аиде Павловне, пригласил на переднее сиденье. Затем он разместил багаж обеих женщин у их ног, — Галаева с детьми сидела сзади, и в сумерках она казалась еще более осунувшейся. Матрос достал из какого-то укрытия старый реглан, ватник, выдавшее виды одеяло и все это распределил между своими пассажирами, укутав каждому ноги.

— Поехали, — сказал он самому себе. И ответил, включая скорость: — Есть!.. Изведаем счастливую дорогу, проверим ее на обратной стороне этого брусочка!

— Что ж, изведаем, — веселым тоном ответила Аида Павловна.

— К вечерней поверке прибудем в Межгорье, товарищ старший лейтенант, а ключи от вашей квартиры, приказано доложить вам, у Лидии Пантелеевны.

Аида Павловна поблагодарила матроса и с наслаждением подумала, что дорога, в которой она испытала столько неудач, вскоре закончится и она наконец отдохнет от того, что терзало ей душу весь последний год, вплоть до того момента, когда желание возвратиться на межгорские причалы не стало для нее неудержимо жгучим и она не отправилась в дорогу.

Машина набирала скорость, выхватывая фарами ленту шоссе и голые березки, расположенные по обочинам. Они то приближались к самому асфальту, то отступали в темноту, сливаясь воедино с белыми полосками снежных сугробов. Встречный ветер тормозил брезент, которым был накрыт «газик», прорывался в щели, и никому ни о чем не хотелось говорить. На каком-то повороте Аида Павловна спросила матроса о причинах задержки, и он как о чем-то обычном сообщил, что пришлось возить в госпиталь саперов, которые подорвались на фашистской mine. «Все-таки дождалась своего, с времен войны лежала», — сказал он. О подробностях этого взрыва Аида Павловна не спрашивала, и матрос-

водитель ничего не говорил, хотя от его сообщения Галаевой стало жутко и с этого момента все время казалось, что «газик» тоже может взорваться на минах, которые, оказывается, лежат тут столько лет. Женщина прижимала к себе детей, и они послушно прижимались к матери.

Водитель следил за дорогой, обхватив баранку обеими руками, нажимал на акселератор, наблюдал за стрелками приборов и неотступно размышлял, что заставило старшего лейтенанта Наивину переселиться из большого города обратно в Межгорье, из города, который многим только снится. Комендант базы посылал его за Аидой Павловной и при нем высказывал полковнику Теребилову разные предположения, но ни одно из них сейчас не совпадало с ее настроением — Аида Павловна возвращалась сюда без всякого принуждения, ибо сразу же повеселела, как только машина тронулась. И теперь вот нетерпеливо всматривается в темноту, ожидая, пока появятся огни поселка.

«Ее ждут с ключами, а меня? — билась в догадках Галаева. — Она и офицер, эта Аида, и есть кому о ней заботиться, а мой... Не удосужился даже к телефону подойти, не обо мне, так хотя бы о детях спросить. Не подошел... Кому уж счастье дается, так с избытком...»

...Севастопольские бухты всколыхнулись, от Константиновского равелина и до Инкермановских створов, от створов Инкермана до Павловского мыска и Минной пристани — отовсюду, от всех стальных громад кораблей, к Графской двинулась вплавь матросская многотысячность и мускулистость загорелых тел, выныривавших между макетами и транспарантами выстроенных колонн, сверкала до ослепительности, вызывая всеобщий восторг зрителей и оцепенение многих женщин, которые еще издалека пытались узнать среди тысяч лиц единственное, его... Звездный заплыв — апофеоз Дня флота! И чем ближе подплывали колонны к Графской пристани, чем короче становилось расстояние между ними и берегом, тем все радостнее становились лица женщин. Наконец все пять колонн слились в одну, закрывшую море, и над Севастополем грянуло «ура», и черноморское солнце брызнуло фейерверком... «Я вас

знаю», — сказал он ей, показывая, как можно пройти от берега в задние ряды трибун, потому что матросы все выходили и выходили из воды десантом и скоро уже негде было ступить. «А вы не ошибаетесь, мичман?» Она почему-то не могла вспомнить, кто он такой, хотя эта неуклюжая деликатность должна была бы непременно ей запомниться. «В заводской столовой вместе обедали! Вас и зовут не по-нашему». — «Аидой!» — «Ага. А меня — Денисом. Я Денис Чотий... Узнаете?» Не узнавала, но тогда ей не хотелось услышать от него окончательного извинения, и она утвердительно кивнула... А на берег все выходили и выходили черноморцы, и стекала с них морская вода на гранитные причалы, а они в одних трусах и белых чехлах на голове заполняли берег, подставляя июльскому солнцу свои молодые загорелые тела; и те моряки — офицеры и старшины, которым выпало на этом празднике отсиживаться на трибуне в качестве зрителей, испытывали неловкость перед женщинами. Стесненные одеждой, которая называется на флоте «формой один», они малость стыдились своей наглаженной белизны. Спокойно чувствовали себя, видимо, лишь давние отставники, которых радовала форма, украшенная золотом погон, галунов и наград. А мичман Чотий, надвинув до самых бровей козырек фуражки и расслабив ворот кителя, сказал ей: «Все точки поставлены. В кафе на Приморском есть шампанское с пломбиром и крюшон. Не откажите в любезности».

Засверкали подслеповатые огоньки встречной грузовой машины. Водитель убрал ногу с акселератора, замедлил ход.

— За баллонами, — сказал он Аиде Павловне.

— За какими баллонами? — вырвалось у Галаевой, которая не столько стремилась узнать о каких-то там баллонах, сколько хотела напомнить матросу о себе и о детях. Мчится он на такой бешеной скорости, будто везет не женщин и детей, а мешки с шерстью!

— Светильные, для вас, — скупое ответил водитель, снова увеличивая скорость против ветра.

... Как и в День флота, мичман видел ее лишь в гражданской одежде и вел себя с нею от свидания к свиданию все свободнее и настойчивее. Его настойчивость сводилась к простейшему — к ускорению интимных взаимоотношений. Она никогда не разрешала ему провожать себя до самого дома, отшучивалась, когда он пытался выяснить, кто она и откуда, бесила тем, что, не зная о нем подробностей, и сама не открывалась хотя бы чуточку.

«Вам, Денис, нужно учиться, нужно получить образование», — посоветовала она, как только мичман занкннулся о женитьбе. «Не подхожу для тебя, значит?» — спросил он с иронией. И измерил ее с головы до ног и с ног до головы. А она в тот вечер была в белом платье и белых туфельках, как и в День флота, и пожалела, что оделась в наряд, с которого словно бы все брало начало и в котором должен был наступить всему конец. «Вы мне нравитесь и такой, Денис, но ведь... Вы когда-нибудь сами будете упрекать себя за леность, и вы не одобрите ни меня, ни себя, ни этот вечер». — «Московский университет тебя устраивает?» — «Вполне». — «Когда поступить?» — с досадой горячился Денис. «Конечно, перед тем, как жениться». — «И этого достаточно?» — «Для начала — да. Если бы я, Денис, не верила в вашу сдаренность, если бы я стремилась получить вас только для себя, то зачем мне нужно было ставить какие-то условия? Нет, вы способны на большее, чем только на женитьбу!» — «Я люблю тебя, Аида. — Он испугался собственного признания и перешел на шепот: — Люблю... люблю...» Это было и признание, и последняя попытка растрогать ее. Она ответила холодным поцелуем. «Берите отпуск и садитесь за учебу». — «Почему?» — портил он настроение и себе, и ей. «Почему? Я вам сказала! Для превосходства, для превосходства надо мною!» И он пообещал, что будет поступать так, как заблагорассудится ей... Учиться мичману никто не воспрещал, и он поехал в Москву. Вступительные экзамены сдавал со льготами, вне конкурса, и сдал, уверенный в том, что следующий, «нельготный», но договоренный экзамен — женитьбы — он непременно одолеет. «Держись, Аида, готовься к свадьбе, везу сватов!» — похвалялся он в победном письме-послании и этим рассмешил ее.

Сгустился туман, асфальтовое шоссе покрыла коварная гололедица. Матрос заметно убавил скорость, вел машину более осмотрительно. По обочинам шоссе постепенно, будто из земных недр, вырастали склоны гор, на которых росли сосны и ели, заслоняя дорогу, которая теперь все время терялась за множеством поворотов. Судя по тому, что ветер изменил направление — дул не спереди, а сбоку, стал влажным с солоноватым привкусом, — чувствовалась близость морского побережья, его извечный непокой.

— К вечерней поверке не успеем, товарищ старший лейтенант, — вздохнул водитель и включил щетки на ветровом стекле, чтобы лучше видеть.

— Не беда, — успокоила Аида Павловна. — Тише едешь...

— Дальше будешь от того места, куда едешь? — хмыкнул матрос.

— Лодка Можарова на базе? — спросила Аида Павловна.

— Неделя, как пришли с морей. Товарищ адмирал был с ними.

— Контр-адмирал Выдыш?

— Так точно.

Отгороженное справа цепочкой белых каменных столбиков, которые ограждают водителей от обрыва, шоссе вырвалось за узкую полосу вдоль каменных выступов и пошло серпантинном. Из тумана виднелись какие-то глыбы, будто чудовища буреломов, которые должны были вот-вот обрушиться на машину, что и без того как-то странно двигалась вперед по этой опасной дороге. Матрос еле удерживал «газик» на асфальте: дорога была очень скользкой, зазевавшись, легко было свалиться в обрыв, где клубились туманы и где на дне вечного холода и мрака ржавеют скелеты многих машин.

Резкий поворот вправо — и горы остались позади, снова ровная дорога со стайками берез по обочинам.

Глухой вздох вырвался из груди Галаевой, и Аида Павловна услышала, как завозились ее изнеможенные мальчишки и она молча укутала их, пересадила ближе к себе, подальше от щелей в брезенте, обняла. «Счаст-

ливая мать, голубящая детей», — вспомнилось Аиде из полузабытой песни. И эта полузабытая песня снова напомнила ей о том, что волновало ее больше всего.

...Она встретила его на перроне Севастопольского вокзала в офицерской форме, приехав туда прямо со службы. Переодеться не успела, успела лишь до прихода поезда купить две пышные розы — красную и белую. Мичман увидел ее неожиданно среди штабных офицеров, которые встречали польскую военную делегацию. И сначала глазам своим не поверил — стоял в позе неуклюжего мужичка, с фибровым чемоданом, который словно прикипел к его руке. Она извинилась перед инженер-капитан-лейтенантом Наивиным, не дослушав его рассказа о недавнем визите в Сплит, подошла к Денису. Он покраснел до корней волос. «Здравствуй! Я очень рада за тебя, ты умница! — И чмокнула в щеку. — Все твои указания честно выполнила. Одно только не выполнила — не встречала сватов. Потому что их не было». Денис Чотий хлопал глазами и молчал, все больше утрачивая уверенность в себе. Она подала ему розы, и он не знал, брать их или не брать. Капитан-лейтенант Наивин напомнил Аиде Павловне о том, что они договорились о совместном визите к начштаба флота. Он ушел, а мичман, козырнув, сказал, не узнавая собственного голоса: «Вы извините меня, товарищ старший лейтенант, я по незнанию... ошибся». — «Денис, оставь... Какое это имеет значение?» — «Извините». Он схватил свой чемодан, который на минуту поставил было на асфальт, и не оглядываясь быстрыми шагами направился к троллейбусной остановке...

— Последние мили! — обрадованно воскликнул матрос-водитель, и после этих слов его солнечный Севастополь для Аиды отошел в потемки прошлого.

— Как долго еще?

— Десять минут без капепе. Приготовьте документы.

В свете фар промелькнуло еще несколько стаяк берез, и вот дорогу преградил полосатый шлагбаум. Матрос затормозил до скрежета, остановился перед приземистым часовым в валенках, кожане и черной флотской ушанке. На ремне через плечо у часового поблескивал

вороненый автомат. Подошел офицер-дежурный по КПП, посветил карманным фонариком внутри машины.

— Добрый вечер, — приветливо сказал он. — Капитан Чибис. Прошу.

— Старший лейтенант Наивина, пожалуйста. — И подала офицерское удостоверение вместе с приказом.

— А там что за орлы? — улыбнулся капитан, освещая заднее сиденье машины.

Дети щурились, но не прятались за мать, которая торопливо-встревоженно доставала из сумочки всю документацию.

— Семейство капитана второго ранга Галаева, — подсказал матрос-водитель. — Старпома с атомного четыреста сорок два.

— Можарова? .. — удивилась Анда Павловна и осеклась на слове, еще не зная, радоваться этому запоздалому открытию или нет. «И старпом уже у них сменился, и, наверное, многие другие... И все уезжают отсюда, а я возвращаюсь сюда. Зачем?»

«Газик» на какую-то минуту заглох, и впервые за много дней она услышала морской шум, натруженные вздохи прибоя, шорох прибрежной гальки — все то, что ранит и вылечивает от этих ран чуткое к морю и его стихии человеческое существо.

Медленно поднимался полосатым журавлем железный шлагбаум — пропускал их, чтобы нескоро выпустить обратно.

...Смахнула с челки наледь, осмотрела комнату, сразу же стало легче на душе: здесь царил уют, было тепло, весело струился мягкий свет из-под голубого абажура. Как вчера, и позавчера, и неделю назад, — будто ее квартира не стояла пустой целых полгода, будто она никуда не уезжала, не прощалась с этим уголком на третьем этаже, где радость-боль, счастье-горе, смех-слезы в объятьях, в единении. Все сверкало чистотой, недавно отремонтированное от пола до потолка. И мебель новая, не из выбракованной. Шторы на окнах, узорчатые, радуют глаз хорошим вкусом. Две картины в рамах — копии Серова и Верещагина. И эстамп «Идиллия» — лебедь чистит перья лебедушке.

Лидия Пантелеевна быстро закрыла дверь от холода, высвободилась от платка и ощупала все батареи.

— Горяче, — констатировала она и успокоилась. Разделась первая, будто не Аиде, а ей самой надлежало здесь отдыхать с дороги и постоянно жить.

— Боже, как бы этот мир померк для меня без вас, Лидия Пантелеевна!

— Не выдумывай, — добродушно отмахнулась Лидия Пантелеевна, потому что и в самом деле не видела в этом никаких своих заслуг.

— А кто же это? — Аида Павловна обвела вокруг рукой. — Вы... Знаю, что вы.

— Женский совет, Аидушка. Все сообща, в четырнадцать рук. И Тенти Чингизовна, и комендантша, и Тербилова, все... Картины выписали со склада, инвентарные. А этот эстамп — подарок Аратской.

— Как она там?

— По-прежнему фаворитствует. Немецкие кремы, французские духи. Читает Сименона и майора Пронина.

— А Тенти Чингизовна?

— Посещает курсы кройки и шитья. От нечего делать... Обучает Зумрад музыке, ходит на все политзанятия и политинформации. Тоскует по Арнольду Петровичу.

— Ему заменили старпома?

— И замполит новый, капитан третьего ранга. Болюбаш... Не знала?

— Нет, не приходилось встречаться.

— ...Начальник КЭЧа пытался было посягнуть на твою квартиру, выписал ордер Болюбашу. Я помешала при помощи женсовета. Ждала тебя. И не ошиблась. Подожди-ка, завтра прибежит сюда весь гарнизон, когда услышит, что ты не отреклась.

— Пускай бы поселялся. Замполит с детьми?

— Ну да, теперь с этим не торопятся. А мы с Богданом Николаевичем наказаны неизвестно за что. Хотя бы один вырос... Плох он стал, мой адмирал?

— Я не сказала бы, — покривила душой Аида Павловна.

— Плох, Аидушка, очень плох...

— Солона морская вода...

— Солона...

«О женщины, чье сердце ощущает все так остро! Какой же старательный ваш совет!.. Самый старательный и самый последовательный из всех, которые до сих

пор были известны!» А она ведь, женщина-офицер, от-
ссилась к женскому совету с безосновательным преду-
беждением, поглядывала на него чуточку свысока, как
на лишний придаток к флотским институтам. И это
тепло и уют, созданные женщинами базы для нее, на-
талкивали на размышления, на мысль о том, что не
следует уединяться, пренебрегать женским обществом,
которое в силу обстоятельств вынуждено удовлетво-
ряться домашним хозяйством и клубными кружками,
мириться с повседневной однообразностью и тайком за-
видовать ей, Аиде, во всем, что недоступно для них и
столь привычно для нее. Но разве есть что-нибудь не-
вероятное в делах мужских? Невероятное, непостижимое
для женщины?.. Женщина способна привыкнуть к лю-
бому мужскому делу, если в этом есть потребность, —
если нужно, женщина может перенести любые трудно-
сти, участвовать в самых ожесточенных боях с врагом.

Лидия Пантелеевна ушла около часа ночи, Аида
долго еще не могла уснуть: сказывались усталость, и
переживания, и воспоминания. Этажом выше проснул-
ся ребенок, заплакал. Кто там, над ней? Чье дитя и чей
пол? Служащий «на обратной стороне этого брусочка»
в качестве потолка? У кого глаза не смыкаются от уста-
лости? Кому не уснуть, пока не затихнет детский плач?..
Пускай бы уж плакало тут, этажом ниже!.. И счастье
на счастье не похоже, и плач на плач не походит тоже.

А все-таки она дома, у себя на флоте! Свет маяка,
белокрылость чайки, белопенность волны, шорох при-
брежной гальки и этот услышанный вдруг натруженный
вздых прибора — без всего этого она не могла, как не
могут без весны распускаться почки на деревьях и воз-
вращаться из теплых стран птицы, как не может плодо-
носить земля без дождей, а паруса — двигать лодки без
свежих дуновений ветра.

БЛАГОДАТЬ

Вода. Солнце. И чайки над водой. И самолет в под-
небесье, и солнечные лучи на волнах, и вдоволь озона,
без нормы, без угрызения совести, что ты израсходуешь
чей-то паек. И люминатор моей каюты всегда открыт, на
его стекле мерцание волн, в каюту доносятся запахи

морского апреля горечью водорослей, струится легким потоком теплынь и вносит одновременно совокупность забытых звуков, — всплеск весла, скрип уключин, плеск волн, мегафонную гортанность голосов с буксира, голос чайки, скрежет якорной цепи.

За иллюминатором неподалеку дефилировал шестивесельный ял, — видимо, молодые матросы плавбазы учились ходить на шлюпке, старшина-рулевой звонким голосом командовал: «Та-а-а-бань!.. Р-р-раз!.. Р-раз!.. Р-ра-аз!.. Весла на воду!.. Дружно... Эх!» Я прислушивался к командам старшины и сам был не прочь сесть за весло и размять мышцы, натереть пятаки мозолей на обеих ладонях. Однако мне нужно было готовить доклад для теоретической конференции флотилии.

«... **Метод убеждения, предусмотрительность, забота о матросе, внимание к его личности, умение понять запросы и настроения** вовсе не исключают, а предполагают требовательность. Принципиальность политработника должна проявляться не столько в словесных заверениях, сколько в точности, строгости оценок, требований, качественного выполнения приказов и команд матросом... В идеале следует добиваться, чтобы политкома любили матросы, но достигается это не либерализмом, всепрощением, заигрыванием, а сочетанием требований с осознанием матросами флотского правопорядка, пониманием необходимости боевой готовности, сочетанием чуткости, отеческой заботы с непримиримостью к разгильдяйству; нет и не может быть золотой серединки между требовательностью и заботой, как нельзя в политработе быть «полутребовательным» и «полувнимательным» — половинчатость во всем вредна. Оберегать матросское достоинство — оберегать и свое, ибо офицерская честь обуславливается честью матросов».

Озон. Вода. Солнце... Благодать!..

Каюта старпома Галаева рядом с моею, за перегородкой, тоже слева по борту, как и все каюты и кубрики первого экипажа; справа по борту — наш второй экипаж. Укомплектован полностью, ждет командира. Напротив меня поселен замполит-два Ягудин. Кавторанг гстовится в море, поэтому насаждает на меня с бесконечными «что» и «как», заполняет тетрадь за тетрадью всякой всячиной, предусмотрительно готовит вопросники-трафареты для предстоящих информаций, которые

после возвращения сразу же вручит инспекторату. «Система отчетности давно определилась, Юрий Васильевич», — утверждает Ягудин, и ему не возразишь. «А творческий подход? А опыт?» — «Творческий подход доступен в присутствии старших, Юрий Васильевич. Вы ходили с контр-адмиралом, накопили с ним бесценный опыт, обобщите его, а мы воспользуемся». Уши у кавторанга будто приспособлены для того, чтобы прислушиваться, глаза — выпрашивать, а правая рука — записывать, — он никогда не расстаётся с карандашом. Я спросил Ягудина, почему у него на лице желтоватая болезненность, не следует ли обратиться к врачам или усилить питание, и он, чуточку оторопев, после паузы сначала что-то записал себе в блокнот, а уж потом сослался на наследственную бледность, не подвластную никаким климатическим и физиологическим изменениям. «Оставим, Юрий Васильевич, мою особу, лучше скажите, как товарищ адмирал отнесся к вашему намерению устроить диспут с офицерами о психологии атомных ходов?» — «Положительно». Правая рука кавторанга пишет, левая, обращенная ко мне локтем, прикрывает тетрадь-блокнот и таким образом его поддерживает, чтобы не ползал по столу. «Со слов кап. 3 рнг...» — и далее для постороннего глаза неразборчивая скоропись. «А что вы думаете, Юрий Васильевич, относительно...» — «Прошу прощения, мы с вами соседи, и у нас еще будет много времени все выяснить!.. Прошу вас дать мне возможность закончить этот доклад!» — «Конечно, конечно».

... Старпом Галаев застал меня над формулированием основных черт офицера, которые определяют его личность как организующее начало флота. На первом месте я ставлю гражданскую и профессиональную преданность, морскую образованность, которая цементируется на опыте, на знаниях, а вдобавок ко всему этому предельную собранность, внутреннюю потребность самодисциплины во всех ее проявлениях, умение держать слово чести; и доброжелательность ко всем подчиненным, без симпатий и антипатий, военно-педагогическая культура, предусматривающая не только тактичность, чуткость, чистосердечность, но и творческий подход, способность к психоанализу; и моральная мерка — прежде всего к самому себе, а потом уже ко всем осталь-

ным. Революция в военном деле прошла не только через ходовые мосты атомных ракетносцев и стыки межконтинентальных ракет, а через сердца, умы и биографии людей, моих современников. Я побаивался, чтобы эти определения не воспринимались слишком поучающе, и искал таких формулировок, слов, которые соединяли бы меня с аудиторией, умеющей самостоятельно мыслить и теоретизировать.

— Юрий Васильевич, прости! Такая благодать — озон, вода, солнце, небесная голубизна — и сидеть в каюте, будто под домашним арестом!

Энергичная подвижность, веселость в щелках глаз. Пилотка в руке, и длинные, удивительно жесткие, смолисто-черные волосы, отброшенные назад, рассыпаются надвое пробором. Во всем облике Галаева есть что-то решительное, отчаянное, «хулиганистое». Не ждал от него такой благосклонности и чуточку растерялся.

— Доклад! Об офицерстве как образце...

Галаев заглянул в мой конспект, перелистал несколько страниц, словно между прочим спросил:

— Капитана первого ранга Волошко знаешь?

— Кто такой?

— Из ваших, академиков.

— А-а... учились вместе, дружили... Остался в Москве Игорь Яковлевич. А что?

— Поговаривают, будто к нам пришлют вместо Богдана Николаевича.

Я промолчал.

— Есть разговор к тебе. Тет-а-тет, конфиденциально.

— В моей каюте удобнее всего, Тимур Исмаилович.

— Сейчас Ягудин придет и помешает.

— Готовится к морским походам, отказывать в советах не принято.

— Коллекционер советов.

— Как ваша семья? Жена, дети? Устроены уже?

— Полковник Теребилов, командир базы, позаботился. Двадцать восемь квадратных метров полезной площади, просторная кухня, газ, вода холодная и вода горячая, совмещенный санузел.

— Жена довольна?

— Кто? Хамида? Молчит.

— А сам, Тимур Исмаилович, как?

— Не жалуюсь. Квартира квартирой, но самое главное, чтобы жена приносила радость. Моя Хамида — мечта джигита. Тебе, комиссар, тоже нужна жена.

— Всем нам нужны жены.

— А почему же не женишься, прости?

— Хочу влюбиться, — отделался я шуткой.

— В подводном плавании встречаются касатки, а все женщины — на поверхности, ближе к берегу, к гнездам. Там и следует искать. Пошли на пирс, «проинспектируемся».

Я отложил свои бумаги, переоделся, слушая размышления старпома о мужской уступчивости женщинам на «этапе контркурсового сближения», когда мы, мужчины, способны ранить их чуткость, оттолкнуть от себя. Галаев ссылался на выходки Хамиды, которая сначала любила делать себе каждодневные подарки, обедать только в ресторанах, путешествовать и снимать номера в лучших гостиницах, а он, Галаев, терпел все это ради будущей любви. И в Межгорье не хотела ехать, все тянула волюнку от отпуска до отпуска, однако все это не расстроило их взаимоотношений, не помешало в их жизни.

— Женщины сильнее нас, мужчин, в повседневной жизни и более практичны. И более справедливы.

Я не возражал, хотя не во всем был согласен с Галаевым. Каковы они, женщины, кто их знает... Мне встречались разные, но убеждать себя и кого-то, что я познал природу женщины, никогда не решусь. Галаев к собственным наблюдениям присоединял аргументы научных светил, рассказывал чьи-то биографии, тревожил тени Бальзака и графини Ганской, а мне вспомнилось давнишнее знакомство в Москве, которое больно ранило сердце и заронило холодноватую осмотрительность.

...Мы приехали с капитан-лейтенантом Волошко поступать в Военно-политическую академию. Без протекций, с обстоятельными характеристиками. Капитан-лейтенант и старший лейтенант. Объездили и обошли все армейские гостиницы — ни одного свободного места. Волошко поклялся устроиться в «России», еще не знакомом нам украшении Москвы. Как ему удалось достать два номера сразу — совершеннейшая загадка. Волошко

просил меня не затрагивать тайнств гостиничного устройства. Разве не достаточно того, что меня поселили на одиннадцатом этаже, а его всего-навсего на третьем? Нам отвели не просто комнаты для ночлега, а, наверное, лучшие номера, с прихожими, с видом на Кремль и Замоскворечье, где себя ощущаешь чересчур важной персоной, хотя вечно находишься под угрозой выселения.

Для меня первая ночь в гостинице прошла мгновенно, потому что перезвон курантов на Спасской башне воспринимался во сне чем-то мифическим, связанным с моим присутствием на празднике у Аполлона, который в окружении многочисленных муз играл на кифаре и заставлял гостей петь свои гимны. Сколько раз заставлял, столько я тяжело стонал, до тех пор, пока не проснулся, измученный. На скорую руку размялся гимнастикой, принял душ. Открыл балкон настежь, вышел подышать утренней свежестью, все еще находясь под впечатлением химерных видений. Ночью над Москвой прошли тылы циклона, стряхнули остатки дождя, и теперь за последними синими клочьями туч занимался солнечный день. С моего балкона была хорошо видна не только Кремлевская стена почти со всеми ее башнями и храм Василия Блаженного, но и заботливо ухоженный садик, чистые аллеи, Царь-колокол возле колокольни Ивана Великого, Успенский собор и теремная церковь, частично Большой дворец. Солнечный луч коснулся рубина Спасской звезды, и свет от нее разошелся волнами по зубцам теремной стены, бойницам, окнам и куполам соборов. Блестела еще не просохшая мостовая, сплетением олимпийских колец покачивались солнечные зайчики на волнах Москвы-реки, трепетали тени мостов и прибрежных строений.

Сверху мне на руку упала последняя маленькая капелька. Разглядывая ее прозрачность, старался сравнить с чем-то эту чистоту, закономерность падения. Телефонным звонком Волошко напомнил о себе, велел спуститься, — он всегда отличался завидной пунктуальностью, все расписывал для себя по часам и минутам...

— Юрий Васильевич, — засмеялся Галаев, — пропорция пропорционально зависит от усталости. О чем ты сейчас думал?

— Так... вспомнилось.

Мы шли по узкому коридору плавбазы, и нам кто-то каждый раз уступал дорогу. Гулко стучали каблуки матросских ботинок по трапам: по трапам не ходят, по ним бегают.

...Волошко всегда отличался завидной пунктуальностью. Сохранял тетради курсантских лет, из которых до мельчайших подробностей возникала его юность. Они накапливались годами, как накапливался и житейский опыт, и жена Волошко считала, что это заготовки к будущему роману. Волошко посмеивался над этими предположениями, но тетради не уничтожал. Кто его знает, может, женщины и в самом деле предусмотрительны... Он рано обзавелся семьей, на предпоследнем курсе в училище женился, чтобы иметь какую-то родню, избавиться от горького сознания одиночества, погубленной родословной. Его отец, Волошко-старший, как и мать, прибились новобрачными к Черному морю из-под Иркутска, прихватив один-единственный сундучок, обклеенный изнутри старинными этикетками и марками. Оба нанялись на старый буксир «Тендра», отец — палубным матросом, мать — кухаркой, коком в юбке. Там, на буксире, и родился Волошко-сын, впервые выкупанный в соленой морской воде. Морячка-мать отдала своего ребенка на попечение одинокой женщине, которая с радостью взялась его растить. До этого море отобрало у нее двух сыновей-смельчаков, и ей казалось, что, смилостивившись, оно вознаградило взамен маленьким послушным существом. Попробуй тогда отец отобрать у нее — ни за что не отдала бы, на суде не рассудилась бы... Рассудила война: буксир «Тендра» затонул под бомбами на переходе к Севастополю. Сын достался одинокой женщине. Она все сделала, чтобы вывести его в люди, и умерла, вымаливая у святого Николая-чудотворца счастливую, не сиротскую судьбу для сына. Волошко не слишком увлекался морем, хотя избрал себе флотскую службу. Он не выносил морского покоя, лучистой глади, нагонявшей скуку, и любил непогоду, угадывая среди холмистых волн братскую могилу буксира «Тендра», которая отмечена крестиком на всех наших

морских лодках. Море уважает пунктуальность, и Волошко, сколько я знал его, достоин быть именно морским офицером...

С плавбазы Галаева вызвали к телефону, он извинился, просил подождать его на пирсе. Я стал в стороне от трапа, чтобы не мешать беготне матросов вниз — вверх, загляделся на рейд — сторожевик, минуя боновые ограждения, выходил в море. Я стоял спиной к солнцу и чувствовал, как постепенно всего меня согревала его весенняя приятная тяжесть, лежащая на плечи... На плавбазе скрипела лебедка, швартовался ял. От зеленоватой поверхности моря веяло мазутными испарениями и гнилью водорослей, которые часто и в большом количестве выносятся морем на побережье, и они колышутся там до тех пор, пока штормовой ветер снова не отгонит их подальше от берега.

... Просторное кафе кишмя кишело командировочными, и не предвиделось никакого удовольствия от завтрака в этой тесноте, хотя ноздри уже щекотал запах тушеной капусты и сосисок. Обойдя все столики, мы хотели было уйти, когда нас позвал здоровяк, с удовольствием уплетавший третью или четвертую порцию сосисок, запивал их шампанским и, судя по всему, никуда не торопился... «С Балтики?» — спросил он. Волошко промолчал, я ответил, что нет. «С Совгавани?» — «С флота, товарищ», — сказал я. «А мы сахалинцы», — сказал он о себе и неизвестно еще о ком. Тяжело встал, пошел к буфету и вскоре вернулся с двумя бутылками шампанского. Мы с Волошко только переглянулись. «Обозреваю Москву. Двадцать лет не бывал. Много перемен в столице, ничего не скажешь... жи-и-з-нь! Вчера нанял такси — вези, показывай, хвались... Шляпа, а не столичный таксист! Таганка, Полянка, Садовое кольцо, Черемушки, Измайлово — и больше ничего не знает, ничего! Да мы на Курилах меньше бывали, а все о них знаем. А если ничего не знаешь о своем городе, так какое право имеешь тут жить?» Шампанское выстрелило в его руках пробкой в потолок, запенилось в трех больших бокалах. Волошко с аппетитом уминал со-

сиски, делая вид, что не замечает подставленного сахалинцем бокала. Тот попытался уговорить, но Волошко отказался пить наотрез: служба, мол, и всякие просьбы излишни. «А разве я похож на гуляку? — оскорбился сахалинец. — Капитан третьего ранга в запасе, к вашим услугам, команду рыболовным сейнером. Совещание у нас, всесоюзный форум... Приехал заранее, потому что когда еще выпадет такой случай! Не верите? Вот мое удостоверение», — и положил его перед Волошко. Торопливо уничтожив порцию сосисок, Волошко обжигался крепким чаем. «Выходит, я согрешил каплей, а? — сердито поглядел сахалинец на свои бокалы. — Знакомых нет, флот в моем сердце, а в жилах пульсирует морская кровь... Так что, уйдете? Обидите?» И ему самому стало неприятно за чистосердечие. «Юрий Васильевич, посиди с товарищем, а я подскочу, зарегистрирую за двоих наш приезд. Расписание возьму. Если будет необходимость в твоём присутствии, позвоню в номер». Волошко уехал, я остался с сахалинцем.

Кафе закрывалось на перерыв, и сахалинец пригласил меня перебраться к нему в номер. Я попытался заикнуться о какой-то моральной ответственности, об умении сочетать приятное с полезным, но он оказался настойчивым человеком и силком затащил к себе. «Мир прекрасен! — провозгласил сахалинец, пораскрывав все, что открывалось в номере. — Подышим полной грудью!» И сразу же позвонил в ресторан, заказал еще холодного шампанского и шоколаду для уборщицы, которую любезно выпроводил из номера, всячески доказывая, что здесь все чисто, что ему жаль ее рук и что рокот пылесоса вредит его нервной системе. «Мир прекрасен, люди прекрасны! Верно, старлей?» — «Вообще да». — «Вообще?.. Э-э, то-то и оно! Все нужно рассматривать конкретно и вблизи. Все «за» и «против» каждого... Это о мертвецах можно говорить или только хорошее, или ничего». — «А почему? Не задумывались?» — «Отчего же, понятно, старлей! Потусторонний мир, вечный мрак. Для верующих рай или ад, для нас, атеистов, — ничего, пустота... А здесь все на виду, все видят, что у тебя за жизнь — персональный рай или пекло... Мертвые не мстительны, мстительны живые, и не мертвыми, а жи-

выми выдуманы мстители из праха... Этот вывод привел меня к катастрофе, а затем к военному трибуналу. В конце концов познакомил с Сахалином... Сейчас я первая категория в запасе, готов выполнить почетный гражданский долг!» Шампанское располагало его к откровенности, к поспешному сближению, которое возникает благодаря обоюдной симпатии, найденным точкам соприкосновения и, наконец, приторможенной вином осторожности. Сахалинец нуждался в исповеди передо мною, как и перед любым другим, к кому устремилось бы в данных обстоятельствах его простое сердце. Наводящими репликами я поощрял капитана-сахалинца к этой исповеди, и не для того, чтобы выведать от него какие-то тайны, — я был далек от подобных намерений, — а чтобы отплатить за товарищество, за хорошее настроение от этого неожиданного знакомства.

«Вас когда-нибудь преследовала мнительность? — спрашивал он меня. — Преследующая неотвязная мысль? Какое-то наваждение?» — «Что-то не припоминаю, — говорю ему. — Не было». — «Молодой, не задерганный, нервы крепкие, — определил он. — А со мной случилось, когда командовал эсминцем на Черном море. Вот оно все и стряслось с немстительными мертвыми... и погубило меня как командира, как морского офицера. Надоевшая, неотвязная мысль точила мой мозг, когда корабль возвращался из похода и выходил на траверз Форосского маяка. Сначала я не придавал этому значения, готов был присягнуть, что это не мной придумано, что это чье-то философское определение. Но с тех пор, как мой эсминец стал флагманским, я забеспокоился: почему это отравляет меня именно недалеко от Фороса, именно на подходе? Вы знаете, как кораблю-флагману приходится все время маневрировать и командир должен быть свободным от посторонних мыслей, сосредоточиваться на том, к чему призван. Вести кильватерный строй бригады, не сбиться даже на полрумба, не отклониться от курса ни на полкабельтова, безукоризненно выйти на указанный фарватер — все это требует точного расчета плюс мастерство и минус головотяпство. Командую, бывало: «Малый ход!» — а в мыслях проклятое: «Мстительны не мертвые...», даю команду: «Лево на борт!» — а в мыслях: «Мстительны живые». Эх, Черное море, зеленая его волна!.. Иду Охотским или Япон-

ским морем, а чудится мыс Фиолент в синей дымке, его каменные выступы, отбрасывающие сумрачные тени, и все побережье, насупленное, взъерошенное... Может, оно и другое, но мне казалось таким от наваждения, от конфликта между живыми и мертвыми, что укоренился в моем мозгу. «На фалах, поднять сигнал «Дистанция семь кабельтовых!» Люблю на мачтах полосатый спектр сигнальных флажков во всей их яркости и пестроте — аз, буки, веди, глагол, добро, како, люди, мыслете, живёте!.. И каждый раз в другой последовательности, в другом сочетании, согласно мудрому морскому правописанию... А тут «мстительны не мертвые»... Хочу забыть, и не забывается... Почему я должен мстить, кому, кем возложено на меня это тяжкое испытание?.. Матерью? Нет. Отцом? Братьями? Сестрами? Неужели самими мертвецами? Но ведь минуло четверть века после окончания войны, и сразу не припомнишь, кто, умирая, переложил на меня свою месть. А может, я сам когда-то поклялся, что пока мы живы и пока наша плоть не стала безмолвным прахом, мы обязаны отплатить всем, кто пролил нашу кровь? Потому что злодеяния фашизма никогда не забудутся... А у меня на фок-мачте брейдвымпел комбрига! Время ложиться на новый курс, а мой штурман приник к пеленгатору и словно воды в рот набрал... «Перископ слева, курсовой сорок, дистанция два кабельтова!» Я знал, что штаб флота запланировал нам сюрпризы, появления лодки ждали все. Мой эсминец уклонился от атаки разными маневрами, лодка убирает перископ, идет на глубину. Ложимся на предыдущий курс — двести шестьдесят пять. О, этот курс... Ничто не забыто, никто не забыт... Как и те, кто не похоронен и кто еще и теперь напоминают о себе из песен и до сих пор падают на экранах кинохроники и еще долго будут падать на глазах у детей и внуков... Вахта докладывает семафор с эсминца, который идет за нами, а у меня стучит в висках: «Не забудь, не забудь, не забудь». Сигнальщик отщелкал прожектором мой ответ, и в это время на мостик поднялся адмирал. Открыто недовольный, спрашивает, что тут у нас. Говорю: «Эсминец «Смелый» жалуется, что закапризничала турбина». — «И что?» — «Хочет выйти из походного ордера...» А наш адмирал не признавал непредвиденных осложнений, полагал, что на флоте осложнения

предусматриваются либо флагманом, либо им, как учебные. Иных осложнений не бывает и быть не может! Он молча взял бинокль у вахтенного офицера и посмотрел в сторону кормы, на «Смелого». А тот все выпускает и выпускает в небо черный дым, словно ставит дымовую завесу всей бригаде! «Позор!» — бросил комбриг, будто не командир «Смелого», а я прошу разрешение нарушить строй. «Смелый» вышел из походного ордера и бросил якорь. От него мы в нескольких кабельтовых, и нам с мостка хорошо видно, как эсминец еще движется по инерции, но дым уже не пышет, а струится сероватым столбом горячего воздуха. Адмирал приказывает: «Командир, поднимите сигнал, что флагман переходит на «Смелый»...» Четко, без заминки, выполнялись все мои команды: «Стоп машины! Баркас на воду! Подать трап!» Лежим в дрейфе, ждем, когда адмирал отпустит наш баркас. Наконец тот возвращается, и от комбрига семафор, чтобы отошли быстрее, прикрыли «Смелый» от атаки торпедоносцев, которая ожидалась. И приказано галсовать от него на расстоянии двадцати кабельтовых... Старпом, чтобы не расслышала вахта, говорит мне: «Двадцать кабельтовых многовато, это как раз над братскими могилами, там в сорок четвертом три наших эсминца потоплены, типа «Буки»... Нехорошо как-то». Зачем он мне тогда сказал?! Флот не предусматривает пренебрежения его железной дисциплиной, всюду должен быть порядок. И до сих пор не пойму: почему я тогда скомандовал сменить курс, почему не выполнил приказ адмирала? Зачем подошел к Форосу? Я хорошо знал лоцию Черного моря, все знал!»

«Вы потерпели аварию?» — «Считайте, что так. Я отступил от приказа флагмана, не выполнил его. Врачи вынесли медицинское заключение, что от переутомления возникло психическое расстройство. Наверное, они были правы... Я просил трибунал сурово покарать меня». — «Вы просили себе тяжелого наказания?» — «Справедливого решения. Я — офицер флота!.. Теперь я не ношу, как вы, офицерских погон, но перед собой остался честным... Когда-нибудь, старлей, вам изменяли женщины?» Я пожал плечами. «Это лучше. У меня была жена, я любил ее, как никто больше не полюбит... На свете не бывает, чтобы женщины бежали от любви, гласит истина. А моя оказалась за этой истиной. Я нашел ее на

скраине Уфы, где гостил у друга-фронтовика, нашел почти взрослой девушкой, привез в Севастополь. По сути, растил и воспитывал себе друга. Все, что приобрел; все, что сохранил святое с войны, — все было для нее. А споткнулся — и она вмиг перечеркнула это. После заседания трибунала добилась развода и не принесла даже скупой передачи. Я никогда не подозревал, что в этом милом создании кроется столько холодного безразличия, неблагоприятной жестокости...»

Сахалинец отнял у меня весь день и вечер. «Разойдемся и не встретимся, — говорил он. — Хотя гора с горой не сходится...» Ужинать меня заставил вместе с ним в ресторане. За нашим столом сидели две незнакомые женщины. Они угощались, как добрые знакомые, похваливали щедрость сахалинца, ходили танцевать только с его позволения. Я тоже вальсировал с одной. У нее была очаровательная прическа, и благоухала она смесью духов, от которых закружилась голова. Сахалинец заказал оркестру туш и провозгласил за женщин тост, сводившийся к одному: нечего им прожигать жизнь в столичных ресторанах, а лучше поехать с ним на Сахалин и Курилы, где можно найти себе мужа, работу, счастье. Женщины встретили тост аплодисментами, посмеялись и... убежали со случайными кавалерами. На следующий день с тяжелой головой я поехал в Академию. Капитан-лейтенант Волошко сказал, чтобы я зашел в отдел кадров для предварительного разговора. Меня принял какой-то подполковник. «Это вы?» — спросил он и показал фотографию, на которой я демонстрировал свои танцевальные способности. «Да, я, товарищ подполковник». — «Очень приятно. Забирайте свои документы и езжайте назад. К вступительным экзаменам вы не допускаетесь. Об этом мы известим ваше командование». Два года я обходил женщин, пил компоты и хлебный квас. В Академию поступил уже тогда, когда Волошко учился на третьем курсе. Мы никогда не вспоминали о нашей первой совместной поездке в столицу и моем знакомстве с капитаном-сахалинцем. И гора с горой не сходится, и человек с человеком не всегда встречается... И до сих пор вспоминается его: «Мир прекрасен, люди чудесны!»

Время от времени на плавбазе через динамики проносились команды. Галаев уже стоял рядом и тоже смотрел на поверхность воды, где колыхались солнечные зайчики, то там, то здесь вспыхивали коротким замыканием, дымилась, угасали и снова отсвечивали до слез в глазах. Мы пошли вдоль пирса, старательно обходя палы, к которым крепились швартовы плавбазы и рейдовых катеров.

— Юрий Васильевич, меня вызвал вице-адмирал Русиянов, — сдержанно сказал Галаев. — Предложено принять командование экипажем-два.

— Поздравляю! — искренне обрадовался я.

— Русиянов позволил взять с собой любого из первого экипажа. Атомоход через неделю-две выйдет в море. Я просил бы тебя замполитом.

— А как Арнольд Петрович?

— Он не будет возражать. А впрочем, мужик он крутой, может из принципа и не согласиться. Ну как, Юрий Васильевич?

— У тебя уже есть Ягудин.

— Не по душе он мне, Ягудин.

— Я тоже, Тимур Исмаилович, не пирог с палтусом.

— Овощ овощу рознь. С тобой, честно говоря, я буду чувствовать себя увереннее. Послужим отчизне, Юрий Васильевич?

— Я служу ей пятнадцать лет и еще собираюсь служить не меньше... Извини, но я уже как-то привык к Арнольду Петровичу.

Мы повернули назад. Галаев изменился, нахмурился, веселого оживления, с каким он зашел ко мне, словно и не бывало. Около старого баркаса, ржавевшего невдалеке, он остановился, обошел останки, будто это было не чье-то, а его прошлое, потрогал киль, снял с него несколько ракушек, приросших давно, постоял в задумчивости. И я почувствовал, как и мне передалась от него, постепенно закралась в сердце какая-то непостижимая тоска.

«Достойная. Цельная. Путёвая. И приветливая». Арнольд Петрович еще умолчал о ее красоте. Наш визит вежливости и взволновал Аиду Павловну, и смутил, — хотя ее муж и строил наш атомоход, и служил на нем, и

ушел от нас навечно, никакое течение дней не излечивает до конца ее раненую память. Кок Лихуша вручил матросский подарок, и она, совсем растроганная, смотрела на всех влажными глазами и перебирала пальцами кончик фартука.

Я отрекомендовался, и она, как старому знакомому, подала руку — без осторожности и смущения. «Постойте, это не вас случайно не пустила сюда Лидия Пантелевна?» — «Да, меня». — «Вы не сердитесь?» — «А какое право у меня сердиться? Мне нравится на плавбазе, а ходить в гости к вам, как мы вот пришли, бесспорно, еще приятнее и высокая честь». — «Не потчуйте меня комплиментами, Юрий Васильевич, а то я... кокетка!» И засмеялась. В комнате стало непринужденно.

За столом, который Лихуша помогал хозяйке накрывать (хвастаясь при этом, что в учебном отряде получил за сервировку самый высокий балл и приглашение на всефлотскую конференцию коков), я боялся, чтобы гостеприимство Аиды Павловны не повредило моим подводникам, чтобы никто из них не позволил себе выпить лишнего. Но они сознавали свое достоинство и долг, благодарили за угощение, исподтишка наблюдали, доволен я ими или нет.

Аида Павловна угощала гостей с осторожностью женщины, которая привыкла к служебным ограничениям и не позволит юношеской запальчивости хоть чуть-чуть забыться, нарваться на неприятности. Она была в шерстяном, цвета бордо, платье, и каштановые волосы словно дополняли ее щеголеватость. С тонким станом, с зеленоватыми глазами, Аида Павловна принадлежала к тем женщинам, которые без особых усилий могут снискать мужское уважение, умеют и держать мужчин на расстоянии. Достав из бара откупоренную бутылку югославского виньяку, она прочла нам все, что было написано на этикетке: «Помните, «Виньяк» — это натуральный напиток, крепкий и благородный... Вы будете в восторге от него, потому что он появлялся путем умелой перегонки и терпеливой, длительной выдержки! Он добывается из отборных виноградных вин, пригодных для перегонки, из вин, которые изготавливаются из солнечных гроздей нашей, богатой винами родины... Настоячиво и терпеливо его культивировали и укрощали...» Слышите,

атомоходы? Укрощали! «В результате старения он облагорожен и обогащен...» Слышали? Обогащен в результате старения!.. «Виньяком» не следует напиваться, им нужно успокаиваться. Его наливают не выше двух пальцев в широкую рюмку, суженную вверху...» Таких у меня, к сожалению, и нет. «Если вы его еще взбудоражите теплом ладоней, он вернет вам это тепло крепостью и радостным возбуждением». Поэзия, Юрий Васильевич?

— Да, поэзия.

— Разве бывает на свете, чтобы женщины убегали от любви? Ведь она горькая, как полынь, как вздох осеннего ветра... Только ты, как они, не убежишь, скорее высохнут переполненные реки... — сорвалось с уст Медядько.

Старшина поймал на себе обескураженный взгляд радиста Зёмы и умолк. До того радист сидел какой-то незаметный, погруженный в собственную хмурость, и следил за смиренной комашкой-солнышком, которое так любят дети и которое влетело в комнату неизвестно откуда. Солнышко ползало по белой скатерти, натыкалось на пену от шампанского, убегало от хмельных испарений. Наконец расправило крылышки и полетело к окну.

— А дальше? Дальше? — жаждала поэзии Аида Павловна.

— Забыл, — виновато вздохнул гидроакустик. — Свободный экспромт. Украшение к «Виньяку»... До службы мне приходилось зарабатывать в подсобных в институте виноделия. Там один профессор был, специалист по винам, так он говорил, что вино — это самый животворный плод человечества, а дегустация его — самое полезное из всех человеческих удовольствий. Вино, как и любовь, запретить нельзя.

— Я советовал бы тебе, Василий, пересмотреть профессорские наставления, по крайней мере на время службы.

— Освободиться от убеждений труднее, чем приобрести их. А освобождение, Зёма, не что иное, как постоянная борьба с самим собой и с окружающими. Никому из нас этого не побороть.

Мы собрались уже уходить, когда к Аиде Павловне

постучал лейтенант, адъютант Богдана Николаевича. Красавец, немного самоуверенный. Безукоризненная стройная осанка. Все на нем чистое, отутюженное, изящное. Лицо белое и, мне казалось, слегка припудренное, а усики подчеркнуты. Он поздоровался со всеми. «Владлен Карлаш, — сказала Аида Павловна, подавая лейтенанту руку. — Садитесь, Владлен, к столу, вот сюда», — и подставила ему свой стул. «Я послан за вами адмиралом и Лидией Пантелеевной. Приказано без вас не показываться на глаза». — «Но ведь у меня дорогие гости!» — «Ничего не знаю, товарищ старший лейтенант...» Я вмешался в их разговор и объяснил, что нам нельзя задерживаться и мы, благодарные за гостеприимность, должны откланяться. Лихуша неохотно вылез из-за стола, поглядывая на рюмку с югославским «Виньяком», наперсток которого коку очень хотелось взбудоражить теплом своих ладоней и узнать самому, какое тепло и радостное возбуждение он доставляет. Медядько и Зёма поднялись вслед за мной.

В конце улицы, сворачивавшей к причалам, нас догнал адмиральский «ЗИМ». Настойчиво посигналив, притормозил около меня. Я обернулся — из кабины мне послала привет Аида Павловна. Я кивнул ей, и легковая машина скрылась за поворотом. «Глупость какая-то, — сказал Лихуша, — чувствуешь себя так, словно перед кем-то провинился». — «К женщинам в гости компанией не ходят», — изрек Медядько. «Субмарина тоже... женского рода», — намекнул радист неизвестно на что и, видно, ждал моих комментариев или вопросов. Я молчал, потому что молчание иногда такая же необходимость, как и разговор. Еще издали заметил на пирсе капитана второго ранга Ягудина, и у меня отказались ноги идти на плавбазу, в каюту, где на столе лежит незаконченный доклад об офицерах, которые являются образцом на службе и в жизни и которым нельзя «быть наполовину требовательными и наполовину внимательными — половинчатость во всем вредна».

Я велел Медядько доложить дежурному, что мы навестили Наивину, а сам пошел вдоль берега, где и чайка над водой, и самолет в поднебесье, и солнечный луч на волнах. И весна окончательно пробудилась.

00000

МАЙ

С раннего вечера на западе, в созвездии Тельца, а потом Близнецов, ярко блещет Венера, а левее и выше, в созвездии Близнецов, виден Сатурн. 23—24 мая планеты сближаются, и Венера располагается левее и выше Сатурна. Во второй половине ночи в созвездии Рыб виден красноватый Марс, а левее и ниже, тоже в созвездии Рыб, — яркий Юпитер.

Отцвели среди опавших листьев последние синие пролески, перестал капать холодный березовый сок. На рассвете в глубоком овраге, куда не проникают солнечные лучи и где до середины лета трава живится талой водой, вдруг затряскал лисий выводок, спугнул стаю серых гусей, прилетевших из-за моря и искавших прошлогоднее место гнездования. Серые гуси с гоготом покружились над оврагом, потом над зеленовато-бурой поверхностью бухты, над мачтами плавбазы, над причалами, к которым ошвартованы подводные ракетноносцы, над поселком, который манил кумачом развевающихся флотских стягов, и взяли курс на север. Морякам долго еще слышался гусиный гогот сквозь неугомонный крик чаек, стон ревунов и сигналы аванпостов базы.

— Кто слышал, как весной на Урале трубит лось? — спросил Галаев с той грустью, которая примешивается к терпким воспоминаниям.

Ему никто не ответил. Или никому, кроме него, не доводилось слышать этого лосиного зова, или все еще прислушивались к серым гусям, которые отвернулись от этих мест и полетели искать другие, более безлюдные, а значит, и более надежные для гнездования, для размножения, для покоя, пока птенцы не оденутся в перья и не окрылятся.

От Главного причала отошел рейдовый катер с командным составом ракетноносцев, оставил белоснежный след через всю бухту, от сходней до бонового заграждения. С востока, навстречу катеру, внезапно накатился теплый туман, и высокое солнце, которое до сих пор жмурилось, вязло в туманной мгле, расплылось в ней желто-

красным пятном. Ветерок с моря посвежел, и кос-кто, ежась, поднимал воротники курток. Офицеры стояли на катере тесной стеной, принимали лицом одновременно и солоноватость морских брызг на крутой волне, и едкость ветряной туманности.

Можаров натянул фуражку до бровей и, посасывая незажженную трубку, слушал новости, которыми делился командир-сосед, капитан первого ранга, о служебных перемещениях в верхах и флотской базе. Намекнул и на возможную отставку контр-адмирала Выдыша. Офицеры тихонько переговаривались обо всем, что наболело и непосредственно затрагивало их интересы. Ягудин беспокоился из-за дочерей, которые оканчивали школу и должны были выпорхнуть из-под отцовского взгляда, ехать куда-то в большие города, в вузы. Ему посочувствовали, отчего Ягудину, вероятно, несколько не полегчало, потому что кто-то бросил-таки горький намек на девичье легкомыслие. Среди всех офицеров на катере один **Болюбаш** ухитрился еще не обзавестись семьей, и его не волновали ни жилищное строительство, ни взросление детей, как Ягудина.

Выход командного состава ракетносцев на рейдовом катере не был развлекательной прогулкой: в штабе флотилии каждый должен был доложить Военному совету о выполнении боевого задания в предыдущем походе и, может быть, проникнуться ответственностью за поход предстоящий. И никому не известно, кого там ждет благодарность, награда, повышение по службе, а кого справедливое порицание, взыскание, отставка. Двое — Галаев и Ягудин — более или менее чувствовали себя спокойно, им надлежало только получить последние наставления.

— Мы станем в док, а вам прикажут в отпуск, — после длительного молчания ответил Можарову капитан первого ранга.

Туманная пелена вынудила командира катера снизить ход со среднего на малый, катер стал чувствительнее к мертвой зыби, настроение у всех подупало, и капитану первого ранга, видимо, хотелось разговорами немного снять угнетенность.

— Если прикажут, — с приятнью посмотрел Можаров на Вайнейкиса. Забавляясь трубкой, Арнольд Петрович припрятывал свое подлинное настроение. Он при-

творялся, что ему хорошо без отпуска, что он согласится с любым решением командования и, едва вернувшись из длительного плавания, тут же готов идти в моря-океаны.

— Я не предсказатель, Арнольд Петрович, но вас ждет Черноморское побережье Кавказа, Южный берег Крыма, озеро Рица... И все это в семейном кругу, под щебет райских птиц и вашей Зумрад.

Кому в Межгорье не известна влюбленность Можарова в дочку!..

«Папочка, теперь я большая-большая! Мне исполнилось, сказала мама, шесть лет! И очень хочу в лес!» — «Почему именно в лес, а не на море, Зумрад?» — «В лесу приключения. Без приключений неинтересно». — «Ишь ты!» Он засмеялся, достал карту, разложил на столе и сказал, чтобы Зумрад показала красным карандашом тот лес, в который они должны поехать. Зумрад долго слюнявила карандаш, важно изучала карту. Первая попытка оказалась неудачной — дочь поставила красную точку на острове Врангеля. И вторая попытка истинное недоразумение, потому что заехать «Волгой» в Керченский пролив никак не смогли бы. Да и лесов там поблизости не значилось. А Зумрад жаждет приключений, которые подстерегали бы ее за каждым деревом, за каждой веткой. «Выбирай еще раз, дочка», — сказал он и затревожился, не довелось бы ему сидеть за рулем целый отпуск. Выбор Зумрад был более чем удачный: острие карандаша поставило красную точку на речке Рось, где-то недалеко от Киева... Тенти посмеялась над его затеей, уверенная, что они сначала заедут погостить к его родне в Ленинград, а потом она уговорит слетать в Пенджикент и на Вахш — в края, где все будет напоминать ей о ее матери. Он не посчитался с просьбой жены, посчитался с дочкиной. Предостерегая любимую Тенти от тайных слез, доказывал ей и доказал, что дети не забывают обманов, что омрачить их доверие, нарушить честность значительно легче, чем восстановить во всей ее нетронутости. И Тенти согласилась ехать на Украину, как согласилась бы с ним и Зумрад ехать на остров Врангеля, в Керченский пролив или даже на Эверест — вершину Гималаев, признанную крышу мира...

— Черноморское побережье меня не привлекает, — сказал Можаров.

— Да-да, — кивнул капитан первого ранга, — я забыл, что вы отдаете предпочтение лесу. Охота, рыбная ловля, грибы. Лесные приключения...

— Лесные приключения, — оживленно сказал Арнольд Петрович, — это не мое хобби, это хобби моей Зумрад.

...Они поселились в избушке лесника. В первое же утро Зумрад ухитрилась как следует взволновать и Тен-ти, и его самого. Никто не видел, как она проснулась и вышла во двор. Около очага, как зовется местная надворная печь, на скамейке сидела белка. Пушистая, резвая. И не заточенная в клетку. Белка держала в лапках корочку хлеба и лакомилась, словно орехами или шишками. От удивления Зумрад замерла. «Доброе утро!» — поздоровалась она с белкой, но зверюшка почему-то испугалась и взбежала на дерево. «Не убегай, белочка! Дай тебя погладить!» — просила Зумрад, но белка прыгала с дерева на дерево, с ветки на ветку, убегая от малышки. И тогда Зумрад решила, что белка не убегает, а приглашает ее к себе в гости, как приглашают детей все звери в сказках, мультфильмах и детских радиопередачах. Вскоре Зумрад потеряла из виду избушку лесника, а белочкиной все не было. Белка все вела и вела ее дальше в лес... Неизвестно откуда взялась пестро-черная корова и перешла Зумрад дорогу. Пусть бы волк или лиса, а то корова!.. «Разве бывают дикие коровы, папочка?» Зумрад не успела обойти ее, как из-за кустов вышла другая, тоже черная, с белыми пятнами, за нею третья, четвертая — целое стадо! Одна из них, чересчур рогатая, начала угрожать Зумрад, и та, испугавшись, расплакалась, быстро забыла о белке и ее приглашении. «Назад, пакостная! Ишь какая, захотела палки!» — закричал на корову пастух, и она метнулась в кусты. «Чья же ты будешь, красавица?» — спросил пастух и успокоил Зумрад. Снял с плеча торбу, разложил на траве завтрак, пригласил на хлеб-соль Зумрад. У пастуха она и научилась говорить гостям: «Прошу вас к столу, на хлеб-соль!» Сало, лук, пирожки с творогом — все у пастуха было вкуснее маминой манной каши и тефтелей! А чтобы пас-

тук не подумал, что Зумрад молчаливая девочка, она все подробно рассказала и о себе, и о маме Тенти, и о моряках, среди которых есть мичман Деся, самый красивый из всех. «Поцелуй меня, Деся, я тебе счастье принесу!» Они позавтракали, напились ключевой воды, вытекающей из-под исполинского дуба, и погнали стадо к Роси, на водопой. Пастух привел Зумрад к лесниковой избушке вовремя, потому что мама Тенти поклялась утопиться в речке, если не найдется Зумрад!.. А Зумрад совсем не виновата, что заблудилась, виновата белка! Попрыгунья, да и только! «Папочка, мама сказала, что от моих лесных приключений схватит инфаркт. Разве от лесных приключений инфаркты бывают?..»

— Лес — великое таинство, — размышлял вслух капитан первого ранга. — В нем есть что-то родственное морю.

— Что именно? — напомнил о себе Ягудин. — Первобытность?

— Допустим. Как море, лес каждый раз открывается для тебя заново. Утром и вечером, весной и осенью, днем и ночью, в грозу и в погожий день.

— И степь так же, — очнулся Болюбаш.

— А горы? — откликнулся Галаев, который, казалось, до сих пор никак не мог попасть в русло общего разговора. — Вы слышали, как весной трубит уральский лось? От его зова горы сменяют окраску. (Капитан первого ранга с подозрением взглянул на Галаева.) Сомневаетесь? Вместо трех шотландских терьеров выкормите одного лося. Лось переубедит.

Ответ Галаева всем понравился, и капитан первого ранга, разглаживая всей рукой морщинки на желтоватом лице, сказал:

— У вас, Арнольд Петрович, если не ошибаюсь, существует подводная школа острословов и шутников?

— Донимателей, товарищ капитан первого ранга, — почтительно отпарировал Болюбаш. — Учимся закидывать удочки, ловить в проводку, нахлестом, на блесну. Есть новейшие складные удилица. Спиннинги.

— А рыбацкую уху умеете варить, товарищ замполит?

— Извините, у нас рыбацкая уха не варится. Не предусмотрено уставом. Варится уха командирская. Разве у вас не так?

— Не так. Окуньков и карасиков не берем.

— Товарищ командир, — обратился Болюбаш за подкреплением к Можарову, — выручайте! Неужели вы ловите мелкоту? Это же оскорбление, навет!

Можаров провел кончиком мундштука по губам, и на них сразу же исчезла улыбка.

— Всякое случалось, Юрий Васильевич. И щуки срывались, и окуньков выпускали на волю. . .

. . . Зумрад надоело строить домики для кукол, копать ямки и сажать собственный садик из прутиков. «Я хочу с папой на рыбалку», — сказала она маме Тенти. «Это очень рано, Зумрад. Папа идет на рыбалку до восхода солнца. И ты еще спишь, и белочки еще спят, и зайчики. Не спят только пучеглазые совы». Зумрад не отступалась. С вечера припасла удочку — прутик с веревкой. А чтобы папа не перепутал спросонок, где его удочки, а где удочка Зумрад, она спрятала свою под домом. Только морока с кошкой Муркой, ей лишь бы играть да играть веревочкой, словно Зумрад постаралась для нее. Зумрад, как и предсказывала мама, проснулась поздно. А может, она и не спала, а поспешило взойти солнце. И корова лесника уже подоилась, оставила Зумрад в кувшинчике свежего молока. А лентяйка Мурка еще хлопала сонными глазами и не собиралась умываться. Зумрад со слезами выпила молока, пожаловалась маме на папу, достала из своего укрытия удочку и снова заплакала. Тенти была вынуждена отвести ее к отцу, на Рось. Но под кустом калины сидел не он, а какой-то усач, и Зумрад немного растерялась. «Он рассердится и прогонит меня». — «Рыбаки никогда не сердятся, — сказала Тенти. — Сиди тихо и не мешай. И не слети в воду. Я буду посматривать, Зумрад». Усатый рыбак так сосредоточенно смотрел на поплавки, что не замечал Зумрад. Светило солнышко, и ей было видно, как маленькие серебристые рыбки снуют возле поверхности, вылавливают себе поживу — солнечный луч. «Рыбы кормятся лучиками», — уверяет теперь Зумрад. А ее веревочка нисколько их не интересовала. «Если бы там плавала

Мурка, она непременно вцепилась бы коготками!..» Рыбак вылавливал окуньков, плотву, карасиков и бросал их в жестянку, но ей было жалко, что рыбкам тесно, что они быются, просят водички... И Зумрад носила им с речки воду пригоршнями. Но вода не слушалась и протекала сквозь пальцы. «Отпущу рыбок в речку, чтобы поплавали и напились воды вдоволь! — сказала она себе. — А захотят пойматься снова, дядя поймает. Они же не щука, они же не хищники». Пришел рыбак, и Зумрад показала, что присмотрела за жестянкой, как он просил. И о рыбках все сказала. Усатый рыбак смотрел удочки, погладил ей голову. Сказал: «У тебя, Зумрад, чуткое сердечко. Расти здоровой и счастливой». К вечеру пришел из далекой рыбалки папа. Без улова... Посмеялась над ним Тенти. А Зумрад запротестовала. «Это у моего папы чуткое сердечко, — сказала она. И погладила его голову. — Расти здоровый и счастливый!..»

— А какой я им отец? Когда они меня видят? — сказал кто-то из офицеров.

Поглощенный воспоминаниями о лесных приключениях Зумрад, Можаров недослышал начало разговора.

— И все же это нисколько не снимает с вас, как отца, ответственности за их воспитание, за их пригодность для общества, — ответил офицеру капитан первого ранга. — Наше государство — это здание, башня, в основе которой должен находиться кирпич каждого. А чтобы каждый заложил полновесный кирпич в государственную башню, его ставят на ноги по меньшей мере двадцать — тридцать пять лет! Бесплатно! И всего-навсего для одного кирпича. А кто сумеет два положить — хвала ему. Три, семь, десять — не возражаем. Но один — непременно!.. И родители, как и школа, как и вуз, отвечают в полной мере!..

— Не возражаем вам, — извиняющимся тоном проскрипел Ягудин. — А как быть с теми, у которых нет строительных способностей?.. Нет способности — и все. Есть порядочность, есть образование, а способности не дала природа?

Он обвел всех на катере взглядом благодаря высокому росту свысока — его не поняли.

— ...Под наше государство, под его фундамент, находились, находятся и будут находиться охотники закладывать бомбы и толовые шашки. А бикфордовы шнуры поджигают на расстоянии. Их и нужно рубить... Мы умеем это делать, мы призваны научить этому и детей. Для них и ради них.

Туманная завеса рассеялась, солнце заполнило волнистый простор, осветило порт и город, его светлые кварталы, телеантенны, проводами затканые троллейбусные и трамвайные линии, излучавшие блеск далеко в море. Катер еще шел фарватером, когда над городом поплыли большие тени от туч и вскоре все нахмурилось. Пасмурность берега распространилась за пределы порта, коснулась моря. С материка все подходило и подходило скопление тяжелых темных туч, охватывавших небосвод от края до края. Между тучами и землей промчался холодный резкий ветер, вслед за ним прокатился первый весенний гром. Сначала гром, а уже погода и молния, малиновая, тонкая, как струна, сорвавшаяся с грифа. Второй раскат грома приблизил тучи к морю, и на палубу упали крупные капли. Можаров снял фуражку и подставил дождевым каплям лобастую стриженую голову, приветствуя приход весны. Его примеру последовали Галаев, командир-латыш, Ягудин. Поколебавшись, и Болюбаш принял на волосы несколько тяжелых капель. С обнаженными головами они стояли на катере, который швартовался к штабной пристани, стояли, полные возвышенного чувства, и снова среди раскатов грома слышали гогот гусиных стай, летевших над морем впереди дождя, летевших на разной высоте, и, казалось, не будет конца этому волнующему полету.

Болюбаш впервые на Военном совете этого флота, и приемная, немного стилизованная под кают-компанию большого корабля, произвела на него хорошее впечатление. Переступив порог, он почувствовал облегчение, внутреннее спокойствие. Не знал, о чем именно его будут спрашивать на заседании Военного совета, но предвидел и заранее обдумал все ответы. До этого всегда на подобных заседаниях первое слово предоставлялось командиру, и он должен был только дополнить Можарова.

«Сжатость и точность — наши родные сестры и заступницы», — еще на плавбазе сказал ему Арнольд Петрович, сказал шутя, но он взял это себе на заметку.

Пол приемной был сплошь застлан туркменским ковром цвета морской волны, потолок и стены выкрашены в светлые цвета. Праздничность всему придавали большие окна с белыми шелковыми шторами, спадавшими волнами, и репродукции с известных картин, написанных русскими и советскими художниками-маринистами... «Чесменский бой 1770 года» Айвазовского, к которой он привык еще во Фрунзенском высшем училище (там сохраняется оригинал), копия картины Боголюбова «Синопская битва 18.XI.1853 г.» из Центрального военноморского музея в Ленинграде, картина неизвестного художника «Наваринская битва», которой он до сих пор не видел; на первом плане, на корабле «Азов», он узнал капитана первого ранга Лазарева, лейтенанта Нахимова, мичмана Корнилова и гардемарина Истомина — будущих героев обороны Севастополя. Известный портрет адмирала Нахимова висел около портретов Ушакова и Макарова, над столиками с телефонами для дежурного и адъютантов... Болюбаш оставил Арнольда Петровича с командирами кораблей, тихонько обменивающимися мыслями, и обошел зал, осмотрел репродукции с картин современных художников... Дудник — «Залп Авроры», Пузырьков — «Черноморцы», картины «Атака подводной лодки Лунина фашистского рейдера», «На перископной глубине», «Атомный ракетоносец в походе». Последние две картины были написаны недавно, принадлежали кисти художника, о котором Болюбаш еще ничего не знал — его имя встретил здесь чуть ли не впервые, — эти работы маслом свидетельствовали о незаурядной одаренности автора.

Арнольд Петрович прислушивался к вызовам дежурного, — посасывая пустую трубку, похаживал недалеко от столиков с телефонами, иногда бросал беглые взгляды на своего замполита.

«Приглашается командование четырехста сороковой!»
Нет, не их.

Через полчаса адъютант командующего снова вынуждает всех поворачиваться к нему:

«Приглашается командование четыреста сорок первой!»

Болюбаш подошел к командиру тогда, когда тот немного забеспокоился.

— На очереди мы, — сказал Можаров. — Самое главное, Юрий Васильевич, — докладывать сжато и точно. Без велеречивости, которой командующий не выносит, не терпит.

— Все ясно, командир.

Адъютант предупредил Можарова, что Галаев с Ягудиным должны зайти на Военный совет вместе с ним. «Не возражаю», — усмехнулся Можаров, словно от них зависело, кому и в каком составе идти на заседание.

«Приглашается командование четыреста сорок второй!» — и сразу же перед ними открылись высокие массивные двери.

Волнение Можарова, которое он до сих пор старательно скрывал от других и самого себя, сразу же передалось Болюбашу и Галаеву; только Ягудин был совершенно спокоен внешне. Достав из кармана авторучку и блокнот, он приготовился записывать все, что скажет начальство. «Ничто не формируется само по себе, за всем стоят теория и опыт», — подчеркнул чью-то мысль, записанную раньше, в приемной.

На Военном совете оказалось значительно проще, чем предполагал Арнольд Петрович, от него не требовали чего-то такого, что вынудило бы искать объективных пояснений, оправданий, какие представлял его предшественник, командир четыреста сорок первой, которому теперь было предложено ждать окончательных заключений Военного совета до конца его заседания. Как и предсказывал Вайнейкис, Арнольду Петровичу предписали отбыть в отпуск, но с условием, что он подготовит атомоход к выходу в океан вместе с Галаевым. Болюбаша, за которого в основном отчитывался подробными репликами контр-адмирал Выдыш, обязали поделиться мыслями-пожеланиями с капитаном второго ранга Ягудиным, который успел занести в блокнот это задание первым пунктом: «...кап. 3 р. Ю. В. Бо-шу обеспечить меня полнейшей информацией». Никого из них не задерживали больше десяти минут, и Болюбаш даже не успел хорошо разглядеть всех, кто сидел за длинным столом слева от командующего. Среди знакомых и незнакомых

лиц Юрию Васильевичу удалось заметить Игоря Волошко, который уже был в звании капитана первого ранга и, наверное, должен был занимать должность начальника политического отдела, так как сидел рядом с Богданом Николаевичем и они вдвоем рассматривали документы из общей папки. Волошко встретился взглядом с товарищем по Академии, подбадривающе кивнул ему, но так осторожно и незаметно для других, что Болюбаш догадался об этом, когда они снова очутились на туркменском ковре цвета морской волны.

«Приглашается командование четыреста сорок третьей!»

К дверям зала заседания подошел щупленький, с лукавым, задиристым носом и щеточкой усов под ним капитан второго ранга; не успел он взяться за ручку, как двери с грохотом распахнулись и Волошко крикнул адъютантам с порога: «Врача!.. Скорей врача адмиралу Выдышу!» Лейтенант Карлаш молниеносно бросился к выходу. Придерживаясь правой рукой за перила лестницы, лейтенант в один миг сбежал на первый этаж. Дежурный мичман и мичман-адъютант по двум телефонам вызывали скорую и неотложную помощь флотского госпиталя. В приемную вышел начальник штаба флота и взволнованно спросил, кто из присутствующих еще не успел доложить Военному совету. Таких оказалось довольно много. «После перерыва заслушаем».

— Пойдемте, Юрий Васильевич, — вздохнул Можаров. — Мы тут ему не помощники.

На ступеньках они уступили дорогу флагманскому терапевту, который на ходу завязывал тесемки халата, пропустили сестру и двух матросов с санитарными сумками. Около подъезда стояла машина из госпиталя. По кузову ее стучали крупные дождевые капли. Можаров взглянул на затянутое тучами небо, поднял воротник куртки и зашагал под дождем. Болюбаш едва успевал за ним, не обходя мутные лужи, разливающиеся по асфальту.

— Вспомнился мне такой же май в сорок пятом в Берлине, — вдруг остановился и сказал Можаров. — И мертвым, и живым, и неродившимся праздник Победы — зеленый фейерверк!

...Железный канцлер чадил пороховым дымом сквозь проломы в бронзовой голове, тевтонский бронзовый конь под ним тоже выпускал из брюха чад; фюрер третьей империи дымился в воронке, вырытой тяжелым гаубичным снарядом; из берлинского метро выходили на белый свет остатки защитников фашистской столицы, обезоруженные и перепуганные до смерти, символы которой еще недавно вышивали серебром на своих фуражках, рукавах, петлицах, цепляли к груди. А над всем чадом поверженного Берлина майский дождик полоскал белые простыни капитуляции, и запевалось «Полюшко-поле...» Переступая через брошенные на мостовую немецкие автоматы, фауст-патроны и штандарты, мы шли к рейхстагу поставить свои автографы, мы все были достойны того, чтобы Европа помнила их. «Становись, танкист, мне на плечи!» — сказал пехотинец, и кто-то сзади подсадил меня, чтобы я дотянулся до свободного места на колонне, сплошь занятой солдатскими автографами. «За всех троих пиши!» — держал меня на себе пехотинец за грязные сапоги. Тот, третий, подал осколок угля, и я вывел черным по серому: «Мы с Украины!»

9 мая 1945 года я видел, как кончаются войны...

А сначала познал их зловещую суть.

Солнце и черные кресты на крыльях самолетов: «юнкерсы» заходят бомбить переправу из-под солнца, и зенитчики не успевают встретить их первым залпом, как уже взрывы авиабомб потрясают все вокруг. Пылают цистерны с горючим, горит баржа, горят понтоны. Река сносит вниз по течению пламя, которое не гаснет на воде. Мои лошади шарахаются вбок, и повозка, подскакивая на кочках, мчит по сельской улочке. Кони храпят, глаза их вылезают из орбит, и зеленая пена слетает с удил. Налетают на высокий забор, сбивают его оглоблей и грудью, останавливаются в гуще акации. Черные кресты на крыльях и свастика на оперении проносятся надо мною с ревом, лошади шарахаются, но их крепко держит высокий красноармеец, садит обеим в морды тяжелыми кулаками. Я слетаю с подводы и, плача, прошу не бить лошадей. Утихал гул, кто-то посылает вслед «юнкерсам» пистолетные и ружейные пули, и только тогда я вспоминаю, что везу мать и сестричку в эвакуацию на восток... Мама кормит сестренку, она еще никому не улыбается, только мне и маме, и гулит, как голубка.

Сестренка не улыбается, она все время плачет. И мама с ней беззвучно рыдает. Красноармеец все еще стрелял из-за дерева вслед «юнкерсам», а командир совал ему под нос револьвер, угрожая трибуналом за головотяпство. Я держал лошадей под уздцы, они все еще всхрапывали с дрожью, я поглаживал их морды, успокаивал и никак не мог понять, почему мама неловко сидит под мешками, держит сестренку у груди, в которой не было молока, а была кровь, и не пряталась, как раньше, от посторонних глаз. «Ма-ма-а!» У меня голос пропал оттого, что они уже отрыдались, отплакались навсегда... Мать и сестренку, которая навечно осталась недокормленной, бойцы похоронили вместе со своими в братской могиле. Мне велели отдать лошадей и телегу ездovому и идти с ними, с батареей. Шинель-скатку вручили, противогаз, портянки и котелок... Я теперь хорошо знаю, где Сталинград и где Берлин. И каждый раз, когда вглядываюсь в лицо мадонны Литты, убеждаюсь в неземном происхождении своей матери... Женщина, которая кормит дитя, становится божеством. Это было непростительным злодеянием, летчик. Я поклялся мстить и мстил все четыре года, пока не дошел до Берлина. Я расписался на твоём рейхстаге и отдал свою пайку хлеба твоей матери. Вчера моей сестренке исполнилось бы сколько-то там лет... Я ненавижу и всегда буду ненавидеть войны...

И мертвым, и живым, и неродившимся праздник Победы — зеленый фейерверк!

Почему, на каком основании, стараюсь отождествить себя с тобой, не знаю. Может, потому, что ты кажешься мне похожим на всех, кто прибавлял себе годы и бежал на фронт. Ты уверял комбата, что «второй сезон» бреешь бородку и усы, что дома у тебя невеста, которая никогда тебе не изменит и дождетя твоего возвращения с победой; а комбат слушал и думал: вот такие ребята идут в кровавое пекло, хотя для них мир еще не открылся до горизонта, они не познали его истинной привлекательности... Ты все-таки уговорил комбата, и он приказал записать тебя на все виды довольствия, и с той поры ты стал матросом морской пехоты. И прошел с нею от Но-

Новороссийска до Будапешта. На Дунае 9 мая 1945 года ты видел, как кончается война...

А сначала познал ее разрушение.

Все решилось сразу: Надежда отклонила твою любовь, не с глазу на глаз отклонила, а в присутствии подруг, с которыми ходила в военкомат, на курсы радистов. Это случилось в тот день, когда ты схватил двойку по алгебре и поругался с математиком, которого считал претендентом на ее руку и сердце, потому что всех достойных мужчин забирала война, а ему выписывалась броня — имели в виду какую-то тайную цель. Она сказала тебе, гордясь собою, Надежда Чаюн: «Я не успеваю рвать твои глупые записки! Сначала выучи, чему равен квадрат суммы двух чисел... Ты же еще ребенок!» Твоя любовь умерла от этих убийственных слов, ее место под смешки подруг-дурнушек заняла ненависть. «Я никогда тебя не любил и не полюблю! — крикнул ты вслед Надежде. — Все мы знаем про твои фигли-мигли с математиком! И ты мне не пара, мне еще посчастливится!» Она обернулась, внезапно поцеловала в стриженую голову и сказала: «Молодчина! Тебе непременно посчастливится!» И покинула тебя около военкомата, пристыженного и пораженного... А через несколько дней Надежда и математик вылетели за линию фронта. Ты хорошо выучил, чему равен квадрат суммы двух чисел, но твоя гражданская совесть, мужское достоинство не давали покоя, и ты, прибавив лета, пошел на фронт... Ты видел замученных фашистами жен и детей, снимал с виселиц партизан, нес на себе в дунайских плавнях раненного в разведке товарища и не бросил его даже мертвого, чтобы враги не глумились над телом моряка. Тебе дали две медали «За отвагу» и представили к награде третьей, но Надежда Чаюн и математик, навстречу которым ты шел от самого Новороссийска и никак не мог догнать, продвинулись на запад раньше той линии, что определяет фронт... Фронты сошлись, а ты их так и не догнал. Недалеко от Будапешта, в усадьбе, старый венгр рассказал тебе, как за неделю до прихода Красной Армии здесь погибли двое — девушка и мужчина. Они обедали у него, когда усадьбу окружили эсэсовцы. «Красивые оба, — сказал венгр. — Он называл ее Надей, она его — учителем. И умирали красиво, стояли спинами друг к другу и стреляли до последнего патрона». Венгр

показал холмик свежей земли — там ночью он похоронил русских и сам присматривает за могилой и будет присматривать до тех пор, пока не прикажут ему перевезти их в Будапешт. «Там будет улица Русской Нади и улица Русского Учителя», — уверенно сказал старый венгр. Ты верил, что на самом деле будут такие улицы, и не хотел поверить, что уже никогда не будет Надежды Чаюн — ни той, которая отдала бы руку и сердце математику, ни той, которая любила бы тебя так же, как ты ее... Тогда, на всемирном пожарище, в дни всеобщей печали, никто не видел твоего горя, упавшего прозрачными каплями на свежий холмик, а старый венгр не понял, почему тебе, храброму и молодому, так грустно в его гостеприимной усадьбе. И до сих пор не забылась твоя печаль. Ты не хочешь поверить в эту безмерную утрату, все еще надеешься услышать голос Нади, встретиться с нею. В праздник Победы, как и все фронтовики, ты наденешь боевые награды. Но я знаю, что ты ненавидишь и всегда будешь ненавидеть войны...

И мертвым, и живым, и неродившимся праздник Победы — зеленый фейерверк!

— Разрешите, товарищ командир?

Аратский появился на плавбазе сразу же после заседания Военного совета и в довольно хорошем настроении. Он уже был одет в парадный мундир с кортиком.

Галаев сидел у Можарова, и командиры вместе со своими замполитами попивали крепкий чай. Вели неторопливую дружескую беседу, как люди, которым уже некуда спешить, которым все ясно — что было, что есть и что будет завтра. Они тоже подавали обменные рапорты и могли позволить себе такую роскошь, как чаепитие с веселыми рассказами. Болюбаш и Ягудин по большей части молчали, слушали Арнольда Петровича, и кавторанг Ягудин, вероятно, впервые за все эти дни, предшествующие его выходу в море с Галаевым, забыл об авторучке и блокноте.

Можаров с непринужденной вежливостью поздоровался с Аратским, предложил майору свободное место рядом с собой, а вестовой Рамир немедленно подач чай

корабельному врачу. «С сухариками вам, товарищ майор, или без сухариков? Песок или рафинад?» — «Спасибо, Рамир. И без сухарей, и без сахару».

— А жена ваша как? — допытывался Галаев у Арнольда Петровича. Присутствие Аратского не помешало их разговору, и Аратский уселся поудобнее, посвободнее.

— Тенти? Как она считает? А никак. Моя Тенти принадлежит к тем женам, жизнь которых целиком подчинена службе мужа. А если бы это было не так, то для чего жена военному моряку?.. Она не ворчит, не дуется ни на меня, ни на высшее начальство, ни на кого. И Тенти, и Зумрад привыкли к тому, что в праздничные дни я непременно дежурю. И если случится чрезвычайное происшествие, оно произойдет при мне и ни при ком другом! Неудачник!..

Аратский подумал, что Арнольд Петрович и все остальные в хорошем настроении, что все они хорошо знают — никогда и никаких ЧП не было по вине Можарова, поэтому их командиру сейчас нелегко припомнить какую-нибудь трагикомичную историю во время дежурства, чтобы повеселить товарищей и заодно посмеяться самому над собой. Сочинит что-нибудь — пускай сочиняет... Он, Аратский, на флоте раньше Можарова и Галаева, не говоря уж о замполитах, и мог бы вспомнить из командирской службы больше, чем тот сам.

— ...Михаил Михайлович не даст солгать, — словно подслушав, сослался на него Можаров. — Шесть лет назад я прибыл сюда с Балтики старшим помощником. А принимать корабль довелось от одного кап-два, на берег он списывался. Лодка новенькая, любо-дорого посмотреть. А беспорядков на ней, как на старой галоше!.. Дисциплинка, скажу вам, как на буксирах: «Ванька, подай конец!» А что касается документации, разных формуляров... «Слушай, товарищ дорогой, ничего принимать не буду. Подписываем рапорт — и до свидания! Сам разберусь!» Он обиделся, конечно, но доложили адмиралу, и я принял командование. На Первомай. Тенти еще в Киргизии, дома нет, живу холостяком, куда же мне пойти на праздник? Известно, цепляй повязку, неси службу!..

Шефы тогда приехали из города двумя рейдовыми катерами. Комсомол! Все в юбках наши шефы, брюнет-

ки, блондинки, шатенки! Провели мы с ними заседание, концерт — им, они — нам концерт, все по плану. Время приглашать на флотский обед. Провели в кают-компанию, посадили на почетное место, отсалютовали шампанским. И девушки уже не девушки, а райские яблочки. Этот лейтенантик что-то нашептывает их комсоргу, а тот старшина предлагает показать кубрики, другой, мой командир механической, персонально одну блондиночку в каюту, полистать фотоальбомы... Э, нет, так дальше не пойдет! Шефы себе уедут, а мне еще служить да служить... «Боцман, труби сбор!» Знаете, пока я не удостоверился, что катера с шефами за боновым ограждением, сердце не могло успокоиться. Инфаркт!.. Стою на верхней палубе плавбазы со своим помощником и дышу озоном, набираюсь сил. И вдруг... бульк бутылка за борт. Кто-то выбросил из иллюминатора. Мы сбегали вниз... Нигде никого! Все офицерские каюты закрыты. В кают-компании тоже свет погашен, а кают-компания закрыта. Откуда же бутылка? Кто выбросил? Через минуту мы были наверху. Нет, все-таки из иллюминатора кают-компания. Возвращаемся, стучимся. Тишина. «Откройте. Дежурный по соединению!» Зажегся свет, открыли. Трое добрых молодцов... Трезвые, но чем-то немного смущены. Двое стоят прямо, а третий держит правую руку в кармане. И глазом не моргнет, чертов сын... «Кто такие?» — «Кок, товарищ капитан третьего ранга». — «Вестовой». — «А вы?» — «Гидроакустик». Подхожу к буфету, открываю. Так и есть — два стакана с водкой до краев. «Чей?» — «Кока». — «Так выливай в иллюминатор!» Поморщился, но вылил. «Это чей?» И гидроакустик вылил свой. Остановливаюсь около вестового, помогаю вытащить ему из кармана руку... Так и есть — третий стакан. Не пролил ни грамма!.. А смотрит на меня с такой мольбой, словно я отбираю у него какое-то добро. «Выливайте!» Вздохнул бедняга и выплеснул в иллюминатор. «Теперь поговорим по уставу, товарищи, — говорю. — Без гауптвахты не обойдется. Кто ваш командир? С какого корабля?..» Молчат, переступают с ноги на ногу. «Приказываю сознаться!» А этот гидроакустик с ехидцей замечает: «Разве вы нас не узнали, товарищ капитан третьего ранга? Мы же... ваши!» Вот так, Галаев, принимать командование, когда

еще не знаешь своего личного состава. Скомандовал я штрафникам «вольно», сел с ними рядом, и договорились, что в подобном случае... «Слово подводников!» — заверил акустик, как старший по званию и заводила. С тех пор что-то не припоминаю нарушений, сдержали слово... Так, Рамир?

— Сдержали, товарищ командир!

— И из Медядько получился настоящий старшина... В тот же вечер, после отбоя, когда экипаж погрузился в первомайский сон, меня пригласил к себе соседский командир на ветчину, присланную родителями. Праздничную норму сухого винца распили, расшумелись. Мало-помалу на огонек заглянули командиры других кораблей, замполиты... Кто еще в форме, а кто из каюты в каюту прошмыгнул почти по-спортивному, словно на пляже. Расселись кругом, угощаем друг друга, курим — дым коромыслом, тосты провозглашаем... Я освободился от ремня с пистолетом, расстегнул китель — хор-р-рошо!.. И в это время заходит сам Русиянов, он тогда командовал у нас соединением, был контр-адмиралом. Немая сцена!.. А он оглядел всех и остановился на мне: «Почему не докладываете, товарищ дежурный по соединению?» — «Простите, товарищ адмирал, не по форме... Я сейчас, я мигом!» — «Сидите уж... Что ж, я могу спокойно ехать домой и отдыхать. В соединении, как вижу, полный порядок. Спокойной ночи, товарищи офицеры!» И в самом деле минуты через две укатил... Все разбежались по каютам, остались только мы с командиром-соседом. Смотрим вслед адмиралу и спрашиваем себя, что бы это означало: «В соединении, как вижу, полный порядок...» До утра я ходил по пирсу, думал над этим и не додумался до тех пор, пока не сменился с дежурства... Как вы думаете, Ягудин, в чем заключалась вся соль сказанного?

Кавторанг Ягудин пожал плечами.

— А вы, доктор?

Аратский, отхлебнув чаю, усмехнулся:

— Если командиры кораблей позволили себе собраться в тесном кругу вместе с дежурным по соединению, это первейший признак благополучия. Не беззаботности, а именно порядка. Адмирал имел в виду это.

— Совершенно верно, доктор. Он никогда мне об

этом случае не напоминал и заслуженного взыскания не наложил. Но с этого мая, если моя лодка не в море, он всегда ставит меня на праздник в наряд. Не знаю, или это стало традицией, или же из каких-то адмиральских соображений, но без моей повязки не обходилось до сих пор, не обойдется и в этот раз, — закончил он немного удрученно.

Ему, как и всем присутствующим, стало приятно, когда в каюту, осторожно переступив комингс, вошла старший лейтенант Наивина. Аида Павловна небрежно, слегка коснувшись берета кончиками пальцев правой руки, отдала честь. Как женщина, уверенная в своей необходимости в обществе мужчин, она, улыбаясь зеленоватостью глаз, остановилась напротив Болюбаша, и он, словно под влиянием бесовского побуждения, встал и галантно ей поклонился. Это произвело надлежащее впечатление и на Аиду, и на офицеров, которые не удосужились выйти из-за стола, чтобы поздороваться.

Вестовой Рамир достал из буфета чашечку для Наивиной, но Можаров подал знак принести корабельные бокалы. Массандровский мускат не соблазнил Аиду присесть и попробовать хоть капельку, и это несколько разочаровало Можарова.

— Понемногу вы забываете нас, Аида, — сказал он сокрушенно.

— Не сердитесь, Арнольд Петрович. Я пришла к Галаеву пожаловаться. Его химик не выписал и не получил еще дозиметрические приборы для экипажа. Неужели вам, товарищ капитан второго ранга, нужно напоминать о «карандашах»? А если готовность номер «один» и выход в море?

Галаев сослался на свою неопытность как командира подводного ракетносца и, признав перед Аидой Павловной вину, попросил ее совета, кого из химиков стоит взять в первый самостоятельный поход. Она сказала, что подумает, и готова была уйти, как Болюбаш учтиво указал ей на свободное место. Замполит не то чтобы задерживал или старался задержать ее, — нет, он упрашивал не брезговать гостеприимством Арнольда Петровича, выражал все их уважение к ней и к памяти ее мужа. Губы Аиды шевельнулись, похоже, она хотела выразить благодарность, но ничего не сказала, только в зелено-

важых глазах промелькнула печаль. Но тут же на губах появилась улыбка.

— Вы, надеюсь, по поручению командира, — указала на Можарова, — торжественно приглашаете меня на бал? Я не ошиблась, Юрий Васильевич?

— Будьте добры... — только и молвил я в ответ.

— Арнольд Петрович, вы не обижаетесь? — подала она руку Можарову.

— Ничуть, Аида! Юрий Васильевич, проводи гостью до трапа. И не задерживайся! — крикнул Можаров вслед, когда Болюбаш с треском закрыл за собой дверь каюты.

Он проводил ее до проходной. Когда вернулся, бутылка муската так и стояла неоткупоренной, вестовой собирал на поднос бокалы и чашки из-под чаю. Аратский нашептывал что-то капитану второго ранга Галаеву, Ягудин просматривал свежие газеты, а Можаров стоял перед иллюминатором и смотрел на лазурную синеву бухты. Без особого удовольствия дал ему прочесть семафор из штаба соединения: Арнольду Петровичу доверялось праздничное дежурство...

— Что ж, командир, приятно, когда прямо указано — доверяется, — вернул Болюбаш семафорограмму. — Сам отец родной подписался.

— Вот-вот. Еще Моисей завещал: «Чти отца своего и мать свою, тогда хорошо тебе будет и долго проживешь ты на земле».

ФЕЙЕРВЕРК

Возвращаясь к своим мыслям о будущем, я спрашивал себя: почему оно, такое манящее и многообещающее, меньше волнует и тревожит душу, чем воспоминания о детстве, отмеченном трудностями послевоенных лет и вечной грустью матери?.. «Где истина: в том, что было, или в том, что будет с тобой? А может так случиться, и никто этого не заметит, даже ты сам, что твои мечты станут действительностью кого-нибудь другого, гораздо более упорного, чем ты, хотя его посредственность никто не отважится сравнить с твоим дарованием...» Кому принадлежат эти слова? Кому-то из великих или знаменитых? Нет, моей маме, которая всегда умела

мечтать и из всех ее мечтаний исполнилось единственное, первое — вырастить сыновей. Мама прислала поздравительную открытку, и я, перечитав все, что старательно написала ее рука, долго разглядывал рисунок на обороте — праздничный фейерверк... Еще открытка от брата — ходит геологом по Сибири. Открытка из Киева. Телеграмма из Москвы. И письмо от моего друга Валтасара.

«...Дух человеческий продолжает взлеты, дерзания, опыты, временами бесплодные, стремится вырваться за пределы, окружающие его. Догматики, враги новизны, отмахиваются от всего необычного, как от легкомысленных увлечений, скоропреходящего. Более проникательные понимают, что каждому поколению хочется отличаться, стать своеобразным, и это своеобразие определяет очертания будущего. Я не знаю, дружище Юрий, принадлежу ли и буду ли принадлежать вообще к тем, кого стремление взволнованной души ведет к открытиям, достойным выдающихся предшественников, и в какой области это случится (истории, философии, архитектуре), но то, что стало моей профессией, уже не удовлетворяет меня. Тебе легче, ты военный моряк, офицер, ты определился сразу. А я, к сожалению, еще нет. Я хочу вечного! Не смейся, я знаю, кто я такой и к чему способен. Да разве не могу я мечтать о своем Эчмиадзинском соборе, чуде раннего средневековья, или же диве современности — Асуанской плотине? Нужен ли я своей Армении такой, когда у нее были Месроп Маштоц, Ананий Ширакаци, Ованес Туманян и Мартирос Сарьян?.. Саят-Нова писал и пел на трех языках. Я стремлюсь овладеть хотя бы одним, родным. Я скоро оставляю этот меланхоличный приморский берег и переберусь в Ереван сам, если наша семья откажется. У меня желание поступить в университет, учиться тому, что проснулось во мне, что ждет меня, — призванию!..»

То, о чем он писал дальше, свидетельствовало о его первом истощении: во всем поспешные намерения, сплошные жалобы на жизнь. У него большое желание

встретиться со мной и посоветоваться. И он даже упрашивал взять отпуск с единственной целью — приехать к нему, тем более что меня ждет она! . .

«...О, добрый вечер, проходите! — Статная девушка в синем платье с глубоким вырезом и красной лентой в черной косе переглянулась с Валтасаром и еще раз любезно пригласила: — Пожалуйста, товарищ капитан-лейтенант». Из-под длинных, изогнутых ресниц поблескивали большие темные глаза, словно выпрашивающие: способна ли она понравиться с первого взгляда? . . Блестящая смуглость кожи несколько скрадывала незрелость ее как женщины, ту пору формирования, когда девичья непосредственность и неопытность в тайнах истинной женской привлекательности искупаются задиристостью и целомудренным кокетством. Бойко выстукивая передо мной своими каблуками-шпильками, она так громко рассказывала Валтасару какую-то историю, что я чувствовал, как к нам прислушиваются все жильцы верхнего этажа. Из квартиры на меня повеяло накурленным воздухом, и я невольно отступил за порог. Дружные аплодисменты друзей Валтасара вернули меня в комнату, но я вслух удивился, как они могут веселиться в таком пекле. «Для вас, Юрий, мы все изменим!» — сказала стройная девушка в синем декольтированном платье и распахнула настежь окна. «Будем знакомы, Кето», — отрекомендовалась она. «Браво, Кето, ты всех опередила!» — захлопала в ладоши сидящая на диване девушка, которая на первый взгляд казалась старше остальных лет на пять-шесть. Она сидела в кругу мерцающего света, струящегося из торшера, и забавлялась перлоновым медвежонком. Ее золотые волосы рассыпались по плечам, спадая волнами, впитывали в себя это мерцание, что придавало бледноватому лицу особую привлекательность; только глаза ее прятались за очками. Когда я подошел, она отложила медвежонка и поднялась. «Лизетт», — и подала руку. Рука была холодной.

Валтасар извинился передо мной за скромно сервированный стол, отсутствие салфеток, которые его мать сдала в прачечную, и за все, чего не хватило для полного комфорта. «Но у нас есть сардины, сосиски, горчица и хрен, разные бутерброды, а все это приправляется остро-

тами и взаимными комплиментами!» Среди наших общих друзей Валтасар всегда отличался светскими манерами и умением создать товарищескую атмосферу. По решению компании я сел за стол рядом с Лизетт. Меня немного раздражали ее очки в золотой оправе, за которыми трудно разглядеть даже цвет глаз; я был внимательнее к Кето, которая тоже заинтересованно поглядывала на меня и при случае наступала мне на ногу под столом. И чем чаще Кето пригубливала из бокала, тем больнее наступала острым каблучком на мой ботинок, и все это у нее получалось ненароком, словно без всякого умысла. Лизетт же на меня не посягала. Зная множество остроумных анекдотов и историй, она неумолимо веселила общество, а заодно веселилась и сама.

Пила вино и шутила со всеми по очереди — и с теми, кто ее затрагивал, и с теми, кто остерегался. Вдруг обратилась и ко мне: «Кето нравится вашему другу. Лучше провозгласите тост, чем приставать к Кето». — «А вы свободны, Лизетт?» — «Да, я свободна». — «Великолепно! Прошу вас снять очки». — «Они кому-то мешают?» — «Никому, но я хотел бы...» Она удовлетворила мою просьбу, и я увидел, какие у нее лазурно-голубые глаза и какая она вся нежная-нежная... «За любовь, Юрий!» — крикнула мне через стол разгоряченная Кето. «Пусть будет так», — ответил я...

Еще на катере Можаров спросил меня, как и где я хочу провести отпуск. Если мои личные планы не отвечают тем, что предлагает штаб, а именно — пребывание в санатории вместе с экипажем, — то я волен ехать куда угодно. В таком случае Арнольд Петрович будет отдыхать с матросами. И возьмет с собой жену и дочку. Флотский санаторий находится на берегу реки с живописными видами, с грибными местами в извечном лесу и неплохой рыбной ловлей в поймах. Если же я решу провести этот отпуск с нашими атомоходами, командир планирует себе автомобильное путешествие в Заволжье, о котором слышался от Галаева и где никогда не бывал. У меня уже было намерение ехать с экипажем, как вдруг мое решение пошатнулось от напоминания Валтасара о ней.

«...Мальгаши с Мадагаскара, — почему-то начал рассказывать Валтасар, — считают, что девичья непорочность — позор. Поощряемые родителями, незамужние мальгашки стараются отдаться сильным мужчинам и чувствуют себя счастливыми, имея от них потомство. В способности рожать — высшая ценность женщины, и та, что докажет это, станет желанной невестой. Даяки с острова Борнео изменяют друг другу без трагических последствий. Разве что муж-рогоносец требует потом с соперника выкуп, и тот никогда не отказывается от подобной чести». — «Это аморально». Меня разозлила не тема его рассказа, а то, что он начал его в присутствии женщин. Но Кето добавила: «Еще Мечников предостерегал — не подавлять половой инстинкт». — «Кето, скажите, на кого вы учитесь? На медика или химика?» Кето улыбнулась мне уголками розовых губ. «На историка. Вас, Юрий, интересует что-нибудь из истории развития семьи и любви? Во все формации, кстати, женщинам, как и мужчинам, было вовсе не безразлично, с кем вступать в интимнейшие отношения... Вы довольны?» — «Да. А кто вы, Кето, по происхождению? Знаете?» Кето без всякого хвастовства ответила: «Еще бы! Из княжеского рода Чавчавадзе по матери. Мой дед Реваз Чавчавадзе в гражданскую войну командовал эскадроном в Железной дивизии Гая». — «Благодарю, Кето, за исчерпывающую информацию». — «Не рановато ли благодарите, Юрий? Вы бы могли поинтересоваться другими моими данными!..» Валтасар включил радиолу и пригласил Лизетт танцевать. За ними вышла на середину комнаты студенческая пара, оба в клетчатом. Кето подхватил молчаливый инженер из Баку, тоже, как мне подумалось, вероятный претендент на ее красоту. Под вой саксофона все три пары вмиг сошлись воедино и слились в одном бешеном вихре. Мне и раньше доводилось наблюдать современные танцы, при исполнении которых телодвижения напоминали то Лаокооновы муки, то игры туземцев. Но меня раздражало, как вела себя Кето: она млела в сильных руках партнера, отчего гас ее искрометный взор, а губы жаждали поцелуя. Студент отважился приблизить к ней уста, но в это время кто-то невольно ойкнул и все три пары замерли, рассыпались. Только в центре круга, словно боясь сойти с места, стоял обескураженный Валтасар. Никто не сообразил, что

случилось, кому нехорошо. Валтасар осмелился поднять ногу, и все увидели осколки от раздавленных очков Лизетт.

Лизетт снова села возле меня, и уже ничто не побуждало ее к шалостям. Мы уединились в разговорах, незаметно для себя окунулись в заоблачные дали. «Ну, погоди, я тебе это когда-нибудь припомню! — погрозила кому-то Кето. Отошла и еще крикнула: — Разыщу и уничтожу!» — «Серьезно?» — «Это будет жестокая месть! Не забывай, что я происхожу из княжеского рода!» Вызывающе отбросила назад косу, приняла презрительный вид, а уже потом и декольтированным бюстом повела, и руками взмахнула; и, постукивая каблучками туфель в такт кубинскому ритму, закружилась голубым цветком в вихре хабанеры. Валтасар выпрямил грудь, подтянулся и, отбивая горячий ритм, направился навстречу Кето. Они сошлись плечом к плечу под дружные аплодисменты друзей. «Юрий, поверьте, Кето влюбилась... Вы чересчур нравитесь ей. Обратите внимание». Я смотрел и ничего подобного не замечал: голубой цветок двоился в моих глазах, словно извергал огонь из вулкана хабанеры. И в этом пекле вот-вот могла сгореть пламенная Кето — черная коса, красная лента. Лизетт почему-то задрожала и крепко прижалась ко мне. Ее руки стали еще холоднее, чем до сих пор. Я взял их в свои и погрел ладонями.

— Товарищ капитан третьего ранга, позвольте ваш парадный мундир.

— Для чего, Рамир?

— Командир сказал.

— Командир? Для чего?

— Чистить будем, гладить будем. И медали чтобы блестели.

— Спасибо, Рамир, это я и сам могу.

— Нельзя перечить, товарищ капитан третьего ранга, если сказал командир. Он лучше знает.

— Тогда бери, если лучше. А что я должен делать?

— Ничего. Сидите и читайте. Мы управимся, как на увольнение... За семь с половиной минут.

— Почему за семь с половиной?

Рамир показал белый слиток крепких зубов.

«Ш Мундир любит мастерство. Командир сказал, что вестовой Рамир мастер на семь с половиной минут, а потом Рамир может все испортить. Командир не шутил, товарищ капитан третьего ранга, он прав! — И шмыгнул носом, словно простудился. Опережая меня, вестовой открыл шкаф и унес мундир с собой.

Четверть века назад швейцарский химик Альберт Гофман открыл лекарственный препарат ЛСД. Это изобретение, по словам прессы, как никакое другое вызывает множество споров, у него упорные защитники и непримиримые недруги. Его лечебные возможности сказочны, ему покоряются алкоголизм, шизофрения, детские неврозы. Он облегчает страдания безнадежных больных. Но этим препаратом начали злоупотреблять искатели острых ощущений для возбуждения мистических образов, минутного транса, поскольку тогда контроль над временем отсутствует, время и пространство удивительно изменяются... Что-то подобное творилось со мной утром после Валтасаровой вечеринки. Я проснулся с горькой, щемящей болью в сердце, с болью в голове, раскалывающейся от клокотания винных паров, раздражающих мозг, туманящих сознание. Я был отвратителен сам себе, казалось, что мое достоинство растоптано мною же. Еще чудились огненные змеи, похожие на птерозавров, исполинские диплодоки и мамонты, будто я отведал препарата ЛСД. Как произошло, что я утратил самоконтроль, потерял разум? Веки точно плавилась, я с трудом раскрыл глаза — лежал около окна, на раздвинутом диване, служившем кроватью. Я был накрыт накрахмаленной до твердости простыней. Сквозь открытое окно ко мне заглядывала светло-зеленая виноградная ветка, и из-под лапчатого листа полулучом пробивалось раннее солнце. Я отвернулся от его нестерпимой пронзительности и сразу же оцепенел от ясного и острого, как солнечный луч, взгляда Лизетт. Свежая и прозрачная, немного смущенная, она будто боялась моего прикосновения и, прижавшись к краю дивана, лежала бочком, опираясь на локоть. Свободной рукой каждый раз поправляла волосы, спадавшие на лицо, с которого не исчезала тень кротости и смиренной печали. Я попытался подняться и обнять Лизетт, притушить неловкость, в которой неужи-

данно очутился, избежав укора ее тревожного взгляда. Лизетт разгадала мою мысль и окончательно застыдилась, краска залила ее щеки, шею, грудь — все открытое, не припрятанное простыней. Сразу же померкла синева ее глаз, погасло все, что в них светилось. Стыдливость Лизетт передалась мне, и я, тоже чувствуя неудобство, поспешно укрыл ее всю. «Не молчи, Юрий», — тихо попросила меня. «Я забыл все детские сказки». — «Понятно... Я тебе уступила, и ты осуждаешь... Да, моему поведению нет оправдания». — «Не казись. Чего вдруг?» — «Тебе легче, ты мужчина». — «Лиза, ничего не случилось. Мне грезилась диплодоки и мамонты. Я только хотел тебя поцеловать». — «Понятно... Тебе так удобнее уйти отсюда и не волноваться...» — «Никуда я сейчас не хочу идти!» — «Ты достоин моей любви», — прошептала она и несмело прижалась ко мне, ненароком коснулась моей груди жалами персей, нарушила мою еще некрепкую цельность. Спустя некоторое время заставила отвернуться к окну, накрыла всего меня простыней и скользнула с постели. «Через полчаса мы убежим на море. В холодильнике у меня две бутылки «Мокко»...» Я лежал под простыней, раскрыв глаза, и изучал расплывчатое красное пятно солнечного диска, который поднимался над виноградными ветками, один лучик подомашнему улегся на простыне. Лизетт приставила к постели стул, на котором была сложена моя одежда, и вышла, чтобы не смущать ни меня, ни себя.

...Когда я оделся, она вернулась в комнату, как и вчера, в очках, с насмешливой улыбкой на губах, подкрашенных бледно-розовой помадой. На лице неприступная строгость, ни смиренной кротости, ни синевы глаз. «Лиза, где ты взяла новые очки?» Лизетт перестала усмехаться, сказала, что у нее всегда есть запасные очки. Будничное ситцевое платье на тесемках, из-под которого выглядывал ободок купальника, панамы и босоножки-танкетки напоминали, что она хочет убежать со мной на море. «Скоро сюда придет старшая сестра с мужем». Я спросил Лизетт, где можно умыться, и она провела меня к рукомойнику, прихватив из шкафа вафельное полотенце. Теперь я разглядел место ночлега: это была одна из приморских частных дач. Лизетт открыла холодильник и начала собирать в сумку все, что можно было взять. «Лиза, у меня нет времени купаться, я дол-

жен сегодня ехать. Кончается отпуск, а я преступно не побывал еще у родителей в Еланце. Ты слышала... о Еланце?» — «Я тебя не задерживаю», — холодно сказала она. На скорую руку освободила сумку от угощений, порассовывала бутылки и свертки в холодильник, прибрала постель, старательно осмотрелась вокруг и сказала: «Я тебя провожу, а то еще заблудишься». Мы прощались на остановке такси. Из Москвы я написал подробное письмо, и она не ответила. Теперь снова объявилась, через два года... «Она ссылается на Герцена, на его утверждение, что сожитительство под одной крышей само по себе вещь ужасная. Не зная твоих окончательных намерений, как друг, — писал Валтасар, — уверяю, что она тоскует по тебе...»

Подъезжали и отъезжали легковые машины флагманов всех рангов — черные «Волги» сменялись голубыми, серыми и кофейными, и каждый, кто выходил из легковой, считал за честь поздороваться с дежурным по соединению, а заодно поинтересоваться моей особой. В «ЗИМе» Богдана Николаевича прибыла Лидия Пантелеевна. В темном костюме с орденскими планками в два ряда на груди, она приветливо улыбнулась Можарову.

Мы поднялись по лестнице, застланной ковровыми дорожками и по обе стороны заставленной цветами. В ясном освещении люстр и отблеске зеркал я впервые после Москвы увидел себя в полный рост и удивился, что на атомоходе освободился от академической важности. Приятная теплота наполнила меня сознанием того, что у меня свободный от службы за все последние месяцы вечер.

Лидию Пантелеевну встретил капитан-распорядитель, провел в президиум. Можарову и мне предложил небольшую ложу в конце зала, задрапированную с боков малиновым бархатом, с отдельным входом.

Мы вошли в ложу как раз вовремя: все поднялись, чтобы встретить командующего и членов Военного совета, которые занимали места в президиуме. Андрей Волошко скромно сел сзади, во втором ряду. Лидия Пантелеевна сидела между начальником штаба и секретарем обкома. Русиянов поднялся, и шум смолк. Коман-

дующий не сказал ничего особенного, повторял все то, что обычно говорят на подобных собраниях, но его внимательно слушали. Сначала я не обращал внимания на столик, покрытый красным сукном, который стоял около длинного стола президиума, — оказывается, там лежали награды и офицерские погоны. Командующий назвал среди многих имен также мое и Можарова — Военный совет отмечал наш атомоход.

Русиянов вышел из-за стола, остановился около награды. Начальник штаба зачитывал указ... Назывались воинские звания, фамилии, имена и отчества знакомых и не знакомых еще мне командиров, старших помощников, замполитов, командиров боевых частей. И то, что Можарова наградили орденом Ленина, я сообразил лишь тогда, когда Арнольд Петрович прошел по центральному проходу к президиуму, поднялся на сцену и командующий, пожав ему руку, прикрепил орден.

Галаев принял награду как должное, зато майор Аратский весь пылал от неожиданности и ощущений, переполнявших его, — он долго не мог успокоиться, все поглядывал направо и налево, отвечал на поздравления.

Можарову еще раз пришлось выйти из ложи в президиум — за погонами капитана первого ранга. Этим приказом главнокомандующего очередное звание присваивалось и мне; встретившись в проходе с Арнольдом Петровичем, я отступил и ненароком зацепился своим кортиком за кортик какого-то подполковника-береговика, чем рассмешил всех, кто заметил мою неосмотрительность. Русиянов не удержался сказать мне что-то колко-насмешливое, вроде того, что, мол, следующий раз принесет погоны в ложу, где мы так удобно устроились с Можаровым. Я растерялся, и мое «служу Советскому Союзу» не получилось четким и бодрым, как мы добиваемся этого от всех матросов и старшин. Садиться в ложе после едкой шутки Русиянова как-то уже неудобно, отыскав сзади свободный стул, я присел так, чтобы мне было видно все, а сам оставался незамеченным. Закончилось вручение ценных подарков Военного совета, с приветствием выступил секретарь обкома.

Первый этаж Дома флота был отведен под буфет, клуб шахматистов и комнату сюрпризов. Здесь, как значилось в приглашениях, работали кафе и телевизион-

ная комната, открылся для прогулок зимний сад-оранжерея.

Я еще не успел поздравить Арнольда Петровича, как его окружили командиры лодок, требуя устроить им фейерверк из шампанского и бенгальских огней. «Как равный равного!» — пожал мне руку Галаев, и я сказал ему, что тоже рад нашему совместному плаванию с Можаровым. «Кавторанг Болюбаш, будем считать, что стена взаимной неприязни между нами разрушена!» — «Принимается, командир Галаев!» Из зала все выходили и выходили в фойе именинники этого торжества, их обступали те, кого будут поздравлять на следующем празднике, говорились необходимые банальности, и от этой общей суеты, шума мне стало тесно и душно. «Посмотрю на зимний сад», — решил я и направился к лестнице. «Юрий Васильевич!» Во всем солидный и чересчур рассудительный, Можаров сошел за мной торопливо, словно я собрался бежать от него.

«За парное количество погружений и подъемов! Законный тост подводника!» — басил кто-то в буфете.

Можаров подвел меня к женщинам и сначала отрекомендовал своей Тенти, а также жене Галаева и Аратской, которая, не называя себя, требовала ответить, куда девался ее Мишель. «Юрий Васильевич, поскольку я на службе, попрошу опекать мою Тенти!.. Дорогая женушка, поберегите моего замполита от посторонних красавиц!» — «Арнольд, а почему я не вижу Аиды Павловны?» — «Не знаю, спроси Болюбаша». — «Как же это вы сплеховали?..» По-праздничному оживленные, в вечерних туалетах, дамы, которым отдал меня Можаров, дружно заявили, что отказываются от любых угощений и прогулок и категорически требуют проводить их в танцевальный зал. Маленькая Тенти, прическа которой отличалась особым вкусом, как и весь ее туалет, взяла меня под руку, и мы направились в зал, где уже гремел духовой оркестр.

Капитан-распорядитель стоял в центре зала и подавал знаки дирижеру заканчивать исполнение флотского марша, начинать вальс. Оркестр оборвал бравурную мелодию, выждал паузу; дирижер-подполковник взмахнул палочкой, музыканты набрали воздух в легкие, и, словно покачиваясь на волнах нежного моря, поплыли звуки старинного вальса. Капитан-распорядитель подошел к

вице-адмиралу Русиянову, попросил разрешение пригласить на танец молодую адмиральшу, галантно ввел в круг, обхватил ее тонкую талию и под восхищенные взгляды закружил в вальсе. Вслед за капитаном в круг вошло еще несколько пар, в основном те, что стояли ближе к командующему и штабным. Я взглянул на Тенти и в ее черных оливках глаз прочел нетерпение.

Она была легка и грациозна в танце, настолько легка, что я не чувствовал прикосновения ее руки, лежащей у меня на плече, не ощущал ее затаенного дыхания и поразился, что кончился этот неугасимый старинный вальс и мне нужно вести Тенти назад к колонке, под которой мы оставили Галаеву и Аратскую. Следующий танец нужно было откружить с кем-нибудь из них, а мне так было хорошо с Тенти, что невольно подумалось о необыкновенном счастье своего командира. К великому моему удовольствию, Галаев и майор Аратский стояли уже возле жен, выслушивали Аратскую, которая не переставала о чем-то говорить им обоим. «Нет, нет, — закончила она, когда я подвел к ним Тенти, — мы с Мишелем ни в какие моря больше не пойдем! Нас ждет серьезная научная работа! Да, да...» — «Михаил Михайлович просил меня взять, сам, лично, — возразил Галаев. — Я доложил начштаба, и он одобрил. Есть приказ!» — «Нет, нет, приказ отменят! — не сдавалась Аратская. — Как же это можно?.. Мишель заслужил орден! Скажите, разве много врачей на флоте имеют боевые ордена в мирных походах? — И уже к Тенти: — Я в восторге от тебя!.. Как тебе идет это парчовое платье! Здесь ни у кого нет подобного наряда, разве только у Русияновой!.. Она — само блаженство! Ты заметила?» Аратский чувствовал себя так, словно его вот-вот лишат награды и отправят под домашний арест; на мое поздравление он молча кивнул, показывая глазами на жену, которая способна испортить праздничное настроение кому угодно.

Андрей Волошко с Лидией Пантелеевной открыли туртанго, и майор, покоряясь жене, пригласил Галаеву. Аратская познакомилась с Тенти какого-то капитан-лейтенанта, и тот каждый раз, когда они с Тенти танцуют, оказываясь поблизости, благодарил Аратскую признательными взглядами.

«Напрасно Арнольд Петрович волновался, что его Тенти будет скучать на вечере. Нет, теперь мне к ней не

подступить». И я с облегчением почувствовал себя если и не лишним здесь, то и не обязательным.

Заглянул в клуб шахматистов, но там никого не было, и это тоже почему-то вызвало облегчение. В телевизионной комнате перед экраном, который демонстрировал женские модели весенне-летнего сезона, сидело двое пожилых мужчин — капитан третьего ранга в отставке и усач в темном костюме. Ни одного из них я не знал, но задержался, чтобы послушать усача, который, изредка поглядывая на экран телевизора, убежденно говорил:

— Мода? Это кратковременное господство тех или иных вкусов в определенной общественной среде. Она проявляется во внешних формах быта, но не может нести в себе коренные смены художественных стилей. Ее популярность неустойчива, скоропреходяща. И так во всех проявлениях жизни... Но есть мода в политической сфере, более опасная, чем мини-юбки! Значительно более опасная...

Усач искоса взглянул на меня и замолчал. Я вышел, чтобы не мешать им, и сразу же направился в зимний сад-оранжерею, о котором наслушался от товарищей и фотография которого украшала четвертую страницу приглашения.

Аида предстала предо мною как владычица подводного мира, где женская мягкость и живой ум прикрыты внешней недоступностью и властностью. «Юрий Васильевич, куда же вы? Сами пригласили меня, сами и бежите? Не годится, не годится. Я вправе обидеться!» Она говорила это без улыбки. И хотя в зеленоватости ее глаз таилась лукавинка, невозможно было понять, действительно она обижена или же это притворство опытной женщины, которой совершенно все равно, встретился бы я с ней на этом вечере или нет. «Ах, я не поздравила вас с повышением ранга? Где же ваша вторая звезда?» — «В кармане», — с непонятным для себя смущением ответил я. «Браво! Прекрасно сказано!» Ближе подошел адъютант контр-адмирала Выдыша, и только теперь я сообразил, что Аида Павловна пришла на вечер вместе с ним. «Сложилась ситуация... и я должен». — «Не выдумывайте, я вас, Юрий, никуда не отпущу, — твердо заявила она. — Богдан Николаевич лично передавал вам привет. Я от него. Разве не так, Владлен?» — «Я не умею

свидетельствовать», — хмуро сказал лейтенант Карлаш. «Разве я не нравлюсь вам?» — взглянула мне в глаза и протянула руку, затянутую в перчатку. Я сказал, что она нравится не мне одному. Аида повернулась к адмиральскому адъютанту, который беспокойно топтался на месте. На его щеках заметно играли мускулы, а пальцы правой руки тормозили пуговицу на левом рукаве. «Сегодня будет разыгрываться чудесный приз. Я надеюсь на успех с вами, Юрий. Лидия Пантелеевна шепнула мне, что это очень оригинальный сувенир». Она говорила об этом призе, как о деле, наперед предрешенном. Аида взяла меня под руку и, попросив лейтенанта идти впереди, поспешила в танцевальный зал. В фойе она задержалась перед большим зеркалом, оглядела себя. Ей очень шло темно-зеленое панбархатное платье, которое дополняли янтарный браслет и золотое обручальное кольцо. Бальные лакированные туфельки еще больше подчеркивали ее стройность. Наши взгляды встретились в зеркальном отражении, и она улыбнулась мне, словно спрашивала этой улыбкой: «Разве я не очаровательна в этом наряде?»

ТОТ ЖЕ САМЫЙ МАЙ

Сквозь сон Богдан Николаевич отчетливо слышал музыку и, еще не открывая глаз, улыбнулся своему новому утру. Но через минуту встревоженно встал с постели: за окнами его квартиры играл духовой оркестр, и это могло быть только на главном пирсе базы.

Лидия Пантелеевна проснулась тогда, когда он сидел у распахнутого окна, одетый, выбритый, и задумчиво смотрел на причал, где под бравурность флотского марша последние минуты достаивал у пирса подводный атомоход Галаева. Дополнительные швартовы были уже отданы, и атомоход связывали с берегом только два стальных троса, наброшенных на металлические палы. На ходовом мостике она узнала Волошко и Ягудина, других не знала. На носу и корме ракетносца приготовились отдать швартовы две команды по четыре матроса во главе с офицером. Кавторанг Галаев слушал последние наставления и пожелания командующего.

— Милая женщина, — сказала Лидия Пантелеевна

и, прижавшись к мужу, положила голову на его плечо.

— О ком ты?

— О Галаевой. И дети у них хорошие, послушные. Наверное, тоже стоит у окна, провожает. Это ей в первый раз, непривычно. Я зайду к ней.

— Зайди. Лида, ты положила мне носовые платки?

— Положила.

— А серый костюм?

— И костюм... Смешной ты у меня, сам упаковывался, а претензии адресуешь другим. Раньше это за тобой не наблюдалось.

— Раньше у меня нечего было упаковывать.

Оркестр умолк, и стало слышно, как неподалеку, на берегу, свистели скворцы.

— И чего я тебя послушался и не пошел на пирс? — с сожалением сказал Богдан Николаевич.

— Там и без тебя наставников предостаточно, — просто сказала Лидия Пантелеевна. С ней невозможно было не согласиться.

Командующий на прощание пожал руку Галаеву, и тот поднялся на корабль. Команда базы, обеспечивающая отход ракетносца от пирса, взялась за поручни трапов, стянула их на берег. Носовая и кормовая швартовые команды убрали стальные концы на лодку, оставили их на палубе и выстроились лицом к пирсу. Грянул «Варяг».

Забурлили винты, и корабль, тихо отойдя от берега, развернулся на чистой воде и нацелился на выход из бухты. Около бонового заграждения его ждала охрана-сопроводитель, над бухтой показалось звено вертолетов. Как и морской сопроводитель, летчики будут охранять ракетносец до тех пор, пока не исчезнут очертания родных берегов и с ходового мостика ракетносца не подадут прощальный сигнал. Понемногу отстанут сторожевики, со временем и катера, вертолеты. С последнего из них увидят, как опустеет ходовой мостик и наглухо задраится верхний рубочный люк, как закипит вокруг лодки морская вода, которая ринется в цистерны, и как, погружившись сначала носом, а потом и рубкой, подводный атомоход пойдет на глубину. Летчик мысленно пожелает морякам счастливого плавания, когда ляжет на обратный курс.

Небо вспыхнуло грозой, и на город, из которого Богдан Николаевич должен был вылетать в Москву, обрушились потоки дождя, смывая с крыш, балконов, окон, тротуаров толстый ком грязи, оставшейся после зимы. Вода в каменистых ущельях города наполнилась клокотанием горных речушек, подхватывала и несла к морю все брошенное, затоптанное, неподобранное. Над асфальтом за клубился туман, в воздухе почувствовался аромат цветущих вишен, молодого разнотравья.

Сине-черная полоса повисла над аэропортом, лиловые молнии высекались над взлетной полосой. Из-за непогоды вылет самолетов приостановили. Поговаривали, что над Внуковым тоже проходит фронт циклона и Москва не будет принимать более суток. Нетерпеливые пассажиры толпились у касс, наперебой сдавали билеты.

— Ересь. Рассеется — и полетим, — сказал контр-адмирал Болюбашу, который летел в отпуск куда-то на юг, но куда именно, не сказал, отделавшись шуткой: «Преступников все время манит на место прошлых преступлений». Богдан Николаевич не стал допытываться, усмехнувшись при мысли, что для холостого офицера-моряка местом преступления может быть только девичья келья.

— Гроза проходит, — сказал мужчина в макинтоше и шляпе с широкими полями, натянутой на уши. — Тучи разорванные, не сплошняком.

— Это еще цыганка надвое сказала, — откликнулся Болюбаш, зажмурившись от очередной вспышки огненно-яркой молнии и оглушительного громового удара, который пришелся в этот раз на стеклянный купол метеостанции аэропорта. — Привет синоптикам. Следующие жертвы мы с вами, товарищ адмирал... Позвольте ваш билет, я пойду к старшей кассирше, поблагодарю ее за удобство передвижений на обычной железной дороге в комфортабельном вагоне международного класса. Обещаю вам, товарищ адмирал, взять прямой билет до Карловых Вар. В поезде и спокойнее, и надежнее.

Богдан Николаевич заколебался, но отдавать свой билет не торопился. Как и многие пассажиры, они стояли под исполинским козырьком из алюминия и стекла главного здания аэропорта и наблюдали за грозой, раз-

гулявшей над полем, и слушали бульканье дождевой воды, которой захлебывались водосточные трубы. Неподалеку, на посадочной площадке, понуро стоял среди луж их «АН-10» — турбовинтовой лайнер; с крыльев сбегали серебристые струйки, лужа увеличивалась, разливалась, и создавалось впечатление, что эта неуклюжая металлическая машина не способна не только взлететь, но и тронуться с места. Мужчина в макинтоше сокрушенно произнес:

— Под Львовом два таких попали в грозу и развалились на высоте семи тысяч метров.

— А люди? Люди как же? — испуганно спросила полноватая женщина.

— Ничего, словно и не было их. Правда, один старик сектант упал на Говерлу и катился до границы, до Чопа.

Женщина стала ругать шутника за неуместные басни, а тем временем неожиданно объявили посадку на Москву. Богдан Николаевич торжествовал!

Они выполняли чьи-то команды, наставления, предостережения до тех пор, пока не расселись по местам и не пристегнулись ремнями. Не успели передохнуть, оглядеться, как воздушный лайнер пробился сквозь облака — через иллюминаторы в кабину вливалось щедрое солнце. Световое табло, предостерегавшее пассажиров от курения, сразу же погасло, и им теперь позволялось отстегнуться и закурить, но с разрешения соседа.

Контр-адмирал Выдыш сидел на несколько рядов впереди Болюбаша. А тому довелось сидеть рядом с молодой женщиной, напоминающей Лизетт белокуростью и очками, за которыми притаились глаза. А еще — припрятанной улыбкой на пышных губах, выкрашенных блестящей светлой помадой. Щурясь от яркого солнца, она закрыла занавеской иллюминатор. Из вежливости спросила. «Вы не возражаете?» — «Я как вы» — равнодушно ответил Болюбаш. «Мне ничего, я привыкла. А вам, моряку, вероятно, жарковато. Все-таки не море, а небо... Немалое расстояние до морских брызг и ракушек!» — «Вы научный работник? Изучаете ракушки и морскую траву, которая выбрасывается на берег штормом?» — «Вот и нет, капитан второго ранга. Печатаю фельетоны на морально-этические темы». — «Журналистка?» —

«Да». Она достала корректуру статьи, разложила на подвесном столике, начала вычитывать, ставя на полях знаки правки — замены, выделения абзацев, цитат, вставок. Болюбаш невзначай взглянул, о чем там написано, и журналистка сразу же подняла голову, вежливо спросила: «Хотите развлечься? Могу предложить роман». Достала из сумочки «Ното Фабера» Макса Фриша. Болюбаш развернул книгу без особого удовольствия, лишь бы не обидеть учтивую журналистку. «...Я закурил, бросил взгляд в иллюминатор: под нами лежал голубой Мексиканский залив — лиловые тени на зеленоватой воде от стаяк облаков, обычная игра красок, я уже тысячу раз снимал это своей кинокамерой, — я закрыл глаза, чтобы хоть как-то наверстать те часы сна, что взяла у меня Айви; полет больше не нарушал моего спокойствия...» Болюбаш зевнул и закрыл книгу, рассердившись на себя: неужели он так никогда и не домучит этот роман до конца? Третий раз попадает в его руки, и третий раз он его откладывает.

Журналистка спрятала корректуру, откинула спинку кресла и, притворяясь, что ей очень захотелось спать, отвернулась.

Однообразно гудели моторы, слегка вибрировали крылья гиганта, так что чуть позванивали стаканчики с крем-содой на подносе стюардессы. Сначала она остановилась около Богдана Николаевича и вежливо предложила: «Пожалуйста, товарищ адмирал». — «Спасибо», — и, как все пассажиры-мужчины, обвел взглядом стройную фигуру, подумав, что ей очень идет голубая униформа. Не злоупотребляя терпением стюардессы, Богдан Николаевич взял себе крайний стаканчик, одним глотком выпил крем-соду, поскольку пить ему все же хотелось, не распробовав на вкус резковатый газированный напиток. Кто-то сзади спросил: «Что-нибудь существеннее есть?» — «Мятные конфеты подам, когда пойдем на посадку. Существенное подается на дальние линии. Наша считается близкой. Могу предложить свежие газеты и журналы». — «Например?» — «Крокодил», польские «Шпильки». — «А если без юмора?» — «Огонек», «Работницу», зарубежные — «Народная Болгария», «Польша», «Америка». — «Мне «Америку». Она быстро отнесла поднос и вернулась с американским журналом для пассажира.

Богдан Николаевич посмотрел в иллюминатор (солнце осталось где-то за хвостовым оперением самолета) и увидел сквозь разбросанные в светлом просторе гряды буровато-серых туч окутанную сиреневой дымкой даль. Угадывались зеленые массивы лесов, серебристые поймы, знойно-желтые полосы песков на речных берегах, красноватые выемки многочисленных яров и лощин, густота заводских поселков и деревень. «АН-10» пошел на снижение, столкнулся с полосой грозовых туч, и в салоне сразу потемнело. За иллюминаторами, словно на телевизионных экранах, вспыхнули электрические разряды. Грибообразные тучи напоминали атомные взрывы. Самолет содрогнулся, ринулся к земле. Стюардесса подошла к Богдану Николаевичу и, дружелюбно улыбнувшись, пристегнула его ремнями к креслу. «Кто же меня отстегнет на земле?» — пошутил он. «Ох, уж эти мне мужчины! И пристегни, и отстегни... Как дети». — «У вас есть дети?» — спросил Болюбаш. «У моих детей есть и отец», — отпарировала стюардесса. Она снова наклонилась к Богдану Николаевичу, чтобы показать, как убирается складной столик, и он, приложив руку к сердцу, поблагодарил за заботы.

«АН-10» мягко коснулся колесами мокрой посадочной полосы, пробежал положенное расстояние, вырулил на стоянку. Пассажиры беспокойно засобирались. Болюбаш поднялся, сказал журналистке на прощание несколько приятных слов, как благодарность за совместный полет, и остался ждать контр-адмирала, который не спешил выходить из самолета. Он был удручен, что здесь, в Москве, они должны попрощаться с Болюбашем, к которому он так привык, — капитан второго ранга летел дальше, на юг, а ему, Богдану Николаевичу, пересаживаться на поезд, который отходил уже через два часа.

«Какая роскошь! Нам повезло со спутником, будем ехать с моряком! — в восторге воскликнула экстравагантная девица, с треском открывая двери купе. — Славка, иди-ка сюда!» — крикнула в коридор и пропустила в купе тяжело дышащего парня с чемоданами. По всему было видно, что они еле успели вскочить в вагон. Молодые люди были высокими, белокурыми, и если бы не чистое русское произношение, можно было бы принять

их за прибалтийцев. Они походили на эстонцев или латышей не только обликом, но и той пестротой одежды, что распространена на Рижском взморье, где легкость курортного покроя костюмов и платьев дополняется национальным орнаментом. Их чемоданы были сплошь в наклейках с названиями разных городов Советского Союза, а также болгарских, польских, немецких, итальянских, что безошибочно позволяло определить — молодая пара много путешествует. «Кто они? Спортсмены? Актеры?» Богдан Николаевич с интересом их рассматривал. В конце концов они порассовывали чемоданы, сдали проводнику билеты, попросили постели. Парень выложил на стол две пачки сигарет — «Висант» и «Опал», предложил Богдану Николаевичу: «Курите». — «Спасибо. Категорически запрещено». Девушка взяла себе сигарету, но курить в купе не отважилась. «Ничего, ничего», — разрешил Богдан Николаевич. Выпуская в окно облачко дыма, она спросила: «Какое это у вас звание, что так много нашивок?» — «Контр-адмирал, разве не видишь?» — с неоспоримой осведомленностью ответил ей Славка. «Контр-адмирал? Как же это? Адмирал, который выступает против других адмиралов?.. А скажите, правда ли, что на флоте есть такой закон, который велит мыть начисто всю палубу после того, как на корабле побывает женщина?» — «Держать в идеальном порядке корабль — флотский закон», — уклонился от прямого ответа. Она достала из саквояжа женские дорожные вещи, чтобы персесться, и Богдан Николаевич вышел в коридор.

Проводник нес на подносе стаканы с крепким чаем. Постучал в соседнее купе, ему открыли, и Богдан Николаевич ненароком стал слушать громкий разговор между мужчинами. Один из них возмущался: «Кто выдумал, что киноискусство синтетическое? Никакого синтетизма, скорее синкретизм». Его поддержал сочный бас: «Синтетичным может быть только псевдоискусство». — «Синкретизм лежит в основе первобытного искусства, а в современной философии рассматривается как разновидность эклектизма. А эклектизм — это дилетантизм». — «Отдайте пальму первенства в кино его изобретателям!» — «В чем же критерий завершенности?» — И встал в дверях купе, выжидательно поглядывая на контр-адмирала. Он был еще молодой, широкий в плечах. «Так в

чем же критерий завершенности?» — переспросил он. Ему пробасили: «В завершенности всех компонентов». Он твердил свое: «Искусство по своей природе дело глубоко индивидуальное, оно не может быть полиавторским. Вы образованный человек и говорите, что автор синтетичен. Это историческая нелепость!» — «Не автор фильма синтетичен, а природа кинематографа, это объективная истина! — стоял на своем бас. — Нельзя канонизировать какую-то одну грань, одну возможность кино. Мудрость воскресной проповеди, как правило, не принадлежит проповеднику, она принадлежит коллективной мудрости. Но несет, вернее — направляет ее в массы проповедник!..»

Дикторы читали последние известия: «...все попытки маоистов привлечь на свою сторону рабочих кончаются провалом. Их тезис «спонтанности и насилия» в революционной борьбе, взятый из цитатника Мао, отклоняется сознательными пролетариями как авантюристический, отвлекающий от организованных, научных форм борьбы за их права и социальные преобразования...»

— Вы слышали нашу дискуссию? — спросил адмирала знаток кино, все еще раздраженный чьим-то несогласием с его мыслями.

— Допустим.

— И на чьей вы стороне, простите?

«...Основной задачей нового космического эксперимента является продолжение исследований планеты Венеры, осуществляемое автоматическими станциями. В процессе полета по трассе Земля — Венера планируется проведение с борта станции наблюдений физических характеристик межпланетного пространства, в частности измерение концентрации нейтрального водорода и потоков солнечной плазмы...»

— Я не знаю, кто «изобретатель» дискуссий — Аристофан или Аристотель — и кому принадлежит пальма первенства в кино, но уверен, что расходиться во взглядах и вкусах позволено только в пределах настоящего искусства, которое, между прочим, принадлежит народу. Всевозможные теории подтверждаются практикой. Я хорошо знаком с одним старшиной первой статьи, он еще служит и не знаком ни с синтетизмом, ни с синкретизмом, но безусловно талантлив. Его дарование прояви-

лось в том, что забортные шумы на морской глубине он здорово воображает и фиксирует...

Следующее объявление радиодиктора заставило Богдана Николаевича оборвать рассказ и прислушаться: «...Согласно плану боевой и оперативной подготовки Военно-Морского Флота СССР, в Атлантическом и Тихом океанах будут проведены маневры флотов с участием надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и морской пехоты. Основу боевого могущества нашего флота составляют атомные подводные лодки и морская авиация, которые способны решать круг наступательных задач не только оперативного, но и стратегического характера. Маневры охватят большие пространства океанских и морских театров. Действия произойдут на Атлантическом и Тихом океанах, на морях, прилегающих к ним, — Баренцевом, Норвежском, Северном, Охотском, Японском, Филиппинском, Средиземном, Черном, Балтийском...»

Знаток кино покачал головой, выражая восхищение масштабностью флотских маневров. Богдан Николаевич почувствовал себя словно пристыженным, а еще больше обиженным на вице-адмирала Русиянова и свою Лидию Пантелеевну, которые отправили его на курорт перед началом всефлотских маневров, самых крупных за все годы службы.

Богдан Николаевич постучал в двери своего купе, и ему открыла девушка, уже переодетая в дорожную пижаму. «Мы слышали, что у вас, контр-адмирал, начинаются маневры, — встретила она его шампанским. — Мы со Славкой предлагаем тост за вашу боевую готовность...» — «Нет, нет, мне противопоказано. Я закажу себе чаю». — «Чаю вам закажет Славка». — И преподнесла ему апельсин. Богдан Николаевич не отказался. «Вы до самых Карловых Вар, контр-адмирал?» — прикуривала она от зажигалки. «До самых». — «Впервые, контр-адмирал?» — «Да, впервые». — «И мы со Славкой решили еще попутешествовать до Карловых. Бывали и на Золотых Песках, и на Майями, осуществили круиз. Вы не совершали круизов?» — «Не совершал». — «Мы со Славкой не отказываем себе в этом. Увлекаемся аквалангами. Вы случайно не увлекаетесь аквалангами? Скажите, пожалуйста, хоть вы и контр-адмирал, а приходи-

лось бывать на подводных лодках?» — «Хоть и контр-адмирал, а бывал...» Богдана Николаевича забавляла болтливость девушки. «Как там, видны всякие рыбы, осьминоги, акулы?» — «Акулы встречались, осьминогов не довелось встретить» — «Я слышала, что вскоре на подводных лодках будут совершаться туристские путешествия, точно так же, как на турбоходах и теплоходах. Вы поможете нам со Славкой записаться на очередь?» — «И помогу, и одобрю... Путевки дороговаты. Ваши родители имеют сбережения для этого?» — «Нет, мы со Славкой совсем не бережливые. Все, что у нас есть, непременно развозим!» — «Вы работаете? Оба?» — «Мы геологи. Верхняя и Нижняя Тунгуски... Слышали? Славка открыл там большие месторождения полезных ископаемых и газа. Он уже кандидат наук и кандидат в лауреаты!» — «А вы сами?» — «Я?.. Жена-романтик. Мы и поженились в тайге». — «И счастливая ваша любовь?» — спросил Богдан Николаевич, хотя по всему было видно, что она совершенно довольна своей судьбой. «Скажи, Славка, ты доволен мной? — засмеялась она и принялась зажигать новую сигарету. — Тебе удобно со мной?» — «Человеку всегда что-то удобно, а что-то ему мешает», — отозвался Славка и предложил проветрить купе. Богдан Николаевич снова вышел в коридор и остановился возле окна, за которым чернела ночь. Никак не мог успокоиться от объявления ТАСС о флотских маневрах, и если бы не напоминало о себе слабое сердце, он, наперекор предостережениям врачей, стал бы папиросами успокаивать душевную боль.

Он, возможно, выстоял бы около вагонного окна короткую майскую ночь, если бы проводник не напомнил, что нужно передохнуть. Богдан Николаевич вернулся в купе, когда молодая пара уже спала крепким сном с той беззаботностью, которая свойственна только людям, для которых все впереди. Безусловно, они были счастливы, как счастлив каждый, кто уверен в будущем. И Юрий Болюбаш счастлив, если он может выбрать себе любой маршрут, не носить с собой заключение консилиума, не думать о жизни, а познавать ее.

Он лежал с открытыми глазами и смотрел на ночник, светивший синим светом, и не возражал бы против любого света на потолке своей каюты на атомном раке-

тоносце, лишь бы быть с ними там, в далеком море. Отодвинув занавеску, Богдан Николаевич выглянул в окно — поезд стоял на какой-то станции. Рассвет был в белопенном цветении садов, в разноголосье птичьего пения. На перроне шумели крестьянки с корзинами и котомками, собирались куда-то с утра на воскресный базар. За водокачкой заржала лошадь. Простукал молоточками вагонные колеса обходчик. Богдан Николаевич поднялся и вышел в тамбур. Спросил у проводника: «Сколько остановок еще до станции Яблонька?» — «Две остановки, товарищ начальник». — «Остановимся в Яблоньке?» — «Всего на минуту, товарищ начальник». Поезд двинулся, и Богдан Николаевич, вернувшись в купе, собрал свои вещи. Его молодые спутники крепко спали. Он мысленно пожелал им приятного пути и неразлучности со счастьем. И тем, что уже есть, и тем, что будет, — ведь оно меняется соответственно нашим возрастным изменениям и так же, как и мы, способно рождаться и умирать вместе с нами. Счастье не является движимым или недвижимым имуществом, которое завещается детям на гербовой бумаге, — счастье завещают духовно, как честь, как совесть.

ИЮНЬ

На вечернем небе на западе, сначала в созвездии Рака, а потом Льва, ярко блестит Венера. В начале месяца с вечера в более южных районах, ниже и правее Венеры, еще можно заметить Сатурн, который вскоре скрывается в лучах Солнца. Во второй половине ночи в созвездии Рыб виден красноватый Марс и яркий Юпитер. В середине июня планеты приближаются друг к другу.

Пылал огонь, и трещал хворост, пожираемый пламенем, которое вырывалось снизу жгучей искрометностью; и ярко-красные тени вокруг катились по траве; и скрипка, бубен и цимбалы играли без умолку, так, что из струн скрипки и цимбал высекались огоньки, а из бубна

гудело, как из глубокого погреба; и девушки, украшенные цветами, постукивали в танце босыми ногами по зеленой травке, а парни, словно дьяволы, прыгали через костер со смехом и уханьем; и он, молодой и сильный, в двадцать лет, как берест на воле, стоял в стороне от этих игр, и сердце радовалось в этот июньский вечер: сегодня Купала, а завтра Ивана. Потому-то на Купала огонь горит, а парни над ним летают вдоль и поперек. Он стоит в бескозырке с гвардейской ленточкой, в белой форменке, полосатой тельняшке, обхватившей его широкую грудь моряка, и не отваживается перепрыгнуть через горящий костер. «Если ты оробеешь, моряк, — сказал ему седоусый Скрипач, — никакой лихостью не поправить тебе перед девушками своей матросской чести!.. Последний раз играем, последний раз танцуем, и убегут девушки к Черному Ташлыку пускать венки. Послушай меня, старика, покажи мне, кто ты есть, из чьего рода!» И снова взмахнул смычком, и снова на струнах скрипки и цимбал мелькали огоньки, а из бубна загудело горным обвалом; и он взмахнул руками и перелетел через костер раз, и другой, и третий — только мигнула в ясном свете костра черно-оранжевая ленточка бескозырки... Умолкла музыка, исчезли в темноте девушки, и парни разбрелись по селу, а он все еще не уходил от костра и смотрел на угли, погасавшие и вновь вспыхивающие то там, то сям, они перебежали с места на место и, дотлевая, не желали дотлеть. «Огонь живучий, ох какой живучий! — сказал ему Скрипач. — А душа у него холодная, испокон веков греет ее, да никак не согреет ни в печи, ни в поле, ни на рождество, ни на пасху и на Купала не согревается. Холодная душа, как пепел... Как бывает и у людей холодная, хотя всем сначала дается одинаковая, чистая. Со временем в человеческую душу вселяются духи: дух добра — Светоч и дух зла — Химера. Человек растет, и растут в нем духи, растут и поучают-подсказывают. И человек прислушивается к ним — то к одному, то к другому. Какого больше облюбует себе — Светоча или Химеру, — тот дух и берет верх навсегда. Другой же остается в душе, как цветок, у которого не будет ягоды... Не грусти, моряк-казак, в твоей душе созрел Светоч, это я точно знаю, потому что кому же об этом знать, как не мне! Передо

мною не скроются никакие таинства дня и ночи. Еще когда я был молодым, жил лирник Абакум, к которому наведывались все праведные души, как-то Богуна и Наливайко, Довбуша и Кармалюка, Вакуленчука и Матюшенко, Котовского и Щорса. Лирник Абакум и показал дорогу до папоротника, что цветет в эту ночь. Никто еще из моряков не срывал цветка папоротника, а тебе суждено сорвать... Не испугаешься?» — «Ничего я не боюсь, — ответил он, — но для чего мне этот цветок? Чтобы найти клад? Не нужно мне его, у меня все есть! И мать, и доля, и земля, и море, и любовь не замешкается... А золото? Зачем оно? Разве что годится для девичьих подковок?» — «Никакого клада я тебе, моряк-казак, не обещаю, а цветок папоротника пригодится для нее, твоей избранницы, когда будет ждать тебя из далеких морских походов. Чтобы и ветры тебе были попутные, и мачты не гнулись, и все четыре края света были видны. Так пойдешь или нет?» — «Пойду», — сказал он Скрипачу, и тот повел его по тропинке в рощу, которая темнела на фоне небесной синевы.

Скрипач оставил его в гуще ясеновой поросли и сразу же пропал. «Где вы?» — крикнул он, и только эхо откликнулось. Пошел наугад, продираясь сквозь кусты терновника и боярышника, но удивительно — ни разу не укололся, не споткнулся, и колючие терновые ветки, касаясь его лица и рук, казались бархатными, чуть щекопали. Кончились заросли, открылась поляна с тремя дубами и звездным небом над ними. Звезды качались в вышине, словно на волнах, то всплывая на поверхность, то ныряя в глубину, так, что их совсем не было видно. Он залюбовался ими и впервые увидел, как рождается месяц — хрупкий серпик. И в роще все изменилось, она ожила: забегали звери, запорхали ночные птицы, закружили лебедушки. Лебедушки-девушки во всем белом. Среди них и его Лида. Он бросился к ней, но она, не узнав, спряталась в кругу лебедушек, обступивших ее. Над рощей пророкотал вертолет, отбросив огромную тень, и девушки-лебедушки рассыпались в разные стороны. Мгновение — и нигде ни одной. А он пошел дальше, не зная куда. Вскоре попал в пролесок и дошел до сухостоя, который светился против месяца голыми, искрученными ветвями до самого неба. «Обойду его», —

подумал, и вдруг около узловатого корня, из-под густой листвы папоротников, мигнул светлячок. «Возьму себе на память об этой Купаловой ночи, буду показывать товарищам на лодке», — решил он и нагнулся. А этот светлячок словно ожил, поднял красную головку-зернышко и медленно распустился в невиданный яркий цветок, ярче розы или гвоздики. «Цветок папоротника!» — невольно вырвалось из его груди, и он торопливо, с бурно бьющимся сердцем сорвал его обеими руками... И закричали над ним чайки, и зашумел морской прибой, и не стало ни роши, ни серпика месяца, ни звезд, ни ночи, а вместо них необъятность моря с белой пеной, с парусником на волнах. А он стоял на капитанском мостике и держал в руках не цветок папоротника, а подзорную трубу, и команда парусника безупречно выполняла все его команды. «Курс норд-вест! Рулевой, сколько на румбе?» Рулевой что-то ответил, но не было слышно, потому что ругался боцман, его старший брат Степан: «Блага, блага для всех! А не все блага твои мне подходят!.. Ты оскорбил уважаемого человека, почетного колхозника! Можно подумать, что обеднела бы ваша смета, если бы ко всем бильярдам да купили пенсионерам одно домино!» — «Не в смете закавыка, отец, — защищался кто-то, — закавыка в том, что это глупая игра, высмеянная!» — «Кем высмеяна? — возмущался боцман-брат. — Не хочешь сам играть — не играй, а ему нечего указывать. Не твоя старость, а его, и не тебе ею распоряжаться!» — «Вон кино смотрите, цветное, широкоэкранное!» — «Ты ему домино подавай!» «На флоте самая интеллектуальная игра — перетягивание каната», — почему-то подумал он и передал подзорную трубу помощнику. Взглянул на солнце, которое стояло прямо над парусником.

Солнечные лучи упали на его глаза, и он проснулся, радуясь хорошему отдыху, чувству обновления. И то, что минутой раньше видел и ощущал себя двадцатилетним, утешало его и одновременно поражало сознанием неотвратимости жизни. Но эта мысль несколько не испортила ему настроение. Он стал прислушиваться к разговору брата с сыном, однако в это время к воротам подкатил на мотоцикле почтальон, и они, замолчав, пошли навстречу. А ему не хотелось вставать, лежал и нежился

на топчане в саду, под раскидистой яблоней, где он спал. Ему нравилась краткость июньских ночей, когда вечер почти соприкасается с рассветом.

Степан Николаевич благодарил брата за то, что тот заехал к нему погостить, пренебрегая Карловыми Варамы, без которых и дед их перешагнул сто двадцать лет, и отец не считал своих лет. Они засиживались до последней девичьей песни, до первых петухов, и только тогда Степан Николаевич неохотно поднимался и говорил: «Спокойной ночи, спи, Богдан». И он, дождавшись второй, иногда третьей переклички петухов, медленно засыпал, наслаждаясь уже той дремотой, которая дает отдых и не отделяет от окружающего мира. Яблоня отцвела до его приезда, и аромат ее листа и зеленой завязи дополнял утреннюю свежесть сада. Среди ветвей, словно на ткацком станке, перемежались лучи и паутинки, прыгали воробьи, наполняя сад чириканьем. За домом на высоком ясене пищали в гнезде птенцы, в картофеле мяукал котенок. И все это, знакомое с детства, вызывало в нем радостное волнение. «Как мне хорошо! — думал он. — Как мне хорошо!.. Да, да, я это почувствовал сразу, еще там, на станции, когда сошел с поезда...»

... На привокзальной площади не было ни одного автобуса до Крутояров: то на Тарасово, то на Белые Мельницы, то еще куда-то. «Из Крутояров, товарищ генерал, вон подвода! — назвав его не адмиралом, а генералом, подсказал пассажир, которому нужно было в Верблюжку. — За кленовым рядом!» Крутояровский возница как раз подкармливал лошадей, на свежую траву сыпал овес, будто удобрял ее этим овсом. «Вы из Крутояров? Здравствуйте, товарищ», — весело поздоровался с возницей. Ему вспомнилось давнишнее путешествие от Минеральных Вод до Пятигорска на бричке Пантелся Кузьмича, которое никогда не забудется. Это путешествие начиналось точно так же: возница подкармливал лошадей овсом. Неплохая примета!.. «Извините, мы с вами не знакомы. Кто будете? К кому? В гости?» — «В гости, к брату Степану Николаевичу Выдышу», — ответил, еще не уверенный, что посчастливится ехать. «Узнаю, узнаю, — снял кепочку возница и, поглаживая

взлохмаченные реденькие волосы, слегка поклонился. — И по форме узнаю, и по содержанию... Прокоп Малина сам буду, приезжал встречать дочку Нинель, учится на радиотелеграфиста». — «Встретили?» — «Теперь дети дают родителям телеграммы и забывают об этом, — вздохнул он. — А Степан Николаевич уже на пенсии, вся бухгалтерия перешла к сыну. Скупой, как сам министр финансов. На домино для Дома культуры не разживешься». — «Так поедем?» — «С вами? На подводе? Чтобы я перед людьми от стыда сгорел? Такого важного гостя посадить на дерюгу? Не-ет!» — «Хорошо на дерюге, очень хорошо! — засмеялся он и бросил свои вещи на подводу. — Я ведь сам... подводник!» Прокоп Малина почесал за ухом. «В нашем райпарткоме есть три «Волги» разных мастей. Позвольте доложить о вас товарищу секретарю, побожусь, секретарь велит отправить вас в соответствии с заслугами». — «Не нужно никому ни о чем докладывать. Я по лошадям соскучился». — «Вот это наш человек! А пиво любите?» В станционном буфете они с удовольствием выпили по кружке пива из бочки и поехали... Подвода катилась по ровному грейдеру. Бодро бежали лошади, возница Прокоп подсвистывал в такт пению жаворонков, висевших над нивами в недвижимом полете; под дуновением ветерка переливалась созревающая пшеница, покачивались медово пахнущие головки цветущих подсолнухов. Впереди до самого горизонта раскинулось молочно-белое гречишное поле. Они миновали его, а горизонт отступал куда-то дальше, за яровые, затем еще дальше и еще, будто предоставляя ему, Богдану Николаевичу, возможность полюбоваться степным привольем. Недалеко от Крутояров газовики прокладывали через степь трассу; ощутиمو подпрыгнув на выбоине, подвода съехала с грейдера на проселочную, и Богдан Николаевич, чтобы ненароком не выпасть, ухватился за передок обеими руками. Прокоп засмеялся, показывая прокуренные зубы: «Говорил же вам, райкомовской «Волгой» было бы и быстрее, и удобнее». Курил Прокоп много, хмурил лицо и слезил глаза табачным дымом, но папиросы изо рта не выпускал. «Зато осенью мы будем с газом. И дорогу заровняем. А так еще должны будем с вами дважды подпрыгнуть, как и первый раз. Под буераком и перед самыми Крутоярами — там водопровод ставят и какой-то канал выду-

мали. С дорогами лучше стало, а когда-то бывало — от конюшни до станции и назад до конюшни, извините, так тебя потрясет, что станешь легче воробьиного пера. Сколько писалось про наши дороги!.. Теперь уже не мы пишем, а нам правительство записывает, — значит, наездимся вволю...»

Он лежал и слышал, как мотоциклист-почтальон около ворот все заводил и никак не мог завести мотоцикл, который заглох, — моторчик ворчал и кашлял на все село, и запах жженого масла достигал сада. Старший брат и племянник что-то подсказывали почтальону. «Покатим? — отозвался еще кто-то с улицы. — На сколько лошадиных сил твой «ижевец»?»

«Все лошадиными силами измеряется! Что трактор, что аэроплан, что ракета! А толку что?» — спрашивал его, Богдана Николаевича, Прокоп Малина на ужине, который устроили Выдыши в честь родственника-адмирала. «Это же условность! Для измерения! Как и вольты, и киловатт-часы, как и метры!» — пояснял Прокопу Выдыш-старший. «Условность? Не возражаю. О вольтах не спорю. Да все-таки лошадь есть лошадь, а лошадь лошади рознь. На пастбище все они хорошо пасутся да еще если слепень не кусает и трава высокая. А на деле выходит, что одной плуг таскать не впервой, а другой подавай арену, подходит для цирка. На вороном поспеешь к венцу, а на гнедом и на развод не поспеть!.. Есть сила проворная, есть сила ленивая! Так нужно условно говорить: столько-то проворных лошадиных-сил!» Интересно мыслит Прокоп, и он, адмирал-политком, был не против того, чтобы подольше поговорить с Прокопом, но на ужине перебивали почти все Крутояры — и стар, и млад — и вышло так, что он с Прокопом даже не попрощался: возница встал из-за стола с последними гостями и сразу скрылся за усадьбой. Хмельной и счастливый оттого, что Выдыши пригласили его на знаменательное гулянье, Прокоп все заводил да заводил одно:

Туман яром, туман долиною,
Туман яром, туман до-оли-ино-ою...

Что касается песен, то каждый крутоярец на это ма-
стак — и на работе, и дома. Станут вдвоем — дуэт, сой-
дутся трое — уже трио. Хор-звено не диковинка, если
есть бригадные хоры и в каждой бригаде непозаимство-
ванные солисты. И первые голоса прекрасные, и подго-
лоски не хуже. Напоется село, ляжет на отдых, а у де-
вушек будто усталости нет, поют и никогда не закончат
о любви, о парнях-романтиках, которые забыли их,
в дальние края поехали: кто на Абакан и Тайшет, кто
на Ангару и Енисей, а кто еще дальше — на Камчатку,
на Диксон.

Вчера об этом говорилось на сенокосе, под лесополосой. Косили траву попеременно: одну полосу проходил Выдыш-старший, другую — Богдан-адмирал. Непривычно Богдану Николаевичу махать косой, тяжело давался укос, жестко для его ладони косовище. Одолевал усталость, не сдавался. Полдничали там, в лесополосе, жевали душистый хлеб и запивали свежим молоком из глазурированного кувшина. «А почему бы и не кручиниться девушкам? — не спрашивал, а утверждал Степан Николаевич. — Природа свое берет, а парней не хватает. Везде наши парни — и на стройках, и в армии, и на флоте. Хоть бы вы своих демобилизовали. Нам бы сюда отделение морячков! А то все берете да берете». — «И берем, чей срок по закону подходит, и демобилизуем, Степан... Но в мире ведь не все так просто, в мире более чем сложно. Политика нашей партии известна — против войн, за мирное сосуществование. Но не перевелись еще среди империалистов любители военных авантюр. Так пусть не думают, что мы лыком шиты». — «Это верно. Я понимаю. Читал в газете, что маневры у вас... Без них нельзя, порох должен быть сухим. Пока натовские и прочие вояки бряцают оружием, нам без маневров не обойтись. Как-то оно вам в море? Как оно к себе приучает?» — «Жизнью. Море создаёт людей по своему подобию. Кто ему не поддается, того оно выбрасывает на берег, как тину». — «Ты, выходит, сразу поддался?» — «Не сразу. Всяко бывало. Самодисциплина — самое главное. Корабельная служба — прежде всего работа, ежедневная, черновая, как здесь у вас, в степи.

Вы заботитесь о хлебе, а мы — о боевой готовности. А если копнуть глубже, всем станет ясно, что это взаимосвязано». Степан Николаевич сказал после молчания: «Как ни хорошо вам в море, а все-таки возвращаетесь на грешную землю, на бережок». — «Моряки возвращаются не на землю, а в море». — «Скажи, Богдан, как перед присягой, исправный из тебя адмирал вышел, незаменимый или так... вообще, для счета?» — «Незаменимых, как говорится, нет». — «Неправда. Был у нас кузнец, цыган Ладо, на все Крутояры кузнец. Из тех цыган, что тебя, пацана, спасли из озера и зимовали все зимы до коллективизации вместе с нами. Так у него был талант кузнеца. И хаты покрывал сторновкой. Не хаты были, а игрушки! Нет теперь такого и не скоро будет!» — «Так вот, Степан, я — адмирал вчерашний, как кузнец, который покрывал сторновкой хаты. А если хочешь знать, то я политический адмирал, комиссар то есть... По партийной линии». — «Ага, значит незаменимый!» Он, Богдан Николаевич, сорвал колосок с пшеничной нивы, которая накатывалась на лесополосу волна за волной, и попробовал молочко зеленого зерна. «Ну и вкуснота! — вырвалось у него. — Тяжелый каравай обещаете?» — «Не только обещаем, а наверняка дадим, — заверил Степан Николаевич. — Хватит этого золота еще на одну твою лодку?» — «С этой нивы? Нет, не хватит». — «А из всего крутояровского колхоза?» — «И со всего колхоза маловато. И с пяти колхозов». — «Дорого вы нам обходитесь, Богдан, дорого... А твои парни, моряки, знают всему цену?» — «Знают. Мы ничего от них не скрываем». — «И не скрывайте. Лишь бы все ими зналось и не забывалось...»

Стреляя глушителем, мотоцикл помчался назад в село. Богдан Николаевич сел на постели, уверенный, что старший брат не замешкается заглянуть к нему под яблоню. Он и заглянул, сначала робко из-за плетня, словно проверяя, проснулся ли гость, можно ли его беспокоить.

— Заходи, заходи, — поторопил Богдан Николаевич старшего брата, будто тот стоял на пороге. — Что там, какая-то депеша?

— Доброе утро. Лида поднимает тревогу. Телеграмма. — И подал бланк, заполненный от руки школьным почерком:

«Все удивлены взволнованы тчк как ты мог пренебречь советами врачей толстовское бегство вопросительный знак когда встречать вопросительный знак Лида».

Богдан Николаевич сидел над телеграммой, лежавшей перед ним на простыне, которой закутал себе колени, и изучал ее, будто шифровку, где между кратких фраз, после каждого разделительного знака, можно много чего дополнить догадками. О, он без особых усилий представлял себе Лидины громы-молнии, которые посылались ему в Крутояры, и беззвучные слезы, с которыми она умоляла всевышнего подарить ее мужу здравый смысл!

— Черная корова, белое молоко! — поглаживал Степан Николаевич кончики седых остроконечных усов.

— Я сам виноват, сам дважды неправ.

— Что за столько лет навестил родных? — все еще крутил усы и хмурил седые колоски бровей старший брат. — Телеграммы испугался? Или своей Лиды боишься, как атеист ладана?

— Не то говоришь. Виноват я — и все.

Уверенный в том, что последнее заседание Военного совета вообще было для него последним на этом свете, он на третий день вызвал к себе на квартиру полковника — командира базы. Плотнo закрыв двери, предупредил: «Разговор конфиденциальный». — «Клянусь, товарищ адмирал», — заверил полковник. «Устав гарнизонной и караульной службы принес? Дай-ка сюда. Мы просмотрим главу, в которой говорится о том, как нужно хоронить советских адмиралов». — «Богдан Николаевич! Увольте!» — «Молчать! Ты поклялся!» Он нашел нужный раздел устава, внимательно прочитал. «Все ясно, — вернул устав командиру базы. — Друг ты мой дорогой, оркестр, почетный эскорт и всевозможные почести ни к чему. Я не уполномочен производить ревизию устава, и у меня к тебе просьба. И к командующему,

разумеется. Расскажешь, когда время придет... Так вот, траурные мелодии тоже отменяются. Прошу «Варяг»: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает...» И никакой траурной процессии, а сразу на катер — и в море, на остров Ветров. Там сторожат вход в бухту мои побратимы с войны, под обелиском. Двести семьдесят пять... Я буду двести семьдесят шестым... Уставом предусмотрен салют холостыми патронами, — это уж как решите. Когда у нас не было снарядов и фашисты хотели нас сбросить с острова в море, мы пошли врукопашную...» Командир базы потребовал, чтобы просьбы товарища адмирала были зафиксированы на бумаге. «Писать завещания не умею», — сказал он и с тем отпустил командира базы, который ушел и ошеломленный, и насмерть перепуганный. Как бы то ни было, но полковник не посмел пересказать все содержание своего разговора с адмиралом, не позволил выпытывать Лидии Пантелеевне и флотским врачам. В тот же день, может быть по просьбе жены или по собственному желанию, контр-адмирала навестила Аида Наивина. «Богдан Николаевич, почему вы оттягиваете поездку на лечение? И с какого времени у вас появились домашние секреты от жены?» Он слишком уважал Аиду Павловну, чтобы грубо обойтись с нею за вмешательство в его внутренний мир. «Не спрашивайте... я не отвечу» — «Ладно. А почему вы сердитесь на всех, кто вам желает хорошего, желает добра?» — «Я сержусь только на Лиду, она обидела меня». — «Лидия Пантелеевна? Не верю?..» — «Обидела. Она сказала, чтобы я уходил в отставку, если не умею сохранить последнее здоровье на флоте. А для чего мне здоровье без флота?.. И вообще я не хочу ни от кого слышать об отставке! Мне адмирал флота Советского Союза не предлагает этого». Аида подтвердила, что быть пенсионером не для него и никакой постельный режим не заменит пребывания в открытом море. Аида Павловна сказала, что в гавани ее ждет бронекатер, так как она должна обследовать химслужбу на далеких постах. Хорошо бы ему, Богдану Николаевичу, выйти с ней на катере в море, побывать на острове Ветров, куда она сначала заглянет, чтобы почтить память морских пехотинцев, которые там погибли в войну. Аида Павловна считала, что он на ост-

рове, возвратившись мыслями в прошлое, непременно заглушит душевную тревогу. Но этого не случилось — врачи предложили ему поехать в Карловы Вары.

— Отбей им, Богдан, успокоительную телеграмму с здоровьем. И не очень близко к сердцу принимай.

— Буду собираться домой.

— Лучше вдвоем гостить. Плохо, что ты не взял Лиду с собой. Я не обидел тебя? Мое дело сторона, я мог бы тебе и не говорить.

— Почему же? Я согласен. В самом деле нехорошо... Лида сюда давно мечтала... А сколько я рассказывал ей о нашем озере, о цыгане Ладо, Веруце...

— Это давнишнее как сказка, Богдан. Я уже ничего и не помню.

— А я ничего не забыл.

Дикие серые гуси и дикие утки стаями пролетали каждую весну и каждую осень над их хатой. С малых лет он знал, что они летят куда-то на озеро, что на этом озере устраивают гнезда, высиживают гусят и утят, таких же пушистых и шустрых, как домашние, выводят их на воду, ставят на крыло. Как возможно ставить на крыло, он не мог себе представить хотя бы потому, что домашние гуси взлетали невысоко и редко, а больше ходили, переваливаясь, и грязнили в лужах свои белые и серые перья. Как-то летом отец запряг в арбу быков и взял их со Степаном на озеро косить серпами осоку. Дорога к озеру казалась длинной-длинной, — перевалили несколько холмов, объезжали глубокие овраги и балки, пока не заблестело перед ними это озеро. Весь мир, который он успел увидеть и познать раньше, сразу же померк перед этой красотой: солнечный разлив на воде от берега до берега, таинственный шепот камышей с метелками, прозрачность озерной глубины, утиное кряканье в осоке. А за камышами, на чистом берегу, белели шатры цыганского табора, горел огонь и позванивали молоточки на наковальне цыгана-кузнеца. «Никуда не ходи, Данька, сторожи быков», — сказал отец. Вдвоем со старшим братом они взяли серпы. Подвернули штанины и пошли в гущу осоки, где побеги пышнее и лист

больше. Он остался сидеть под арбой, честно сторожа быков, которые никуда не собирались бежать, паслись и отмахивались от слепней и въедливой мошкары. «Хочешь, лебедя покажу?» Она спросила его столь неожиданно, так незаметно подошла, что он даже оторопел. «Кто ты?» — поднялся он и встал около ярма. «Веруца... Хочешь, лебедя покажу?» Она смотрела на него большими черными глазами, и он сразу же догадался, чья это девочка и что из нее непременно вырастет гадалка. Как и у всех взрослых гадалок, приходивших в их хату, на груди у Веруцы блестели серебряные дукаты с царскими гербами, тоненькую шею обхватывали нитки красного мониста, а в растрепанные косички вместо настоящих лент вплетены два беленьких шнурка. На ней болтались залатанная, с чьего-то плеча, зеленая кофта и сборчатая юбка в цветочках. Веруца вышла из шелестящих зарослей камыша и теперь показывала на них худенькой рукой. Ноги у Веруцы были подбиты, с цыпками и в ссадинах. «Даром покажешь?» — спросил он для уверенности. «Даром. Сама видела». Он посмотрел на быков, решительно сказал: «Крест на мне, крест на тебе — где?» Камыш, куда повела его Веруца, стоял в глубокой воде, и он, помявшись, отважился сбросить с себя одежонку, полезть в воду. Веруца показывала ему с берега, и он послушно перебирался с кочки на кочку, не обращая внимания на пораненные острыми лезвиями камышей руки и ноги. За камышами, на чистой воде, он увидел их, лебедя и лебедушку. Белоснежные, они важно касались клювами воды и чистили друг у друга перышки. Он не способен был шевельнуться, весь окаменел. Самыми очаровательными, самыми милыми во всем свете казались они ему в тот миг, и он, надеясь загнать их в камыш, поймать, приручить, неслышно слез с кочек и поплыл в обход. Он до сих пор не заплывал так далеко и не знал, какая холодная вода в озере, которое наполнялось студеными родниками; родниковая вода сковала ему тело и потащила куда-то в неизвестность. Он закричал лебедям, чтобы подставили ему крылья, а птицы с жалобным криком забили крыльями по воде, всколыхнули высокую волну и полетели... А может, это не лебеди кричали, а Веруца? И не цыган Ладо, а все-таки они, гордые птицы, вынесли из

озера и положили его на теплую землю. Как и те лебеди, что улетели, цыган Ладо был вольной птицей, кочевал с табором с ранней весны до поздней осени и приходил к ним зимовать с Веруцей всегда в одно и то же время, когда начинались морозы и опадала осенняя багряная листва, а холодные ноябрьские ветры тужили по журавлиным стаям. Ладо умел все — был и тележником, и шорником, и сапожником. А еще умел рассказывать о человеческом веселье и человеческой неблагодарности, от которой он бежал и будет бежать, как от религии. Вечерами Ладо играл на гитаре, Веруца танцевала. И так почти каждый вечер до первых теплых дней. Сходил снег, и Ладо, собравшись в дорогу, забирал с собой Веруцу, которая как будто доводилась ему младшей сестрой, прощался с нами. Все Выдыши выходили за ворота и смотрели им вслед, пока Ладо и Веруца не исчезали за дымчатым горизонтом... К озеру он, Богдан, еще не раз ездил и ходил пешком. И каждую весну прилетали туда дикие серые гуси и дикие утки. Только лебеди облетали их озеро, больше не видел, как они ласкаются и как чистят друг друга на свадебный праздник. И Ладо с Веруцей где-то пропали, не пришли на свою первую зимовку после того, как беднота объединилась. Вольные птицы! Чем-то и их не устраивало знакомое село, как не устраивало лебедей озеро.

Какой бы категоричной ни была эта телеграмма, уехать из Крутояров и не навестить озера Богдан Николаевич не мог. Ничего не сказав старшему брату, который был озабочен проводами, он пошел старыми тропинками к озеру. Вспоминал холмы и балки, которые проезжал в первый раз с отцом. Среди буйнолистой кукурузы, сверкавшей на ниве против солнца, словно озерный плес, он увидел лишь несколько чахлых кустиков осоки и камыша, а самого озера так и не нашел. Будто этого озера, как и детства, у него никогда не было... Куда оно девалось? Люди недоглядели? Или чужие ненасытные лошади выпили всю холодную родниковую воду? Или утекла озерная вода в Черное море и оттуда влилась в Мировой Океан, по которому ходят его подводные ракетноносцы?

НЕОБХОДИМОСТЬ

— А, толстовец! Незадачливый беглец! — Вице-адмирал Русиянов поднялся из-за стола и пошел навстречу Богдану Николаевичу, едва тот появился в кабинете командующего. — Очень приятно!

Богдан Николаевич устроился в мягком кресле и подождал, пока вице-адмирал закончит визировать срочные бумаги. Русиянов сложил их в папку и отдал адъютанту. Несколько раз он украдкой взглянул на Богдана Николаевича, словно на глаз определяя его здоровье и душевное состояние.

Контр-адмирал сидел в кресле, положив локти на подлокотники, и смотрел перед собой на стену, где висел новый барометр: на улице светило солнце, а стрелка показывала на осадки.

Русиянов тоже пересел в кресло, предусмотрительно придвинув его так, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза. «Очень приятно!» — еще просвечивало в его взгляде.

Контр-адмирал приготовился отвечать на все вопросы командующего и как товарища по службе, члена Военного совета, и как старого друга.

— Спрашивай же, — нетерпеливо сказал он.

Русиянов усмехнулся.

— Что тебя побудило совершить этот непредвиденный маневр?

— Сойти с поезда?

— Мы разыскивали тебя всеми способами, по телеграфу и по телефону, по всем каналам. Представь себе.

— Представляю. Но я же известил Лиду на третий день.

— В штабе узнали через неделю!

Нужно было апеллировать в Министерство связи. Там, в Крутоярах, еще и до сих пор почтальоны разъезжают на велосипедах, а на телефонной линии висит дюжины абонентов. Лида сказала, что его самочувствием интересовался главком и это было в присутствии министра обороны.

— Все верно.

— И что ты ему ответил? Сказал что-то нелестное?

— Ничего подобного. Тогда у меня уже были подробные сведения о тебе от Лидии Пантелеевны. И заверил главкома, что ты распрощаешься со всеми болезнями после того, как походишь по родной земле, наберешься сил, как Антей.

— Благодарю, все так и есть. Я абсолютно здоров и готов выполнить любой приказ. Любой!

— Товарищ адмирал, тебе приказывать еще рано, должен пройти медицинский осмотр. Обязательно.

— Согласен без оговорок. Но, товарищ командующий, прошу считать, что с сегодняшнего дня я приступаю к выполнению служебных обязанностей.

Русиянов ответил не сразу:

— Можаров выходит в море. По приказу министра.

— Понятно, товарищ командующий.

Сразу же после встречи с Русияновым Богдан Николаевич поехал к атомоходам: хотелось самому посмотреть, как экипаж Можарова готовится к новому походу.

На пирсе, к которому были отшвартованы ракетноносцы, наблюдалось неторопливое оживление — корабли загружались боеприпасами и снаряжением. Поворачивались подъемные краны, скрипели лебедки, сновали автокары. Богдан Николаевич оставил «ЗИМ» около КПП, где его встретил дежурный по базе, и в сопровождении дежурного направился к лодке капитана первого ранга Можарова. Все, кто шел навстречу, вежливо уступали дорогу и, отдавая воинскую честь-приветствие, сдержанно улыбались. И он особенно был доволен собой, что не засиделся в штабе или политотделе, а сразу приехал сюда. С корабля Можарова через мегафон баял вахтенный: «Личному составу собраться около баталерки!» И все эти повседневные, но обязательные для нормальной флотской службы хлопоты, шум, смех не могли не радовать контр-адмирала и не вселять уверенности в своем окончательном выздоровлении.

«Шоколад выписан на всех. И на тех, кто курит, и на тех, кто не любит табак! Прошу подходить по алфавиту!»

Мичман Чотий стоял в окружении матросов с двумя вещевыми мешками и готов был подать команду для встречи адмирала, но Богдан Николаевич нарочно, что-

бы не мешать боцману, миновал баталерку и поднялся на ракетносец. Старпом Вайнейкис проводил его в первый отсек, где остро пахло свежей краской, затем во второй, третий.

На стенке реакторного отсека поблескивала металлическая мемориальная пластинка с именем Алексея Наивина.

Контр-адмирал отдал воинскую честь и спросил у Вайнейкиса, где можно увидеть командира корабля и замполита. Старший помощник ответил, что Можаров и Болюбаш, который уже неделю назад вернулся из отпуска, на плавбазе готовят документы для похода, и если прикажет товарищ адмирал, он пошлет за ними вахтенного матроса. Богдан Николаевич поблагодарил и сошел с корабля, желая побывать на плавбазе.

Прежде всего заглянул в каюту Болюбаша. Юрий Васильевич разговаривал со старшиной Девушкиным, и эта беседа в присутствии контр-адмирала стала решающей не только для старшины, но и для него, Богдана Николаевича.

Немного погодя, по дороге в политотдел, он сокрушенно думал о том, что майор Аратский уже не служит на подлодке, а химик Девушкин подавал командованию лодки рапорт, который граничил с отступничеством, с нарушением воинской присяги. Старшину-химика не смутило появление адмирала, он стоял на своем, хотя и волновался — нервно перебирал край бескозырки, которую держал в руках. «Я прошу списать меня на берег». — «Вы не хотите идти с нами в море?» — спрашивал Болюбаш. «Из этого похода мы не вернемся, лодка погибнет». — «Кто вам об этом сказал?» — Богдан Николаевич спрашивал старшину довольно мягко, не как высокое начальство, а просто как пожилой опытный человек. «Никто мне ничего не говорил, у меня интуиция, товарищ адмирал». — «И все?» — «Все». И Богдан Николаевич, и Болюбаш знали, что Девушкин призван во флот со студенческой скамьи, что у него незаконченное высшее образование и ссылаться на интуицию ему не стоило бы. «Вы, товарищ старшина, должны знать, — напомнил Болюбаш, — что по-латыни *intuegi* — это внимательно, зорко смотреть. Предчувствие, предположение, проницательность. В идеалистической философии — непосредственное, то есть мистическое понимание исти-

ны, без научных доказательств. А по-флотскому, по-нашему, это трусость... Вы хотите приобрести славу труса? Что ж, вот вам бумага, ручка, и пишите рапорт командиру». Старшина спокойно спросил: «Сейчас писать?» — «Да», — подтвердил замполит, и Богдан Николаевич в душе не похвалил Болюбаша за такое поспешное предложение. Старшина-химик сел за стол, придвинул к себе чистый лист, взял авторучку, и рука ему изменила, не смогла вывести даже заглавной буквы. На глазах выступили слезы, он поднялся и дрожащим голосом попросил, чтобы ему разрешили уйти. Богдан Николаевич разрешил, и все почувствовали облегчение, а теперь, в «ЗИМе», он раздумывал над тем, насколько правильно сделал, сразу же согласившись отпустить Девушкина. «Старшина вылечится, непременно вылечится от трусости! — убеждал себя Богдан Николаевич. — Есть вещи, которые не укладываются ни в какие уставы и кодексы, их трудно даже предусмотреть. Но стоит ли все предусматривать, все подвергать регламентации? Отвагу в моряке нужно воспитывать точно так же, как и дисциплинированность, — от первого до последнего дня службы, как воспитывается любовь к морю, к кораблю, к своему командиру. И если с этим не все благополучно, значит, в этом моя вина».

Как никто другой Богдан Николаевич сознавал, что судьба матроса зависит от интеллектуальной подготовки командира, от того, насколько сам командир сроднился с кораблем, чувствует его, и матрос способен простить командиру все — и его тяжелый характер, и несправедливый приказ, если уж так случится, и чересчур скупую похвалу. С гордостью военный моряк снесет любую беду, но прикроет грудью своего командира...

Старшину второй статьи, которого он взял себе в ординарцы на острове Ветров, все звали Помором, хотя у старшины была другая, трудно запоминающаяся фамилия. Теперь, через тридцать лет, если бы хотел припомнить черты своего ординарца, сколько бы ни напрягал память, кроме мелких веснушек на переносице и щеках и того, что Помор был высокий и худой, ничего не вспомнил бы. Из всего сказанного между ними в воспоминаниях остался только короткий рассказ о детстве,

когда старшина Помор, еще будучи мальчиком, набрел на муравейник, просидел возле него полдня и открыл для себя возмутительное явление: все муравьи неустанно трудились, и только тот, кто сидел на самом верху муравейной кучи, ничего не делал, а лишь чистил лапки да поводил усиками, поглядывая на работу других. Старшине Помору прежде всего нужно было поддерживать связь с отдаленными постами, переписывать и размножать утренние и вечерние сводки Совинформбюро, которые принимались по рации, и Помор все это выполнял исправно, без напоминаний. Ординарец шел в буран и возвращался из бурана так, что трудно было определить, где он только что был — разносил эти сводки в матросские окопчики или собирал валежник для «буржуйки», которую сам же устроил в блиндаже комиссара, потому что без валежника Помор никогда не возвращался. И не удивительно, что теперь, через тридцать лет, он не мог вспомнить отчетливо все черты ординарца который умел всегда оставаться незамеченным — ходил ли с ним в атаки, укладывался ли спать рядом, разливал ли из котелка на двоих мутный кипяток (воду топили из снега опять-таки на «буржуйке»). Курил Помор или нет? Снова никак не вспомнить, хотя хорошо помнит, что у ординарца был цветастый кисет, из которого он доставал для заварки чай и кусочки сахара. А не было ли у Помора два кисета, цветастый и синий, который тот пошил из нагрудных карманов матросской робы? ..

В ту ночь валил снег, небо, земля и море смешались в снежной пелене, и остров Ветров походил на громадную льдину, подхваченную половодьем. Фашисты впервые за два года войны решились на ночную атаку. В буране сошлись морские пехотинцы с альпийскими стрелками. «Вперед! Ура, матросы!» — крикнул он своим ребятам, и никто не услышал его голоса, но все бросились за ним, пригнувшись, против ветра и снега. В снежном водовороте металась белые призраки, слышались автоматные очереди, выстрелы из карабинов, соленые матросские словечки и гортанные немецкие команды. Он сам тогда пристрелил какого-то фашиста-здоровяка с двух шагов, сначала приняв его за ротного баталера и позвав по имени. Ветер донес запах чеснока, и из-за

сплошной снеговой завесы вынырнули две фигуры, пальнули в него из двух автоматов синим пламенем, но он уцелел не чудом, а потому, что его оттолкнул от огня старшина, который неизвестно откуда появился рядом, успел перезарядить ППС и несколькими очередями уложить обоих гитлеровцев. Потом набежали еще двое, еще и еще, и он, окруженный со всех сторон, отбивался прикладом, а Помор упал от выстрела фашистского офицера, которого он, комиссар, сбил с ног и на мгновение забыл, что сбить с ног на войне еще не все, что этого мало. Его самого матросы внесли в блиндаж без сознания, и он очнулся только тогда, когда Лида забинтовала рану и положила ближе к «буржуйке», в которой еще тлели угольки. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на это тление, не понимая, почему не идет его ординарец и не несет валежник, от которого у них в блиндаже всегда так тепло и уютно. Постепенно погасли последние угольки, остыл пепел, а старшина Помор не пришел... После бурной ночи наступило позднее зимнее утро без ветра и снегопада, и враг снова атаковал десант. До вечера он один, тяжело раненный, лежал в блиндаже около холодной «буржуйки», не стонал и никого не звал к себе, разве что поглядывал на дверь, за которой находилась нейтральная полоса. Так длилась и следующая ночь, и следующий день, пока к десантникам не подошло подкрепление и остров не был освобожден. Он, Помор, и теперь там, на острове Ветров, под обелиском.

Поздним вечером за стаканом чая на квартире Богдана Николаевича они с командующим пришли к соглашению, что новый поход в Атлантику и Средиземное море подводной лодки капитана первого ранга Можарова должен возглавить лично он, член Военного совета, контр-адмирал Выдыш. Это — необходимость. Лидия Пантелеевна не протестовала, так как ее протест не был бы принят мужем во внимание, он унизил бы его, а она сама никогда не стерпела бы никакого унижения.

Еще спустя пять дней в такой же поздний вечер подводный ракетносец Можарова оставил базу, послав последние сигналы-лучи острову Ветров. Атомоход по-

грузился на глубину, сомкнулись над его рубкой морские волны, улеглось кипение темной воды над местом погружения, и море снова, не засыпая, с извечной последовательностью погнало к берегам волну за волной:

ИЮЛЬ

В лучах зари на западе с раннего вечера в созвездии Льва ярко блестит Венера, которая в течение месяца видна все хуже и хуже. Во второй половине ночи в созвездии Рыб виден яркий Юпитер, а левее, в созвездии Овна, — красноватый Марс. Сатурн скрывается в лучах Солнца.

Ракетносец огибал Скандинавию, выходил на глубинный простор Атлантического океана. Все, кто сначала прислушивался к забортному шороху, такому знакомому по предыдущим походам, свыкся с ним и занялся своими делами, подчинился несильному корабельному распорядку. Ракетносец опустился к южным широтам, а температура воздуха в отсеках не поднималась ни на градус, ни на полградуса, и его влажность не увеличивалась по сравнению с установленной нормой; никаких отклонений ни в чем, никаких перемен. Как всегда и всюду на подводных атомоходах, все та же мнимость дня и ночи, без сумерек и рассветов. А восход солнца над океаном, его пенная встревоженность, чистый разлив красок в предштормовом небе, сухой шелест созревающих колосков и свежесть росы на травах и ботве, ночные запахи маттиол и помидорной рассады и сладкая истома любви — все это в воображении и мечтах.

Прошла зима со всеми своими прелестями, осталась в стороне от нас, и теперь вот лето должно было укоротиться до одного лишь июня, который промелькнул для

кого-то под палящим каракумским солнцем, для кого-то белыми ленинградскими ночами, для кого-то за днепровским заливом, а для меня сначала на побережье Кавказа, потом, последнюю неделю, у матери, среди широкой степи, где мой пращур Охрим Бирка-Божлюбись выпряг из арбы быков и навечно остался, так и не дойдя со своей подводной лодкой до голубого Дуная... Слева по борту ракетносца — берега Европы, той самой Европы, что не хотела нас признавать и должна была признать, снять перед нами шляпу и воздать должное. Но об этом думалось сейчас меньше всего. Я вылетал на юг в теплую летнюю грозу, и целый месяц, весь отпуск, гремели и проливались дождем грозы, и когда возвращался назад, надо мной снова теснились грозовые тучи... С веранды и в окна комнатки, которую было зафрахтовал себе, вечерами я наблюдал, как в ущельях гор укладываются последние облака, цепляясь размытыми краями за горный лес, как они в дреме покачиваются на вершинах деревьев, прощаются с солнцем, с морем и горами. На этих облаках постепенно блекнут розовые полосы заката, далекие горы утрачивают величие, а невысокие скалы предгорья, до которых, кажется, можно рукой достать, хмурятся, становятся темными и неприветливыми. Я был благодарен Валтасару, который выбрал мне эту квартиру, когда я признался ему, что задерживаться у него просто не могу — не хотелось доставлять лишние хлопоты родителям Валтасара, да и для наших дружеских бесед и моих свиданий с Лизетт удобнее иметь свой, ни от кого не зависимый уголок. Валтасар снял квартиру на тихой околице города, с видом на горы и море, хозяйка работала где-то в санатории, тем, собственно, и жила. Валтасар днями пролеживал у меня на диване, перечитывал философские журналы, делал выписки и, когда у меня было настроенное слушать его, начинал рассуждать о том, что определяет человека как двигатель прогресса или упадка, добра или зла, удивительно смешивая грешное с праведным. Я тактично его поправлял, и он соглашался со мной не столько из убеждений, сколько из дружеских чувств. Валтасар подал документы в Ереванский университет, на философский факультет, со дня на день ждал вызова. На висках у него пробивалась седина, а он все еще взвешивал, где, на чем остановиться, как плодотворнее по-

служить обществу своим талантом, так как «человеческий талант — это семя, из которого произрастают и берут начало все видимые, осязаемые и не осязаемые на прикосновение чудеса». Самоуверенность Валтасара была не так смешна, как трогательна. В присутствии Лизетт он словно отрекался от философии, вспоминал разные анекдоты, повторял историю любви электронного робота Робби, которого сконструировали на «Дженерал моторс». Кто-то из инженеров заметил, что Робби выходит из строя, как только рядом проходит красивая лаборантка; со временем установили и причину его равнодушия к ней — на фотоэлементы Робби влиял цвет помады лаборантки. «Я тоже равнодушен к тебе, Лизетт, — смеялся Валтасар, — к тому, как ты красишь губы. Неужели тебя устраивает только бледно-розовое? Мы, мужчины, жадны и жестоки, и нас больше всего привлекает на женских устах соленая кровь!» Лизетт засмеялась и тут же попросила Валтасара уйти, оставить нас вдвоем. И Валтасар ушел, уверенный, что в конце концов мы с Лизой-Лизетт обо всем договоримся.

Лизетт сидела в плетеном кресле в конце веранды, в тени густого виноградника, и сквозь очки в тоненькой золотой оправе смотрела на остатки грозových туч, которые укладывались на отдых в ущельях горной гряды. Ждала, что я подойду, и я подошел и взял ее холодную руку, сначала поцеловав и прижавшись к ней щекой; держал в своих ладонях с такой же осторожностью, как держат птичку, влетевшую в твой дом, которую нужно согреть и отпустить на волю. Лизетт ждала от меня еще чего-то и, не дождавшись, сказала искренним тоном: «Я взвесила все честно и рассудительно. Не сердись, Юрий, в жены я тебе не гожусь и стать ею не могу». — «Ты сама признала, что умоляла Валтасара позвать меня сюда». — «Умоляла, да. Но не для того ведь, чтобы мы поженились. Я вкусила замужество и тоже с моряком... Нет!» — «Ты об этом никогда не говорила». — «Ты никогда меня об этом не спрашивал». — «Кто он?» — «Был командиром эсминца, все философствовал, как твой Валтасар... И погоны потерял, и флоту навредил. Теперь где-то на Сахалине, рыбачит на траулере». — «Ты не любила его», — сказал я, стараясь

что-то припомнить, и никак не мог. «Достаточно того, что он меня любил. А настоящая любовь дорога, даже если она без взаимности». — «Между вами был кто-то третий?» — «Нет, Юрий, третьего не было. Любовь — счастье двух, а третий всегда претендует на свою любовь, на свое счастье. Третьего, собственно, первого, я нашла в тебе, нашла и отважилась отказаться». — «Лиза, ты не веришь мне, ты боишься, что меня может увлечь другая?» — «Нет, соблазнить другая тебя не может, пока будешь находить во мне все необходимое. А об этом я бы уже позаботилась!» Она встала с кресла. Провожать себя не разрешила.

Целую ночь я просидел в том самом кресле, где сидела Лизетт, не понимая, что с ней произошло и почему она пренебрегла счастьем и любовью. Не хотелось верить, что я для нее целиком разгадан и исчерпан, что ее, вероятно, уже угнетала верность, к которой она не привыкла. Мучил себя различными предположениями и догадками, припоминал, но не припоминалось, пока не наступило в горах светлое утро и горы не стали горами, а скалы скалами, деревья деревьями, трава травой; и тогда предстал передо мной сахалинец, бывший муж Лизы-Лизетт, со своим щедрым сердцем и доброй душой, с его: «Мстительны не мертвые, мстительны живые». А еще он говорил: «Люблю на мачтах полосатый спектр сигнальных флажков, во всей их пестроте — аз, буки, веди, глагол, добро, како, люди, мыслете, живёте!.. И каждый раз в иной последовательности, в ином сочетании, согласно с мудрым морским правописанием». Я встал, на скорую руку упаковал вещи, дождался хозяйку и отдал деньги за комнатку, за все прожитые здесь дни и за те, которые предполагал прожить. Написал и опустил в почтовый ящик прощальное письмо Валтасару; мне ни с кем не хотелось ни говорить, ни видеться — только на аэродром!.. Парило, и перед обедом в горах снова собралась гроза. Вылет задерживался. После бессонной ночи я чувствовал смертельную усталость и голод, решил закусить в аэродромном ресторане. Швейцар, дядька в синем мундире с золотыми галунами, наотрез отказался взять чемодан и плащ, сославшись на то, что в ресторане чересчур много народу, а поэтому я могу позавтракать в кафе. Прогредел гром,

закапал дождь. Я надел плащ, выжидая конца ливня, чтобы перебежать к голубому навесу летнего кафе. А дождь все припускал и припускал, и крупные капли залетали под козырек главного корпуса, где я стоял. Сюда, к входу, подкатила черная «Волга», взбурлив лужу. Из машины вышел плотный мужчина в сером костюме и серой шляпе. Я изумился, как умело держал он кончиками губ тяжелую сигару, и не заметил, кто вышел из машины вслед за ним. Вдруг вздрогнул, когда моего лица коснулась девичья рука. «В венке олив, под белым покрывалом предстала женщина, облачена в зеленый плащ и в платье огне-алом...» Кето вся пылала, как может пылать покровительница грозových молний. Искрились карие глаза, игриво шевелились черные шнурочки бровей, сквозь улыбающиеся губы сверкал белый слиток зубов. «Я знала, что поймаю вас, Юрий. Папа, это он, наш загадочный подводник. Познакомьтесь». Ее отец вынул изо рта сигару, сдержанно сказал: «Очень приятно, капитан второго ранга. А загадочности не вижу. Приглашаем с нами. Позаботься, Кето». Возле него появился начальник аэродромной службы и пригласил в комнату официальных приемов. Кето провожала отца на курорт в Закарпатье, и хотя этот город тоже курортный, в нем множество всесоюзных здравниц, он, как его неизменный мэр, считал целесообразным отдыхать в другом месте, — какой же отдых там, где работаешь? Я смотрел на Кето и ее отца и не находил никакого сходства между ними. У отца лицо широкое, синеватое, глаза не карие, а какие-то водянисто-зеленые под реденькими кустиками бровей, и волнистые волосы неопределенного цвета, и уши, покрытые рыжеватым пушком, и большие красные руки. И весь он плотный, грубовато-простецкий. Густо намазав мне, дочери и себе маслом и красной икрой ломтики белого хлеба, он разлил в бокалы шампанское, чокнулся с нами и провозгласил: «За расцвет подводного флота!» — «За ваш спокойный отдых!» — ответил ему. Кето спросила меня: «Тебе нравится мой папа?» Я ответил: «Да, очень». — «Вы с Лизетт, как говорится, горшки врозь?» — «А ты откуда знаешь?» — спросил я. «Меня интересует все, что касается твоих дел», — сказала она. «Могу заверить, что с Лизетт мы больше не встретимся». — «Я это предвидела, — сказала

Кето, искоса взглянув на меня. — Знаться с такими, как Лизетт, — это рисковать жизнью». — «Я тебя не понимаю, Кето, что ты имела в виду?» — «Ты все, Юрий, прекрасно понимаешь, — ответила она. — Видел ли ты мелодраму Рысаковского о любви? Там есть такая Анжела, хищница». — «Честно говоря, мелодрамами не интересуюсь». — «И опереттами, думаю, тоже?» Я усмехнулся: «Почему же? Люблю оперетты Кальмана, например. А еще грузинскую — «Кето и Коте». Она отпила немного шампанского, очистила и разломилась надвое апельсин и дала мне. «Юрий, что ты сейчас обо мне думаешь?» — спросила. «Что ты молода, красива и что я больше сюда не приеду, а значит, никогда тебя не увижу». — «Какой оракул тебе сказал об этом? На свете сто пророков есть, но всех звезд и им не счесть... В следующий раз ты приедешь к нам, ко мне». — «Неужели?» — «Не смейся. Не захочешь приехать — сама тебя разыщу». — «Эх, Кето, наивная девчушка, я же буду в далеком океане, на самой большой его глубине!» — «Где бы ты ни был, а к своему берегу вернешься. А на этом берегу буду стоять я! И ты будешь со мной счастлив...» Через час я вылетел к матери и весь полет находился в состоянии непонятной угнетенности и грусти, охватывающей душу...

Соловьиные трели неожиданно нарушили подводную тишину ракетносца, словно наполнили отсеки запахами яблоневого и вишневого цвета, мятым настоем любистка, и воздух в моей каюте будто всколыхнулся и заструился, как тогда, когда поют соловьи, а синие росы всходят легким туманом, и земля благоухает от растений, поднимающихся к солнцу, и сады роняют лепестковую белорозовость на траву, а грусть плакучих ив стекает в прозрачность прудов, и полетом жаворонка над молодыми всходами начинается утро.

Трели соловьев в подводной лодке сразу же оборвались, и по корабельной трансляции голос Можарова объявил, что мне сегодня исполнилось тридцать два года и что экипаж лодки желает матросского здоровья, служебных успехов и всего, что нужно желать по случаю дня рождения...

А соловьиное пение тоже для меня, чтобы воспомина-

лась моя Украина с Днепром, который течет к синему морю, и зеленое колыхание степи, и моя старенькая мать.

На столике со вчерашнего дня лежит радиogramма, которую принес радист Зёма. В сотый раз я перечитывал ее и не верил глазам.

«ДОРОГОЙ ЮРИИ ПОЗДРАВЛЯЮ ЦЕЛУЮ ЖЕЛАЮ СЧАСТЛИВОГО ПЛА-
ВАННЯ ТЧК ПРИЕХАЛА МЕЖГОРЬЕ УСТРОИЛАСЬ ЛИДЫ ПАВЛОВНЫ
ВСЕ ХОРОШО ЖДУ ТЧК КЕТО»

Девушка-грузинка, как же ты решилась оставить свои горы и прилететь к моему морю, извечно беспокойному и всегда неведомому? Кто тебе напророчил счастье в моем доме? И когда мы вместе войдем в мой дом?.. Впереди еще много месяцев похода, и сколько еще испытаний нас подстерегает! И сумеешь ли, девушка, побороть разлуку и дождаться нашего возвращения? И вся жизнь в разлуках и ожидании. Ты доверилась своему сердцу, и я никогда не причиню ему боли.

Так пусть же день этот будет сентябрьским, в красных гроздьях рябины; или январским, в белой пороше инея и морозных узорах на окнах; или же летним, в разнотравье, пахнувший июльскими цветами. И чтобы не отказывались гости и были веселы отец с матерью, в Грузии — по грузинским обычаям, на Украине — по украинским. А по флотской традиции тамадой выбирают командира корабля. И чтобы не обидеть и не прогневить своих товарищей, все должно начаться в Межгорье, среди них, подводников, которые наденут парадную форму и заранее подадут белый штабной катер. И трубаач заиграет захождение, и мы с Кето отправимся на катере во Дворец бракосочетаний... Кето необыкновенно идет фата! «Я выглядывала тебя с того утеса!» — и покажет, с какого именно, когда катер будет выходить из бухты. «Тебя нисколько не состарило одиночество». — «О, любимый, разве ты не знаешь, что одиночество старит жен и никогда — невест...» Во Дворце бракосочетаний мы выслушаем напутствие какого-нибудь ветерана труда или войны, торжественно поставим подписи в государственном акте, обменяемся обручальными кольца-

ми и впервые на людях познаем наш поцелуй... День свадьбы будет до деталей обдуман женским советом, который смыслит во всех церемониалах. Лидия Пантелеевна поднесет хлеб-соль и благословит, и потом поздравит Аида, и Тенти, и все жены наших офицеров, а Зумрад поднесет обоим душистые цветы. «Я вам благодарен, Аида Павловна, за то, что вы приняли к себе Кето. Не осуждайте ее, девушка ведь!» — «Юрий, я поступила так, как подсказала совесть. Сегодня будет разыгрываться чудесный приз. Я надеюсь на успех с вами. Лидия Пантелеевна шепнула мне, что это очень оригинальный сувенир. Мы его выиграем и подарим Кето». Как в дни торжеств и на вечерах-балах, большой зал Дома флота будет сиять огнями хрустальных люстр, отражающихся в зеркалах, и капитан-распорядитель подаст знак дирижеру, и оркестр встретит наше появление флотским маршем, и мы в сопровождении друзей пройдем к свадебному столу, и Богдан Николаевич провозгласит тост, и в бокалах запенится шампанское, а все, еще не смочив в его хмельной пене губы, прокричат: «Горько!» — и не пожалеют собственного голоса... «О медовом месяце в корабельном уставе ничего не сказано, но вам, товарищ капитан второго ранга, я предоставляю отпуск для свадебного путешествия», — скажет вице-адмирал Русиянов, и мы с Кето сразу же полетим на Кавказ. «Простите, потомки достославного рода Чавчавадзе, я давно мечтал познакомиться с вами». — «Ты, дорогой, — спросит меня ее отец, — случайно не Грибоедов?» — «К сожалению, нет». — «Горе от ума» читал?» — «Люблю Чацкого, ненавижу фамусовых... А что?» — «Проси себе и своей красавице жене карету». И подадут нам карету — «Волгу», и в сопровождении братьев-джигитов помчимся в горы, где асфальтированная лента вьется пагайкой, где зеленые космы плюща свисают на дороге с крутых скал и на камне, как на черноземе, дозревают колоски, где синева горных вершин неотделима от синевы туч и где на поляне, которая открывается нам среди лесных зарослей, разожжен костер, и жарится шашлык из баранины, и украшенный серебром рог с вином передается по кругу из рук в руки, и слышится «Ноченька» Рубинштейна, которую так любит Богдан Николаевич, и все вокруг такое необычное, как

необычна наша жизнь. А еще будут стихи и песни, и джигиты с девушками при свете огня будут танцевать. И как это они умеют взвихряться вот так... дробно ходить перед женщинами на цыпочках, кружить волчком, взлетать вверх без крыльев?.. А женщины во всем белом плывут и плывут одна за другой, словно лебедушки, гордые и пышные... И поедем вдвоем с Кето дальше, в наши степи. К моему селу простелен асфальт, и можно ехать автобусом, мотоциклом, легковой машиной, на подводе или бричке. «Пойдем, Кето, пешком, через пшеницу, тропками детства моего, межами юности!» И встретятся нам в поле девчата, и все как одна поздороваются вежливо, хотя не узнают нас, потому что заведено здесь здороваться со всеми, — а как узнают, то переглянутся и наверняка подумают: «Неужели ему было мало нашей красоты, что пошел искать пару в горах?» Подумают, и не скажут, и не осудят, разве что польют водой дорожку до маминых ворот, а парни поставят на этой дорожке дубовый стол и пожелают большой выкуп за Кето... Да никакого выкупа им и не нужно, им лишь бы познакомиться с молодой четой и заручиться согласием на шаферство, а еще, к удовольствию окружающих, прокричать всеобщее: «Горько!..»

— Извините, товарищ капитан второго ранга, но я по поручению экипажа. Командир корабля приглашает вас в кают-компанию. Как именинника. Поздравлять.

Людас Вайнейкис ставит корзину с яблоками:

— А это от меня. Приберег.

— Большое спасибо, Людас. Не знаю, чем вас и отблагодарить.

— Это зимовки, из литовского сада. Вам, как человеку, родившемуся под созвездием Льва и пребывающему под покровительством самого Солнца, это очень полезно. Да и вообще яблоки полезны любому человеку.

Я надкусил яблоко и спросил Людаса:

— Вы интересуетесь астрологией, хорошо ее знаете?

— По специальности я штурман, а все штурманы немного звездочеты. Выходит, что астролог по совместительству.

Капитан-лейтенанта Вайнейкиса на лодке знали как внимательного, приветливого офицера, и каждый в душе одобрял выбор Можарова, и все же к нему, старшему помощнику командира, присматривались заново, невольно сравнивали с Галаевым.

Людас рассказывал о себе неохотно, однако ничего существенного из своей биографии не скрывал. У него всегда спокойное лицо, упрямо сомкнутые губы и ясные синие глаза. А над ними светлые густые брови и высокий лоб, как у какого-нибудь древнего философа-проповедника. Вайнейкис все лучшее унаследовал от деда — народного учителя, который осенью 1895 года встречался в Вильнюсе с Лениным; Вайнейкис-дед принадлежал к тем литовским просветителям, которые не боялись арестов, ссылок, а учили крестьян грамоте на родном языке, читали им запрещенные книги Юлии Жемайте, знакомили с Тарасом Шевченко, искали будущее Литвы в ленинской «Искре»; учителем стал и отец Людаса, уверенный, что педагогика сделается потребностью и сына, но Людасу Вайнейкису жизненная дорога пролегла на флот.

За праздничным столом, после того, как меня поздравили контр-адмирал Выдыш и капитан первого ранга Можаров, кто-то из офицеров попросил Людаса провозгласить астрологический тост. Людас смутился и попытался отказаться. Адмирал и командир корабля настаивали, и я выслушал впервые «самую полную свою характеристику, определенную мудрецами Востока и Запада от глубокой старины до наших дней».

— «Человек, который родился под созвездием Льва, — прочитал из своей записной книжки Вайнейкис, — подвластен знаку огня, а поэтому и характер у него властный. Лев — центральная фигура Зодиака, она сверкает, царствует. Ему очень тяжело, есть много соблазнов приложить свою силу. Основная его черта — доброта. Рядом с ним каждый чувствует себя уверенно, может рассчитывать на его поддержку. Он темпераментный, импульсивный, у него огромные внутренние силы, он способен, как Геракл, на любой подвиг. Но ему свойственно тщеславие, он наивен и иногда попадает в ловушку. Но хотя ему и тяжело, особенно в сердечных делах, он не утрачивает своей жизненной силы. Больше всего его ранит измена, коварство. Сам Лев верный

друг, с открытой душой, гостеприимный хозяин. Влюблен в спорт, музыку, литературу, искусство. Рожденные под знаком Льва на земле занимают руководящие посты, в небе это пилоты и космонавты, на подводных лодках — командиры и их заместители по политической части... Их цвет — золотой, бриллиантовый, желтый, оранжевый. Их день — воскресенье».

Чотий возглавил матросскую делегацию, которая зашла в кают-компанию после смены дежурных вахт. Без лишних слов мичман дал мне матросский подарок — макет нашего подводного ракетносца. Зёма и Девошкин внесли портативный магнитофон и включили. «Сюрприз для вас, товарищ капитан второго ранга», — пояснил химик. Я взглянул на контр-адмирала, но тот признался, что матросский сюрприз для него самого неожиданность; он сидел у края стола, опираясь на локти и спрятав подбородок в ладони, глаза следили за магнитофонной лентой, которая после минутного потрескивания вдруг взорвалась громкими аплодисментами, неразборчивым шумом, из которого отчетливо слышался голос Аиды Наивинной: «Влияние на эмоциональность?.. Возможно. Говорят, что раны победителей затягиваются быстрее ран побежденных и что солдаты и влюбленные никогда не болеют. Вероятно, оттого, что энергия влюбленных куда сильнее энергии равнодушных. Любовь здесь действует как вдохновение. Об эмоциональности?.. Не знаю больше. Скажите им, Юрий Васильевич...» Шелест магнитофонной ленты — и уже мой голос: «До этого времени о любви была высказана одна неоспоримая истина, а именно — что «тайна сия велика есть». Распорядитель бала: «Это сказал Чехов, а что вы сами скажете?» — «Приз, который мы с Аидой Павловной выиграли, будем считать случайностью. Моя партнерша хорошо танцует. Я старался ее не осрамить. И все». Распорядитель бала: «Нет, нет, отвечайте по существу: какое влияние на эмоциональность танца оказывает влюбленность партнеров друг в друга?» Мой резкий ответ: «Дорогой товарищ, вы хотите затем скопировать чужую любовь? Напрасно. Скопировать чужую любовь так же невозможно, как прожить чужую жизнь...»

Я покраснел. Людас Вайнейкис протянул руку к магнитофону и выдернул из розетки шнур, магнитофон умолк.

— Где это вы взяли? — спросил Людас радиста.

— Морская находчивость, товарищ капитан-лейтенант, — ответил за всех Денис Калинович.

— А все-таки?

— Допытываться, старпом, не годится, — усмехнулся Богдан Николаевич. — Главное, что сюрприз удался. Вы же не обиделись на них, Юрий Васильевич? — кивнул он в сторону старшин.

— Нет, товарищ адмирал.

— И прекрасно!.. Я предлагаю тост за здоровье всех флотских неудачников холостяков! И за тех, кто родился под созвездием Льва, и под созвездием Водолея, и под созвездием Близнецов! И за вас, мичман. Но, по свидетельству старпома, ваша счастливая звезда не иная, как Козерог?

Мичман Чотий смотрел на всех нас со снисходительной улыбкой.

Кок Лихуша подал на стол морской торт. Делить его надлежало мне. Едва я взял нож и под общий одобрительный гул начал резать торт, как корабельная трансляция разнесла колокол громкого боя. Офицеры повскакивали с мест.

— В этом что-то символичное, — сказал контр-адмирал Выдыш. — До отбоя боевой тревоги оставьте торт на столе. — И тоже поднялся. — Пойдемте, товарищ именинник, в центральный отсек.

Если бы Богдан Николаевич не пригласил меня с собой, я отдал бы сейчас преимущество турбинному отсеку и не стоял бы за спиной командира в центральном посту. Турбинный отсек — единственный, где ощущаешь, особенно под водой, стремительность ракетносца, его молниеносный ход и силу, тогда как в других отсеках — никаких признаков, не имеешь зрительного представления о скорости, с которой подводный атомоход проходит холодные морские глубины от полюса до полюса. Как и в турбинном отсеке, здесь, в центральном, рябит в глазах от многочисленных циферблатов, шкал, кнопок, электрофонарей.

«Старпом, проследите за автоматикой!»

«Есть, командир!»

«Штурман, докладывайте наш курс!»

«Есть!»

«Боцман, глубину!..»

Медленно поднимается один из перископов, и как только его нижняя головка показывается над палубой, капитан первого ранга Можаров приседает на корточки, откидывает рукоятку, прикикает к глазку. Перископ выходит из воды, и командиру теперь хорошо видна безбрежная волнистая поверхность моря. Можаров приглашает к глазку перископа контр-адмирала. Тот прикикает к глазку не более как на четверть минуты и снова уступает место командиру, придерживая рукой черную пилотку, которая сползла с его седой головы. Они понимающе кивают друг другу, мрачают оба, и эта их мрачность, будто тень от тучи, охватывает мгновенно весь центральный отсек. А из гидроакустической рубки уже слышен чеканный доклад старшины Медядько:

«Слева винты фрегата и крупного транспорта. Справа — торпедных катеров!»

«Есть! Вижу!»

«Торпедные катера на боевом курсе!»

«Есть!»

«Атакуют транспорт!.. Выпущено четыре торпеды!»

«Есть! Вижу!»

Где-то над морем прокатываются взрывы, доносятся до атомохода глухим эхом и легкими толчками.

«Глубина — сорок, курс — сто двадцать один», — командует Можаров.

Ракетносец идет на указанную глубину.

«Стоп!.. Осмотреться в отсеках! Вахта, запишите в вахтенный журнал: «Средиземное море, широта — долгота... Шестнадцать часов пятьдесят две минуты по московскому времени. Транспорт «Эльдорадо» под флагом Соединенных Штатов Америки затоплен торпедными катерами Израиля».

«Центральный, — докладывает Медядько. — Фрегат на боевом курсе, атакует нашу лодку!»

Что это? Очередная провокация или же — война? Потопить транспорт своего союзника для того, чтобы обвинить нас в агрессии? Как все это похоже на гитлеровскую практику!

Я прижимался к переборке, чтобы устоять на ногах, еще не совсем понял, почему ракетносец то и дело ли-

хорадочно содрогается. Серии глубинных бомб, которые сбрасывает фрегат за кормой ракетносца, уничтожают последние наши сомнения, заставляют вспомнить каждого, что от «холодной» до «горячей» войны — полшага и что на борту корабля мы имеем все для решительного отпора. И взгляды всех в центральном посту скрещиваются на командире. Капитан первого ранга Можаров спрашивает у старшего по званию и должности Богдана Николаевича разрешение и, получив «добро», командует: «Боевые торпеды, товсь!» Пеленгаторы и сотни радиоламп торпедных автоматов стрельбы, которые до сих пор было замерли, вдруг оживают и определяют все точные данные о цели.

«Ноль!» — докладывают торпедники.

Можаров выпускает рукоятку перископа и командует:

«Отставить! Лево на борт!.. Пульт, полный вперед!.. Самый полный вперед!.. Максимальный вперед!» Пот заливает ему глаза, он смахивает его рукой, приглаживает колючие волосы на стриженной голове. Теперь мы все улавливаем, что пеленг фрегата изменяется, ритм винтов угасает и наконец становится совершенно не слышным.

— А нервы у нас крепче, товарищ адмирал, — промолвил капитан первого ранга, вполне удовлетворенный бегством американского фрегата.

— И крепче, и надежнее, — отмечает Богдан Николаевич.

На командирскую вахту заступает старпом.

Я обещаю Людасу непременно оставить кусочек праздничного торта, ведь день моего рождения продолжается. В нейтральных водах Средиземного моря.

Мы сидим в кают-компании и пьем черный кофе с тортом. Настроение у всех предурное: только что командир «БЧ-2» принес неутешительную новость — в ракетном контейнере повысилась влажность. «То есть?» — «Течь, товарищ командир». — «А если неполадки в щитках показателей?» — «Все щитки! никак не могут выйти из строя одновременно». За шахматным столиком новый корабельный врач и штурман громко разбирали какой-то шахматный этюд; прислушались к разговору командира и ракетчика — сразу же умолкли. Штурман до сих

пор бросал костяшки, сейчас потихоньку собрал их в карман. И никого уже не интересуют ни шахматы, ни бросание костяшек, остается недопитым кофе, хотя вестовой Рамир постарался, чтобы он отвечал всем требованиям Арнольда Петровича. «Так что вы предлагаете, кавторанг?» — спрашивает Можаров. «Нужно всплывать, товарищ командир». — «Категорически запрещено». — «Инженер также считает, что это единственный выход. Если не заварить корпус...» — «Все ясно. Запросите инженер-капитана третьего ранга. — И ко мне: — Как поступим, комиссар?» Мы идем к контр-адмиралу Выдышу: он самый старший на корабле, и командир лодки будет действовать лишь с его согласия.

Богдан Николаевич в каюте не один. Взъерошивая всей ладонью седину, разглядывает новый альбом. Василий Медядько стоит рядом, переминаясь с ноги на ногу, выслушивает адмирала. «Как же можно изменять своему таланту?! До сих пор все ваши славные ощущения, раздумья находили отражение в рисунках, ваши глаза видели забортные шумы, а мы их не видели! И благодаря вам я открывал для себя то, что было недоступно. Юрий Васильевич, взгляните-ка, что натворил этот ваш кандидат в Рембрандты!» Рисунки старшины и в самом деле не отличались ни свежестью восприятия, ни оригинальностью исполнения: множество подобных печатали армейские и флотские газеты, отмечая, что эти зарисовки принадлежат не профессиональным, а самодельным мастерам. Прибой, рейдовый катер, девушка в бескозырке, маяк, прыжок с трамплина, парусник... «А я собираюсь рекомендовать вас в студию имени Грекова!...»

Контр-адмирал отпустил старшину гидроакустиков, пригласив Можарова и меня сесть. Кивнув с улыбкой на дверь, за которой скрылся Медядько, сказал, что лично позаботится о судьбе старшины, будущего флотского художника.

Сообщение Можарова изменило ему настроение: ведь это означало, что нужно всплывать в районе, где все время патрулируют натовские корабли и авиация и нашими подводными ракетноносцами интересуются так же, как и ракетными базами стратегического значения. «Я готов на все, чтобы не сорвать выполнение боевого

приказа, товарищ адмирал. Я готов на все, и пусть меня потом расстреляют на корме лодки». — «Крайности ни к чему, Арнольд Петрович». — «Тогда с наступлением сумерек будем всплывать». — «Сварщики у вас есть? Кто сварит?» — «Объявим по трансляции, товарищ адмирал». — «Добро. От экипажа скрывать нечего. Все должны знать, что нам угрожает. Сами становитесь на командирскую вахту, а мы вдвоем с замполитом пройдем по отсекам».

Внешне контр-адмирал оставался совершенно спокойным, даже, как мне показалось, чересчур спокойным. Это адмиральское спокойствие можно было объяснить или уверенностью Богдана Николаевича в том, что командир «БЧ-2» немного преувеличил опасность, или заторможенностью восприятия, которое свойственно людям его, Богдана Николаевича, возраста. Но когда он подал мне знак идти с ним в кормовой отсек и посмотрел на Арнольда Петровича так, словно спрашивал себя, стоит ли сейчас оставлять его одного в центральном посту, мы оба поняли, что спокойствие адмирала не что иное, как непостижимое самообладание, и что он, как и мы, готов ко всему. Контр-адмирал хорошо знал всех старшин и матросов, однако, обходя отсеки и встречаясь с ними, внимательно смотрел каждому в глаза, перед каждым ставил один и тот же вопрос: «Как себя чувствуете? Есть просьба?» И почти неизменный ответ: «Буду считать за честь поработать за бортом, товарищ адмирал!» — «Хорошо. Мужества подводникам не занимать. Вы подводник». Возвращаясь в центральный пост, Богдан Николаевич положил мне руку на плечо и задумчиво сказал: «Самое ценное, что есть на атомоходе, Юрий Васильевич, так это их молодость».

Контр-адмирал, командир, старпом и я просмотрели кандидатуры добровольцев, продумали все до мелочей и остановились на том, что за борт ракетноносца пойдут Вайнейкис и Девушкин, — старшина заверил: надежно сваривал подобные швы на лабораторных занятиях в учебном отряде.

Белый свет, крутая зеленая волна.

В спасательных жилетах и резиновых перчатках, с инструментами, старпом и химик стояли перед Можаровым, выслушивая последние наставления. «Сколько времени требуется, чтобы заварить шов, старшина?» —

«Зависит от трещины, товарищ командир. Минут пятнадцать самое меньшее». — «Многовато. Над морем висят вертолеты. Чужие вертолеты». — «У меня интуиция...» — «Добро. Со мной на ходовой мостик поднимутся сигнальщики. Как вы, товарищ адмирал?» — «Да, командир, никого лишнего на мостике не должно быть».

На ракетноносце на минуту-другую становится очень тихо, пока по корабельной трансляции не зазвучали команды Можарова:

«Старшине радистов заступить на вахту. Держать с базой постоянную связь!»

«Рулевым-сигнальщикам приготовиться к выходу!»

«По местам стоять!.. Продуть среднюю!»

Этот день рождения — самый долгий в моей жизни. С тех пор, как мы всплыли на поверхность, и за бортом атомохода очутились офицер и старшина, и искры электросварки стали высекаться из морских волн, накатывающихся на атомоход в светлых средиземноморских сумерках, а лодка, покачиваясь с боку на бок, подставляла Девушкину свою рану, — с тех пор я не ощущал ни своего сердца в груди, ни пенного шума моря, ни сообщений, поступавших из отсеков, а как-то тупо смотрел на корабельные и свои часы, минутные стрелки которых, казалось, совершенно остановились. И почему-то вспомнилось, как учитель истории, чтобы заинтересовать нас, сочинял подробности старины. (Сегодня у Нефертити день рождения, и уже с раннего утра тысячи рабов украшают город, убирают цветами ее праздничную колесницу. А великий Эхнатон, повелитель земли и любимец богов, готовится преподнести ей щедрейшие подарки. Нефертити не терпится узнать, что куплено для нее в Фивах, и она посылает верную рабыню узнать. И возвращается старая рабыня и нашептывает красавице из красавиц, что привезли высокую тиару, усеянную перлами, необыкновенной красоты золотые перстни, дивные браслеты. И нет границ женскому счастью, и хвала всем богам за земной рай для фараонов!..)

Что им видно оттуда, с ходового мостика? Самолеты и корабли Шестого американского флота или египетские пирамиды? Или небосвод с созвездием моего Льва и пустынное море? Я вздохнул полной грудью солоно-

ватый озон, проникавший в центральный сверху, и у меня приятно закружилась голова. Очень хотелось, чтобы со мной или с кем-нибудь заговорил Богдан Николаевич, но он, всегда разговорчивый собеседник, не проронил ни слова, недвижно сидел на командирском стульчике около трубки перископов и слушал, что происходит на ходовом мостике и за бортом. По его лицу, освещенному ярко-красным светом, время от времени мелькали тени неопределенных сомнений. Контр-адмирал ни разу не взглянул ни на свои, ни на корабельные часы: его глаза смотрели только на крепкие, жилистые руки мичмана Чотия, в которых скрипели стиснутые рули — душа корабля. Адмирал решительно встал, поправил фуражку, отряхнул китель так, словно должен был сейчас приветствовать кого-то старшего или принимать приветствие.

— Пройду в ракетный и носовой отсеки, — сказал приглушенным голосом.

— Разрешите вас сопровождать?

— Нет, Болюбаш, слушайте ходовой мостик.

Богдан Николаевич внимательно посмотрел на меня, на боцмана, на матросов возле переговорной и вышел с центрального поста. Мне долго слышались его гулкие, твердые шаги.

В лицо бьют брызги морской воды; будто шаловливые дети, прыгают с ходового мостика в центральный капитан-лейтенант Вайнейкис и старшина Деушкин, мокрые, еще взволнованные и крайне усталые. Стоят и не верят, что все позади, что приказ выполнен и можно скинуть резиновые рукавицы, спасательные жилеты, переодеться. Большие капли воды скатываются с их волос, на палубе у них под ногами расплываются две лужицы. Пустеет ходовой мостик — в лодку спустились сигнальщики, и Можаров наглухо задраил верхний и нижний рубочные люки. Забортная вода ринулась в цистерны почти одновременно с перезвоном клапанов вентиляции. Вздрогнула стрелка глубиномера, поползла по шкале, и по тому, как быстро увеличивалась глубина и как ежесекундно индикатор отсчитывал десятки метров, я понял, что ракетносец круто пошел в бездну.

«Переложить руль. Так держать! Осмотреться...»

Не успеваем перевести дух и почувствовать облегчение, как из носовых отсеков в центральный пост повеяло горячим воздухом, будто атомоход просверлил мантию и уткнулся в земное ядро. Корпус корабля содрогнулся: «Переложить руль! Глубина — сорок метров!»

Ни Можаров, ни я, ни старпом не могли понять, что случилось. А ракетносец уже шел к поверхности моря, покорялся воле командира и рулевых.

— Где адмирал? — вдруг спросил Арнольд Петрович; как потом выяснилось, он не мог вспомнить, для чего ему понадобился контр-адмирал.

Я тоже не мог вспомнить, что ответил командиру и что вообще творилось в центральном посту: я стоял в неизвестном до сих пор оцепенении и только видел руки мичмана Чотия, на которые перед этим внимательно смотрел Богдан Николаевич.

— Командир, слышишь меня? — отозвался контр-адмирал по громкоговорительной связи. — Центральный пост! Перекрыть трубопровод гидравлики!

— Есть перекрыть!

В центральном наступила нестерпимая тишина. Мичман Чотий держал корабль на заданной глубине, лаг отсчитывал милю за милей. Я бросился в первый отсек, за мной старпом.

— Товарищ адмирал! Товарищ адмирал! Богдан Николаевич! — звал Можаров.

Контр-адмирал не откликался.

Вдвоем со старпомом мы попытались зайти в носовой отсек, но рукоять кремальеры была зажата и попасть в отсек было невозможно. Вайнейкис постучал в стенку, но никто не торопился нам открыть. Мы хорошо знали, что кроме Богдана Николаевича там еще семеро: старшина торпедистов, трюмный старшина, матросы и командир «БЧ-3», — кто-кто, а он должен был отозваться!.. Пробежали минута за минутой... Капитан-лейтенант Вайнейкис снова постучал, и через некоторое время щелкнула рукоять, но нам никак не могли открыть.

... Контр-адмирал переступил комингс и был поражен — отсек заволкло густым смазочным туманом и то и дело угрожающе вырывалось какое-то шипение. А те, кто стоял на боевых постах, этого не замечали и не били тревогу. «В трюме, доложить о состоянии трубо-

проводов системы гидравлики! — приказал трюмному старшине Богдан Николаевич. Ему не хватало терпения, и он грубо добавил: — Вы что там, спите? Докладывайте!» — «Через свищ и флюсовое соединение масло течет... из магистрали!» — уже не помня себя, закричал трюмный, и его крик услышали на всех постах носового отсека. Торпедисты вскочили с мест и окаменели. Размеренно жужжал вентилятор. Справа и слева лежали вдоль борта огромные сигары запасных торпед. Боевые торпеды в аппаратах... Достаточно малейшей искры — и ракетносец взорвется. Обжигающая, как жало, мысль пронизала контр-адмирала, передалась матросам. Кто-то из них бросился из отсека, но адмирал преградил ему дорогу и задраил отсек. Он не успел подать команду, как командир «БЧ-3» сорвал шнур-вентилятор. «Аврал! Заделать течь!» Именно тогда и отозвался Богдан Николаевич нам в центральный: «Командир, слышишь меня?.. Перекрыть трубопровод!» На восклицания капитана первого ранга контр-адмирал не отозвался ни одним словом — ему уже не хватило времени для переговоров... Стихло шипение, отсек постепенно освобождался от коварного тумана, и командир третьей боевой части решил доложить адмиралу, что опасность миновала. Он подошел к Богдану Николаевичу, как полагается подходить к старшим, и, как полагается, приложил руку к головному убору и сначала никак не мог сообразить, почему адмирал, прислонившись к стенке, все еще крепко держит рукоять кремальеры и не собирается отпускать. Офицер наклонился к Богдану Николаевичу и только тогда понял, что для него, адмирала Выдыша, навсегда отошли все приказы и доклады и что, заслонив собой корабль от гибели, он завершил боевой путь далеко от них, там, где никогда не было и не будет ничего земного.

В сопровождении эскадренных миноносцев и кораблей противолодочной обороны мы входим в базу с припущенным стягом. Справа по борту ракетносеца остров Ветров, на траверзе которого наши атомоходы всегда погружаются в синее безмолвие и всплывают, возвращаясь из походов. Издалека в утренней прозрач-

ности видно, как на острове коснулся обелиска первый луч загоризонтного солнца и окрасил его вершину, — и весь обелиск, казалось, создан из цельного сплава морских бурунов. А море катит волну за волной все к острову и к острову. Оттуда навстречу нам уже летят белокрылые чайки. Летят и будут лететь всегда.

Киев

1970—1971



**СТАРИЕ
ПАПИ
НОБЕТА**

1

2

3

4

5



Июль 1960 г.

Ночь начала таять с востока, и вскоре на темно-синем горизонте проглянуло светло-голубое, с едва заметным оранжевым оттенком рассветное окно. Спустя некоторое время горизонт покраснелся, и из морской просини выплыло кумачовое солнце.

Шторм перебесился около турецких берегов, и к нам дошла только ленивая мертвая зыбь.

Безветрие — быть жаркому дню. На подводной лодке это не имеет большого значения. Хорошая или плохая погода — нам все равно. В позиционном состоянии в течение суток мы находимся не больше часа-полтора. Затем пойдем на глубину, чтобы всплыть уже завтра, встретить восход солнца и снова погрузиться еще глубже. Обо всем этом мы запишем в вахтенном журнале.

Вахтенный журнал — летопись корабля. По мысли кадровых штабистов, он фиксирует каждый наш шаг, отданную и выполненную команду, допущенную ошибку; он обо всем доложит так подробно, как не сумеет доложить ни один командир.

Кое-кто на казенных страницах вахтенного журнала старается найти еще и отображение всех движений матросского сердца в походе — проявление его мужества и стойкости, вкрадчивые сомнения, разочарование в море или безграничную преданность ему, любовь к нему.

Если это так, то для чего я сюда послан? И почему эти загорелые люди в черных пилотках подводников ищут случая посоветоваться со мной, ждут моего слова? Почему в мои двадцать семь лет они между собой называют меня комиссаром, как называли тех, кто выпестовал, взрастил и прославил наш революционный флот?

Нет, на корабле недостаточно только вахтенного журнала. Я должен вести свою летопись, совершенно отличную от той, где обозначены курсы и пеленги, долготы и широты, пройденные нами, часы и минуты срочных всплываний и погружений. Не знаю, на что он будет похож: на обычный, чуточку интимный дневник, на разрозненные заметки и отзывы о подчиненных подводниках, сделанные на основании личных впечатлений, или на служебную офицерскую тетрадь со множеством записанных серьезных и детальных до педантичности наблюдений? Это мне еще не известно, но я уверен — это крайне необходимо. Если не для штаба и политотдела, то для меня обязательно. Чтобы быть матросским комиссаром, недостаточно носить золотые нашивки на рукавах и звездочки на погонах. Нужно обладать чуткой душой, время от времени «пересматривать» ее хотя бы по тем записям, которые отныне станут неотъемлемой частью моей флотской жизни.

Ну разве вахтенный журнал отметит сегодняшнее неожиданное признание моего командира? До сих пор я считал капитана третьего ранга если не напыщенным, то по крайней мере далеко не простодушным человеком. Всегда выбритый до синевы на острых скулах, тщательно причесанный, в неизменно свежей, накрахмаленной сорочке, выглаженных брюках, сверкающий от форменной фуражки до туфель, он взвешивает каждое свое

слово, как высокопоставленный дипломат, и позволяет себе говорить только о крайне важных делах, проявляя свою глубокую осведомленность во всем, что касается моря. Историю русского флота знает так, как должен знать каждый порядочный офицер.

Для него главное — офицерское благородство, воспитание.

Он был кадровым подводником, и, может, это привлекало к нему матросов, побуждало их обращаться не так, как того требует звание, а просто: «Товарищ командир». Я пока что избегал каких-либо обращений. Заметил ли это капитан третьего ранга? Наверное, заметил. Лодка сейчас в дрейфе, мы с ним сидим на мостике и заняты одним — молчаливым наблюдением.

— Что вы, товарищ капитан-лейтенант, заскучили? — оторвавшись от бинокля, неожиданно обернулся он ко мне. — Надоело болтаться в море, по берегу соскучились?

— Абсолютно нет.

— Чего там скрывать, скажите, что соскучились. Поход длительный, все однообразно, никаких приключений. Не кажется ли вам иногда, что нас умышленно отключили от мира, обидели? Каждый день наполнен важными событиями, новыми свершениями, а мы только тем и занимаемся, что переводим государственные средства, растрачиваем свое драгоценное время. Верно?

— Я думал как раз не об этом.

— А моя жена, представьте, в этом убеждена, — задумчиво, с нескрываемой грустью, сказал капитан третьего ранга. И, словно опомнившись, что это не очень удобно в присутствии подчиненных, строго спросил старшину сигнальщиков: — Рязанов, как горизонт?

— Горизонт чистый, товарищ командир.

— В центральном! Штурман!

— Есть! — отозвался центральный.

— Отметьте в вахтенном: ноль четыре семнадцать. Лежим в дрейфе. Горизонт чистый. Товарищ старшина, немедленно усилить наблюдение.

Отдав эти обычные и необходимые распоряжения, капитан третьего ранга как бы морально позволил себе присесть на еще мокрой банке (а она так и не успеет высохнуть — лодке находится на поверхности считанные

минуты) и закурить обязательную трубку. Мне не предлагает — я не курю. Я хочу досыта надышаться озоном, которого так не хватает там, под водой.

Утомленное штормом, море кажется бессильным и едва выплескивает на лодку маленькие брызги, словно цепляется за него, но не может удержаться и только раскачивает. Раз, второй, десятый...

Солнце уже оторвалось от моря, и брызги, которые разбиваются о лодку, падают назад, в море, рассыпчатыми лучами. Они не растворяются, не гаснут, держатся на волнах и вместе с ними катятся к лодке.

— Вы женаты?

Как и в первый раз, своим вопросом капитан третьего ранга оторвал меня от чисто философских размышлений.

— Еще не отважился.

— Жаль. Тот, кто не познал всех прелестей семейного счастья, — усмехнулся он сквозь кольцо дыма, — многого не знает. Сложность и противоречивость женщины познаются после женитьбы. Моя жена ленинградка, выросла в семье потомственных военных моряков. В девичестве отклоняла любые ухаживания филологов, художников, артистов. Короче говоря, искала себе мужа среди флотских. Попался я ей на глаза, курсантик, — вмиг в себя влюбила. Такой бесенок была, — воскликнул он шутливо, — что сразу же заявила: «Как хочешь, крути-верти, а все равно будешь моим». Привела к себе домой, отрекомендовала. И не как-нибудь, а женихом. И, знаете, — уже открыто насмеялся капитан над собой, — понравилось мне так называться — жених. Проходил в этом высоком звании ни много, ни мало все четыре курса училища. Выпуск и... свадьба. Не жена, а золото. Посылают меня на Камчатку — собирается на Камчатку, на Сахалин — пусть будет Сахалин. Север так Север... О верности и говорить нечего. Обзавелись сыновьями. Заботливая, хочет, чтобы на мне все как с иголочки было. И вот будто кто ее подменил. Твердит одно: «Уходи из флота да уходи. Миллионную армию демобилизуют, к полезным делам людей направляют. Чего тебе болтаться в море? Дети растут, а ты им не отец, а случайный гость...» Рапорт обязала написать в отставку. Ношу в кармане третий месяц, истер в прах, не решаюсь подать.

— И правильно, товарищ командир, — как стоял к нам спиной, так, не оборачиваясь, и откликнулся старшина Рязанов. — Пока существуют всякие ястребы да реваншисты, никакой отставки вам не дадим.

— Как горизонт? — нахмурился капитан третьего ранга. Поднялся, спрятал трубку, взглянул на часы.

— Без изменений, товарищ командир.

— Есть. Всем вниз. В центральном, задраить отсеки, приготовиться к погружению!

Я в последний раз набираю полные легкие свежего воздуха и первым проваливаюсь в узкий люк. Рязанов почти садится мне на плечи, а на него, несомненно, командир. Щелкнули замки люка. За бортами забурило в цистернах вода. Лодка с незначительным дефферентом на нос пошла под воду. Стало необыкновенно тихо. Берем курс на Н-ский квадрат. Мое место во втором отсеке. Здесь и мой сейф. Вот сейчас, когда я сам задраен с двух сторон, я и сделаю в своем «политическом журнале», как громко назову его, первую запись.

Переложил все бумаги, но неначатая «общая» тетрадь, приобретенная мною перед отъездом из Москвы, словно исчезла. Откладываю подшивки отчетов, информации, донесений. Папки разные — серые, зеленые, желтые, коричневые. Последней в руки попадает синяя, разбухшая, перевязанная шпагатом. Тяжеловата. На обложке приклеен ярлык с надписью, напечатанной на машинке: «Город... войсковая часть... Дело старшины Разуева». Наверху размашисто, наискось красным карандашом: «Замполиту. Сдать в архив».

Почему же мой предшественник, передавая дела, не обратил моего внимания на эту папку, хотя ей уже нужно быть в архиве? Не успел он, сдал бы я. С каким это Разуевым могло возникнуть дело? Ведь такого на корабле нет.

В тот день я не сделал в своем «политическом журнале» первой записи, но, внимательно перечитав дело старшины Разуева и забытый (а может, и не забытый) в нем дневник моего предшественника, все-таки выругал себя за поспешные выводы. Синюю, перевязанную шпагатом папку в архив не отнес. Да простится мне это.

22/V 1957 г.

На базу вернулись после выполнения торпедных и артиллерийских стрельб. Весь экипаж действовал безукоризненно. От адмирала заслужил особую благодарность старшина сигнальщиков Разуев. Глаз у парня зоркий, слух необычайно тонкий. Врожденный подводник. Это у него уже пятидесятая благодарность. Удивительно, как мы до сих пор с командиром не предоставили ему внеочередного отпуска с выездом на родину. Есть матросы, которые сами об этом каждый раз напоминают. А Разуев такой скромный, что даже не намекнул. Обязательно подскажу капитану третьего ранга. Надеюсь, Александр Васильевич не откажет. Вообще с таким командиром легко служится. Прибежал посыльный штаба, срочно вызывают на офицерские сборы. Будут разбирать наш поход. Что ж, можно идти спокойно. Боевые стрельбы выполнены на «отлично» — значит, и политработа была на надлежащем уровне. Не так ли?

27/V 1957 г.

Капитан третьего ранга меня поддержал. Велел писарю подготовить приказ: Разуев поедет домой, в Калининскую область, на две недели. Вдвоем с Александром Васильевичем мы позвали его в каюту, чтобы обрадовать, спросить, какие у него сбережения и не нужны ли ему деньги на подарки родителям.

К нашему удивлению, старшина поднялся и сказал:

— Разрешите остаться на лодке.

— Почему?

— Мне некуда ехать...

Мы с Александром Васильевичем переглянулись. Вот так знаем подчиненных... Свое упущение я исправляю тем, что предлагаю Разуеву провести это время хотя бы тут, в городе. Но он и от такого предложения отказывается. Мы вынуждены его отпустить. Сидим, молчим. Капитан третьего ранга наконец резко встает, начинает ходить по каюте. Как и я, он явно встревожен. И не самым фактом, что старшине некуда ехать, а его фразой, брошенной словно мимоходом:

— Разве вы не знаете, что я человек без прошлого? .. Не знаю, кто я, чей. Все начальники допытываются. А кому это нужно?

Неожиданная резкость в словах старшины неуместна, но это уже, вероятно, так надоело ему, что он не сдержался.

— Вот что, дорогой мой заместитель, — на прощание сказал Александр Васильевич, — познакомимся с личным делом Разуева. Мы должны восстановить его биографию. У нас нет и не может быть людей без прошлого. Свой приказ о его отпуске не отменяю. Он поедет домой. Со временем. Ему, я уверен, есть к кому ехать.

Безусловно, командир прав.

ДЕЛО РАЗУЕВА

АВТОБИОГРАФИЯ

«Я, Разуев, Иван Иванович, родился в селе Веноки, Калининской области, в 1935 году. Правда это или нет — не знаю, потому что так записано в приказе Ярославского облоно, когда в 1943 году меня отправляли в детский дом села Норское. Кто мои родители, не могу вспомнить. Если не ошибаюсь, моего отца звали Иваном, был он очень высокий, любил трактор и всегда ночевал около него в поле. Мама Оля варила там ему еду, а меня отдала деду Архипу на пасеку. Деда убила фашистская бомба. Я спрятался в сарае. Там и подобрали меня танкисты, отвезли, если не ошибаюсь, в село Дудинское. Перебывал несколько лет в разных детских домах. Неоднократно из них бежал. На это были разные причины. В одних плохо одевали и кормили, в других не знал ласки, настоящей заботы.

В 1948 году был отправлен в Ярославское ремесленное училище (г. Рыбинск). По окончании получил назначение в Николаев, на судостроительный завод им. Носенко. В Николаеве работал токарем на заводе. И в 1955 году призван на действительную службу в Военно-Морской Флот. Закончил школу подводного плавания по специальности рулевой-сигнальщик.

Комсомолец. Взысканий не имел. Надеюсь и в будущем их не иметь.

Старшина 1-й статьи И. Разуев»

1/VI 1957 г.

Советовался с Александром Васильевичем, стоит ли говорить Разуеву о нашем решении заполнить белые пятна в его автобиографии. Александр Васильевич предпочитает, чтобы Разуев ничего не знал. А если все это окажется напрасным? Лишний раз потревожим его сердечную рану — и только... Вполне возможно. Я согласен с командиром.

Странно, почему я так разволновался, когда посылая по почте первый запрос в это незнакомое село Веноки? Вот и сейчас не могу без волнения сделать очередную запись в дневнике.

Веноки... Что оно нам скажет, как ответит?

«Исполнительный комитет Калининского областного Совета депутатов трудящихся на ваш запрос уведомляет, что, согласно данным исполкома, села Веноки в области нет. Есть село Веноколы, Лихославского района.

Розыск семей военных в круг наших обязанностей не входит. Обратитесь в облвоенкомат.

*Заместитель заведующего отделом
М. Деньгов»*

12/VII 1957 г.

Та-а-ак... Неужели вам, товарищ М. Деньгов, нужно было целых два месяца, чтобы отослать подобный ответ? Я не знаю, что входит в круг ваших обязанностей, но, безусловно, у вас нет своих детей и никого из близких вы не потеряли на войне. Ведь если бы вы понимали все это душой, то не подписали бы это холодное письмо. А впрочем, вы этих строк никогда не прочтете, и краснеть, хотя бы перед самим собой, вам не придется.

...В полночь проснулся от дурного сна и взялся за перо. Приснился Деньгов. Будто захожу к нему в кабинет, а он, откормленный, самодовольный, цедит сквозь зубы:

— Жаловаться пришли? Давай, давай! Много вас, таких, что целются на мое место. Скажу откровенно: если бы не общественная комиссия по проверке прохождения

писем трудящихся, я бы ответил тебе после дождичка в четверг.

Мне стало омерзительно, и я вынудил себя проснуться.

— Ну и что? — говорю себе. — Встретился на нашем пути Деньгов — так и конец? Обратимся к настоящим людям.

ДЕЛО РАЗУЕВА

«Уведомляю, что по данным райгорвоенкоматов в Калининской области село Веноки не значится. Данных о Разуеве Иване Ивановиче не имеем.

Поскольку территория Калининской области дважды изменялась, нет ли этого села в Псковской или Смоленской областях?

Наш ответ неокончательный. Облвоенкоматом даны указания районным и городским комиссариатам еще раз удостовериться в правильности своих ответов.

Калининский облвоенком полковник Д. Коркишко»

«В дополнение к нашему письму, исходящий № 4/118 от 7.IX 1957 г., уведомляем, что, по сообщению Оленинского военкомата, на территории района было село Веноки, бывшего Воронинского сельсовета, которое в 1942 году было сожжено фашистскими бандитами и больше не существует, обитатели села, за исключением однофамильцев Разуева (Зинаиды Семеновны и Марии Петровны), которые спрятались в погребе, погибли в огне и под пулями эсэсовцев.

Обе Разуевы проживают в селе Оленино и работают в больнице. Им будет сообщено о ваших розысках и ваш адрес.

Полковник Д. Коркишко»

ДНЕВНИК

24/X 1957 г.

Едва пришвартовались к причалу, как нам вручили большую почту. Среди груды разных писем, пришедших за это время, я нашел второй ответ полковника Коркишко. Показал Александру Васильевичу. Командир перечи-

тал, аккуратно отложил. На его суховатом лице никаких изменений. Умеет сдерживать себя.

— Как вы думаете, — тихо спрашивает, — село Венокки — это его, Разуева, село?

— Возможно, да.

— А кем ему доводятся Зинаида Семеновна и Мария Петровна?

— Наверное, родственники.

— А мать? Может...

Я понял, на что намекает Александр Васильевич.

— В своей автобиографии старшина вспоминает ее, называет Ольгой... Все можно забыть, но имя матери...

— Это верно.

• Будем ждать писем от Зинаиды Семеновны и Марии Петровны.

Командир сходит с корабля, я остаюсь. Мы условились: сегодня отдыхать ему, завтра — мне. Чтобы моя жена не волновалась, он проведает ее, объяснит «ситуацию» и пригласит к себе в гости. В семье Александра Васильевича ей легче скоротать эти тяжкие двадцать четыре часа, значительно более трудные, чем предшествующие двадцать четыре дня нашей разлуки.

Вместе с дежурным офицером просмотрел списки тех, кто увольняется на берег. Спокоен: все хорошие матросы, недоразумений, неприятностей не должно случиться. Отмечаю про себя: Разуев не записался.

— Позовите старшину Разуева.

Он немедленно является. В робе. Стараюсь взглянуть ему в глаза. Не отводит их, смотрит прямо, не моргая, хотя немного смущается.

— Вы что, не хотите отдохнуть на берегу?

— Хочу, товарищ капитан-лейтенант.

— Почему не записались?

— Там, — указал на список, — трос моих подчиненных. Оголится сигнальная вахта.

— Кого вычеркнуть?

Старшина густо краснеет и уже каким-то извиняющимся тоном, по-детски просит меня:

— Не нужно...

Настаивать — обидеть Разуева, моего Разуева (да, да, моего), и я его отпускаю.

Ваня, какой же ты хороший! Почему не встретился мне тогда, на фронтовой дороге, пацаном? Я бы никому

тебя не отдал, ни в какой детский дом. Какое счастье быть отцом такого сына! А сейчас предлагать то, что надумал, просто невозможно. Ты взрослый, полностью сформировавшийся... Эх, на какие только мысли не наведут разворошенные чувства! Нужно успокоиться, чтобы понять: и детский дом, и ремесленное училище, и завод, и, наконец, флот растили его, строго растили.

У него был свой Макаренко. Кто?

ДЕЛО РАЗУЕВА

ПИСЬМО

5/XI 1957 г.

«Дорогой Ванечка! Любимый, милый, кровиночка моя! Пишем тебе с Марией это письмо, а за слезами света белого не видим. Только что сообщили нам из военкомата о тебе. И не знаем, верить или не верить. Неужели и в наш дом заглянет счастье и я скоро обниму тебя, расцелую, сыночка своего? Неужели всем моим материнским страданиям пришел конец? Сыночек, дай мне отдышаться, выплакаться всласть, и тогда я все по порядку... (Другим почерком.) Ваня, мама так обрадовалась, что не удержит ручки. Отобрала у нее бумагу и напишу все, что она мне продиктует.

Здравствуй, наш Ваня. С низким поклоном к тебе мама Зинаида Семеновна и жена Мария. Как тебе, наверное, известно, мы уцелели и живы-здоровы. Попрощались с тобой 27 июня 1941 года, а вот сейчас получили весточку о тебе. Кому мы только не писали, к кому не обращались, к самому министру обороны, а отовсюду одно: пропал без вести. Ко мне уже не раз сватались, Ваня, а я свое слово сдержала — не оставила мамы. Села Веноков нет, уничтожили оккупанты как партизанское. Много наших расстреляно. И всю семью дяди Андрея, и тетью Фросю — всех. А нас с мамой чудо спасло. Вернулась Красная Армия, и перебрались в Оленино. В больницу поступили, мама — санитаркой, а я — сестрой. Власть построила нам дом, выучила меня на фельдшера. Все у нас есть, одного тебя не хватало. Над моей кроватью всегда висит наша свадебная фотография. Ложусь и встаю — обязательно посмотрю на нее.

Мама переплакала и подсказывает: Ваня, наверное, нас тоже разыскивал. Но прослышал, что село сожгли, адреса такого нет и перестал.

Ванюша, мы ждем тебя и боимся. Это для нас неожиданность. А мама говорит, что от неожиданностей у нее мало было радостей. Нам из сообщения военкомата не ясно, почему ты из водителей поступил в моряки?

Это и страшно. Ты же так любил машины и говорил: «Никогда и ни на что не сменяю их». Как же это случилось?

Передай своим начальникам большое спасибо от нас. Спасибо им, что побеспокоились, помогли нам найти друг друга. И не задерживайся, приезжай немедленно. А мы отныне будем ждать. Приготовимся. Приглашай с собой всех, кого захочешь. Всем твоим друзьям места хватит. А командира посадим на почетном месте. Приезжай, Ваня. Целуем крепко-крепко. Твоя мама и я, Мария. А еще поздравляем с праздником Октябрьской революции. Песню тебе по радио закажем».

ДНЕВНИК

8/XI 1957 г.

Разуев песни не слышал. Я добился его увольнения на берег. Отдал ему свое приглашение на праздничный вечер в Дом флота. Борясь со своим смущением, старшина совершенно справедливо спросил:

— Что это вы, товарищ капитан-лейтенант, отправляете меня с корабля? А я, может, хочу с вами побыть...

— Со мной неинтересно, ведь я не девушка, — отшутился я. — Сходите. Хороший отдых службе не помешает.

Разуев послушался.

В 20 часов 30 минут передавали для воинов концерт по заявкам родных и близких. Зинаида Семеновна и Мария Петровна тоже заказали. Песня известная. Много раз слушал ее, но каждый раз она будила во мне все новые и новые воспоминания, бредила душу мою.

Вернулся я на родину,
Шумят березки с кленами...

Выключил динамик и написал Разуевым письмо, написал горькую, честную правду. Возможно, это жестоко,

но какая из наших многострадальных женщин не знала войны и жестокости? Посланиями черной смерти приходили матерям и сестрам, женам и дочерям похоронные оповещения. И хотя это единственное для всех послание было составлено разумным и чутким человеком (или в жестокой битве, или по неосмотрительности, или в далеком тылу умирали мы, ставили в один ряд — погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками), разве это уменьшало, подавляло женское горе?

Нет, наши женщины в подачках не нуждаются. Пусть будет так, как написано.

Только одно не прощается: своими поисками мы словно вторично вынуждаем почтальонов приносить в чьи-то дома оповещения. Отказаться от розысков?

ДЕЛО РАЗУЕВА

Письмо и фотография

«Глубокоуважаемый товарищ командир!

Спасибо Вам за откровенность. Что ж, видно, не в добрый час пришла к нам последняя надежда. Жаль, что Ваш ответ сразу попал в руки Зинаиды Семеновны. С нею случился приступ, и сейчас она лежит в больнице. Не беспокойтесь, ей уже лучше. Посылаю фотографию моего мужа, Разуева Ивана Ивановича. Посмотрите все-таки, а вдруг...

С уважением
Мария Разуева»

ДНЕВНИК

19/XII 1957 г.

На лодку неожиданно зашел начальник продовольственного снабжения базы майор Зизда. Невысокий, довольно полный. Он предусмотрительно проверил одной ногой прочность трапа, осторожно ступил на него. Балансируя руками, взбежал на лодку. Вахтенный офицер, козырнув, приветствовал его, чем напомнил береговому офицеру его обязанность — отдать военную честь знамени корабля. Майор шепнул мне, что у него ко мне конфи-

циальный разговор. Я пригласил гостя во второй отсек. Спускаясь во входной люк, Зизда сочувственно сказал:

— Ну и служба у вас — всегда как в могиле. В авиации, вероятно, и то веселее.

Я задраил перегородки от первого отсека и центрального поста, и майор довольно отметил, что более интимной обстановки нигде не найти.

Он колебался, явно подыскивал нужные слова для начала, а я его не торопил.

— У вас служит старшина Разуев, сигнальщик, — вежливо сказал. — Парень как парень. Не скажешь, что отличается особым умом, но и не глупый. Держаться умеет, военной выправки. Короче, внешне обычный старшина. И если бы он не встретился с моей дочерью Эвелиной, у меня не возникла бы необходимость обращаться к вам как к заместителю командира по политической части. У меня тоже есть подчиненные, знаю все их тайны. Вы тоже знаете о своих... Старшина Разуев трижды был у меня дома, ужинал. Я всеми способами старался выяснить его родословную, но Разуев уклонялся от ответа. Вы политический работник и, безусловно, меня понимаете. Я старший офицер, пользуюсь заслуженным авторитетом, человек проверенный, выходец из рабоче-крестьянской семьи. И не могу оставаться равнодушным к тому, с кем дружит Эвелина. Сосед — капитан первого ранга, начальник штаба. И как-то неудобно перед ним, что моя дочь знается с матросом...

Под моим пытливым взглядом майор немного замаялся, но свою мысль закончил:

— Конечно, в этом нет ничего предосудительного. Но поймите меня, как отца: поинтересуется капитан первого ранга, кто он и откуда, — что я скажу?

Майор быстро достал из кармана и показал мне потертый листок-приглашение на праздничный вечер в Дом флота, который я когда-то отдал Разуеву.

— Очень приятно, что старшина пользуется у вас таким доверием. Они были с Эвелиной на вечере, и я, конечно, придержал это приглашение как свидетельство вашего покровительства...

Майор еще что-то хотел добавить к сказанному, но умолк.

— С дочерью вы, товарищ майор, на эту тему говорили?

— А как же. Но она ничего путного не сказала. Девочка-десятиклассница. Влюбилась, и что с нее возьмешь!

— Волнения ваши напрасны. Старшина Разуев прекрасный моряк и тоже, — подчеркнул я, — выходец из рабоче-крестьянской семьи. Его родители погибли героической смертью на войне. Слышите, героической смертью! И не смейте у него дспытываться подробностей! Он, насколько мне известно, еще не собирается жениться на вашей дочери, и ей ничего не угрожает. У Разуева все еще впереди. Мы пошлем его учиться на офицера. Я убежден — из него выйдет незаурядный командир. Да, командир современной подводной лодки. Ну, а если отпадет необходимость в военных моряках, то и тогда он найдет для себя полезное дело.

Майор поспешно распрощался со мной, поспешно выбрался наверх, поспешно оставил лодку.

ДНЕВНИК

00 час. 17 мин. 1 января 1958 г.

Море. Жгучий ветер. Морозная ночь. Новый год встречаем в походе. Свободных от вахты Александр Васильевич пригласил в кают-компанию, во второй отсек. Всем поровну налил в бокалы вина. Бокалы — алюминиевые матросские кружки. Чокнулись. Не было переливчатого хрустального звона, но был пышный тост командира.

Я знаю, слышу, вижу, как там, на берегу, наши родные и близкие поднялись за праздничными столами и провозгласили: «За тех, кто в море!» Этим они выразили все: и веру в нас, своих часовых, и любовь к людям, которые надели строгие военные мундиры, и надежду на завтрашний мирный день. Пусть же не устают ваши руки, не затуманивается взор и будет ясным ум, чтобы наш корабль всегда шел заданным курсом и нам говорили: «Так держать!»

— Разуев!

— Слушаюсь!

— С Новым годом!

— Вас также, товарищ командир.

- Как море?
- Все в порядке, замечаний нет.
- Не замерзли?
- Нисколько.
- Если нисколько, то смеяйтесь.
- Есть.

Разуев сдает вахту, спускается с командирского мостика. Александр Васильевич, словно между прочим, спрашивает у меня:

- О нем... новости какие-нибудь есть?
- Нет...

— Жаль. Вернемся на базу — безотлагательно займитесь. Безотлагательно. Разуев попросил у боцмана Устав партии... Ознакомиться.

- Принимаю, Александр Васильевич.

Как же это получается, что командир иногда замечает то, что должен первым замечать я?

ДЕЛО РАЗУЕВА

18,1 1958 г.

«Дорогие товарищи!

Согласно вашему запросу, администрация и завком завода имени Носенко посылают копии приказов о принятии и увольнении с работы (в связи с призывом на действительную службу в ВМФ) бывшего токаря Разуева И. И.

Одновременно считаем необходимым выслать копии приказов о неоднократном его награждении премиями и благодарностями за добросовестное выполнение срочных правительственных заданий. Думаем, что для его личного дела это необходимо.

Что касается дополнительных биографических данных, то, кроме тех, что известны вам, завод других не имеет. Извините, но вам придется обратиться в Ярославское ремесленное училище.

Желаем вам и личному составу корабля больших успехов в боевой и политической подготовке.

По поручению дирекции и завкома А. Коваль»

18/1 1958 г.

Сначала командиру корабля от пенсионера Ненакличбеды Лариона Игнатьевича, потом для вручения Ване Разуеву:

«Ванюшка, что же ты, басурман, чураешься дяди Лариона? Негоже, негоже. То ты говорил, что я тебе отцом родным был, а теперь и писать ленишься. Ты на мою бабу не сердись, у нее такая судьба — ворчать на людей. И на тебя рычала, и на себя рычит, и ко мне придирается. Горе мне с ней, да и все. Когда ты призвался во флот и она содрала у тебя за квартиру почти все деньги (а я, Ваня, узнал об этом немного позднее), я устроил ей такую головомойку, что моя старуха на три дня убежала из дома, потому что я за свой век даже мухи не обидел. А что касается морального внушения, то использовал весь арсенал непристойных слов. Не подумай ничего плохого, я ее без грома-молнии проработал.

Отослал бы тебе деньги, да не знал куда. Теперича знать буду. Есть чем отдать. Пенсия приличная, целиком заслуженная, грех пенять. Но с заводом не порываю, захожу к ребятам. Вспоминаем часто-густо тебя. А почему бы и не вспомнить? Парняга ты славный, работающий, меня слушался. Вишь, если бы я не взялся за твою квалификацию, вряд ли ты стал бы моряком. Отслужишь срок — возвращайся к носенковцам. У них есть что делать. В прошлом году спустили со стапелей китобазу «Советская Украина», а сейчас заложили еще мощнее корабль. Эхма, если бы не стариковские года, ни за что бы не пошел на пенсию. Старость — не радость. А с моей бабой совсем скверно. Говорит, что я свихнулся. Должен тебе сказать по секрету: взялся было писать о себе книгу. Наведывался к нам областной корреспондент, обо мне статью кумекал, да и посоветовал мемуарами заняться. Не привык, говорю ему, сидеть сложа руки. А он или шутя, или серьезно: «Займитесь мемуарами. Теперь это модно, все пенсионеры пишут». Подумал я, подумал и решил: дай-ка попробую. Мастер замечательный, отчего бы не писнуть. И хоть верь, хоть не верь, Ванюха, а прожить так, как я хорошо прожил, намного легче, чем потом описать это в мемуарах. Вот, к примеру, начал так:

«Мою рабочую молодость словно корова языком слизала». Все будто бы как надо, все так говорят. Но заметь: рабочую молодость да слизала корова! Для крестьянина подошло бы. А как быть с рабочим?.. Или: «В 1918 году гайдамаки отдали меня в немецкий полевой суд». Все было так, как написано. Но прочитал я у Тараса Шевченко про гайдамаков, защитников народных, умилился и все вычеркнул. Зачем называть немецких прихвостней таким славным именем? Не выходят, Ваня, мемуары. Ну и господь с ними. Взял шефство над бригадой молодых токарей. Учю ребят ремеслу, как когда-то тебя учил. В этом деле я мастак.

Черкни нам, Ванюшка. Не задирай носа, не задавайся. Дядя Ларион хоть на своих сыновей бедный, зато чужими богатый. Не откажи старику в счастье: приветствовать тебя в своем доме, хвалиться своим гостем. Потому что тот дом, что не знал гостей, считай, и самим хозяином обкраден.

Низкий тебе поклон.

К сему Ларион Игнатьевич Ненакличбеда»

ДНЕВНИК

14/II 1958 г.

— Разуев!

— Есть! — И вскочил.

— Сидите, сидите... Что читаете?

Я скользнул взглядом по развернутой странице.

«...Очень часто дети повторяют своих родителей. И в этом нет ничего удивительного, так и должно быть. Наивысшая радость отца и матери — вырастить человека, который понимал бы их, разделял их точку зрения, был единомышленником. Но чтобы вырастить человека, духовно близкого, нужно щедро отдавать ему свои духовные силы...»

— Это вас интересует? — мягко спросил я старшину.

— Да знаете, товарищ капитан-лейтенант, попалась на глаза... почему бы и не прочесть, — сказал это, а подумал, конечно, совсем о другом.

До сих пор я колебался, знакомить ли Разуева с письмом Лариона Игнатьевича. А теперь твердо решил показать.

— Прочитайте это.

Разуев сначала недоверчиво взял письмо, но когда узнал почерк, чуть не задохнулся от радости.

— Разрешите идти?

— Нет, почему же, ознакомьтесь в моем присутствии. Потом вернете.

От волнения даже вспотел парень, совершенно пристыженный.

— Это я во всем виноват, товарищ капитан-лейтенант, — сказал растерянно. — Но... обещаю вам...

— В Николаев поедете?

— Так точно.

— Подавайте рапорт командиру.

...И Александр Васильевич, и я не припомним, когда еще все без исключения матросы обращались к нам с просьбой дать им увольнение на берег, чтобы проводить друга в отпуск. Александр Васильевич терпеливо выслушал пояснения каждого и приказал построить экипаж.

Перед строем от имени всех нас сказал Разуеву напутственные слова и разрешил сойти с корабля только в сопровождении боцмана. Боцмана предупредил, чтобы тот не задерживался.

Я заметил, что за такие официальные проводы матросы втайне осудили Александра Васильевича. Что ж, не все дано знать матросам: через полтора часа выходим в море.

28/II 1958 г.

Не удержался, чтобы сразу же не занести в дневник новую деталь, а вернее — черточку в характере Александра Васильевича, проявившуюся именно сейчас.

...Лодка плавно погружается все глубже и глубже. Нас преследует звено больших охотников. Командир насторожился.

— Оба стоп! — приказывает в машинное отделение и через переговорную трубку спрашивает радиометриста: — А сейчас как?

— Шум винтов приближается к лодке, — отвечает радиометрист матрос Липа.

В радиометрической рубке тесно, и я стою возле дверей. Придерживая наушники, Липа усиленно вертит штурвальчики компенсатора.

— Определить преследователей.

— Думаю, три охотника. Стопорят ход.

Я знаю, что мы легли на жидкий грунт и охотникам нас не засечь.

— Шум винтов отдаляется, — сообщает Липа.

Обошлось. Жидкий грунт дает почти такое же отражение импульса, как и от лодки. Но в дальнейшем будет сложнее — мы обязаны двигаться.

Командир склоняется к переговорной трубке:

— Малый вперед! Разуев, как горизонт?

— На вахте радиометрист матрос Липа, — чуть ехидно, но согласно уставу отрекомендовывается переговорная трубка. — Слабые шумы с зюйд-веста.

— Внимательнее слушать, — хмуро отзывается Александр Васильевич, а потом сам себе улыбается.

Лодка движется на предельной глубине. И я убежден, что командир не оговорился. Здесь что-то другое.

ДЕЛО РАЗУЕВА

КОПИЯ

«г. Ярославль. Ярославское ремесленное училище № 1
Директору училища

В связи с оформлением личного дела военнослужащего воинской части... старшины 2-й статьи Разуева Ивана Ивановича, обращаемся к Вам с просьбой следующего содержания.

С 1948-го по 1950 годы в Вашем училище учился т. Разуев И. И., 1935 года рождения, который прибыл к Вам из детдома. Прошу сообщить, какие записи имеются в распоряжении дирекции относительно его места рождения, родных, откуда прибыл он к Вам, по чьей рекомендации.

Надеемся на быстрейший ответ.

*Капитан 3-го ранга А. Хохлов
9/III 1959 года».*

ДЕЛО РАЗУЕВА

17/III 1959 г.

«Воинская часть... капитану 3-го ранга А. Хохлову. На Ваш запрос от 9/III 1959 г. № 68 сообщаем следующее. Разуев Иван Иванович прибыл в ремесленное училище № 1 из г. Рыбинска в сентябре 1948 года из детского дома № 113 Брейтовского района, с. Покрово-Сыть, Сытского сельсовета. Выбыл на завод имени Носенко (г. Николаев). Других данных не имеем. Вам необходимо обратиться в детдом № 113.

*Директор РУ-1 В. Пойнин.
Секретарь учебной части К. Золотникова».*

ПИСЬМО

17/III 1959 г.

«Глубокоуважаемый товарищ капитан 3-го ранга Хохлов!

Секретарь учебной части подала мне на подпись ответ Вам на запрос о старшине Разуеве. Я решил кроме официального документа вложить и собственное письмо.

Приношу глубочайшее извинение за свое личное Вам послание. Но надеюсь, что Вы, как боевой морской офицер, уделите сколько-нибудь внимания отцу, который потерял под Одессой единственного сына. Я сам побывал на многих фронтах от первого и до последнего выстрела. Пехотинец.

Прошло столько лет, а ноги и до сих пор гудят от походов. В непогоду крутит в суставах, болят колени. Да черт с ними, перетерплю. Летом будет отпуск, поеду к Вам на Черное море, подлечусь. Забочусь не о себе, и просьба моя исключительно для Екатерины Касьяновны, матери моего сына Анатолия... Номер Вашей воинской части — это номер морской полевой почты, которая сообщила о его гибели. Да если бы сообщила о гибели, а то вот «пропал без вести» не дает нам покоя четырнадцать лет. Где он, сын, чья земля и чье небо над ним?.. Ездил в Минск, к сестре младшей. Измучилась и меня измучила. Встретится на дороге обелиск с красной звез-

дочкой, сойдет с поезда или с машины. Постоит, почтает надпись, заплачется. А нет надписи — спросит у себя самой: «Может, это ты, Толя? Может, это о тебе так заботятся люди?.. Ограду поставили, насадили бархатцев...» Может... Пусть верит в это, потому что не всем достались обелиски.

Если кто остался в Вашей части из фронтовиков, из однополчан Анатолия, замолвите словечко, чтобы написал подробности о сыне. Все-таки матери станет легче, да и мне спокойнее.

Спасибо Вам.

В. Пойнин».

ДНЕВНИК

24/III 1959 г.

Этот номер присвоен недавно. Такого номера полевой почты в политуправлении никто не помнит. Вряд ли была такая полевая почта на Черноморском флоте. Посоветовать т. Пойнину, чтобы обратился в Госархив и поискал на бывших флотилиях — Днепровской, Азовской? Или в Дунайской или Приморской армиях?

— Не нужно, — сухо заметил Александр Васильевич, когда я изложил свои размышления.

Командир отложил справочник навигатора, который знал наизусть, но почему-то держал при себе, впился хмурым взглядом в стену лодки, будто она могла подсказать правильную мысль. Я не мешал ему. Нам вообще никто не мешал: моряки отличаются необычным тактом. Слышу, что кому-то из матросов крайне необходимо пройти через кают-компанию, но не отважился: командир и комиссар наверняка решают что-то очень важное.

А это именно так. Я взял лист бумаги, заправил ручку чернилами и приготовился писать то, что скажет Александр Васильевич. У меня уже готова первая строчка, и я вывел ее разборчиво:

«Дорогой товарищ Пойнин!..»

Александр Васильевич не диктовал. Он не собирался диктовать, он начал просто вспоминать. Для себя. Невольно рука моя потянулась к бумаге, и под первой строкой легли вторая, пятая... Капитан третьего ранга не об-

ращал на меня внимания, не посматривал на исписанный лист: ему казалось, что он гостил у Пойниных и был для них очевидцем гибели сына.

«Я видел, как умирали моряки под Одессой в августовский мучительный день. Раскаленное боем солнце палило землю, не давало нам дышать. Отбив очередную атаку, мы не перезарядили винтовок — патронташи опустели. По-братски поделились последней флягой воды. В мареве снова засизовели немецкие танки. Нам уже не жарко — разделись до тельняшек. Нацелились штыками. Девятнадцать штыков и один ПТР. Командую: «Петээровцы, вперед!» Стрелок, а за ним его помощник с сумкой патронов сделали несколько коротких перебежек, залегли в нескошенной ржи. Оглянулись назад, усмехнулись: ошестинившиеся штыки — надежная опора. Хорошо чувствовать за спиной своих. Танки одолели водянистый рубеж-мареве, рванулись по пшеницам. «Огонь!» Щелкнули пустые затворы винтовок, бахнула ПТР. «Заллом!» Еще выстрел петээровки, и передняя, самая быстрая, танкетка задымила. Или задымила, или мне показалось, потому что под нами тут же всколыхнулась земля, и дым заполнил степь. В дыме — воронка, около воронки отброшена петээровка. «Кто следующий?» Моего оклика не услышали, но двое матросов несколькими прыжками очутились возле одинокого ружья. «Огонь!» — и петээровка ответила мне выстрелом. Танки не пугаются их, ползут, гады. Мне они не страшны. Жаль только, что выпал день, и им светит солнце. Нам хорошо видно, как на гусеницы танков наматываются пшеничные стебли. Петээровское ружье молчит. «Кто следующий?». Третья пара оставляет окопчики. «Кто следующий?» — десятый раз я спросил, и никто не вызвался встать. Тогда я понял, что все мое отделение лежит впереди и только я, командир, оказался сзади. У меня напарника нет и уже не будет. Срываюсь с места и кидаюсь в огонь, который охватил всю степь. Мне одному его не погасить, я буду его раздувать. Схватить ружье не удастся — его отбросило взрывом. Еще раз потянулся, и снова отбросило. . . Поймал, как свою судьбу. Припал к прикладу, и приклад сплавился с моей щекой. Выбираю цель. Выбирать легко — близко. На гусенице горят и скрючиваются обугленные пшеничные колосья. Целюсь в пшеницу. «Огонь!» Нажимаю на спусковой крючок. Страшнейшая отдача в пле-

чо. Танк рассыпал гусеницу и, подставив петээровке бок, замирает. Рука нащупывает затвор, но плечо отказывается слушать, кровь бьет струйкой. И я не понимаю, из плеча или из приклада. «Кто следующий?» Я видел, как умирали моряки в августовский мучительный-день. Отбив очередную атаку, мы не перезарядили винтовок».

— Под Одессой?

— Да.

— Под Севастополем?

— Да.

— На Волге, на Балтике, в Порт-Артуре, Новоросийске?

— Да... да... да...

И я приписываю от имени всего экипажа, от имени нашей воинской части: «Мы гордимся Вашим сыном, дорогой товарищ Пойнин!»

2/IV 1959 г.

Очередная проверка. Офицер высшего штаба, знакомясь с моим делом, обнаружил папку с делом Разуева.

— А это что за дело? Персональное?

— Персональное.

— Пьянка, хулиганство... или символика?

— Ни то, ни другое. Разыскиваем биографию старшины второй статьи Разуева.

— Биографию? Зачем?

— Для него... по собственной инициативе.

— Вам что, нечем заниматься?.. Я бы не искал.

Молчу.

4/IV 1959 г.

— Товарищ капитан-лейтенант, разрешите доложить. Старшина второй статьи Разуев прибыл из отпуска.

Посвежевший, аккуратный, брюки выглажены, воротничок крахмален, ботинки блестят свежим кремом. Ничуть не изменился. Словно зашел попросить, чтобы отпустили на берег.

— Здравствуйте.

— Здравия желаю!

— Как поживает наш Ларион Игнатьевич?

— О, забыл! — И хлопнул себя по лбу, что-то вспомнив.

Метнулся из каюты, несет тяжелый чемодан. Раскрыл чемодан, набитый всякой всячиной. На моем столе, потеснив книги и письменные принадлежности, он выставляет дюжину завязанных беленькими тряпицами банок с медом, вареньем. Высыпал кучу домашних коржиков и печенья.

— Что вы делаете? — чуть не возмутился я.

— Это от Лариона Игнатьевича вам лично... А вот и записочка. Не отказывайтесь, старик обидится.

В этот раз вечерний чай в кают-компании отличался от обычного меню — раскладки наших харчевиков. Александр Васильевич, штурман, инженер-механик и корабельный врач смаковали и хвалили деликатесы Лариона Игнатьевича Ненакличбеда. И хотя этого всего достаточно и дома, и в магазинах, скромные подарки старика все же показались самыми вкусными.

Они напомнили августовский бой под Одессой и намотанные на гусеницы немецких танков обугленные колоски пшеницы.

Июль 1960 г.

Тягучий скрип перегородки прерывает мое чтение — в кают-компанию, переступив высокий комингс, вошел капитан третьего ранга. Я поспешно захлопнул архивную папку, прикрыл ее ладонью, словно занимался чем-то недозволенным.

Но Александр Васильевич и не взглянул на синюю папку — сделал вид, что не заметил ее.

— Поступила команда с базы, — уведомил, — серьезное задание... В Адане подразделением десять-десять готовится нам новый сюрприз. Знаете, какой?

Подробно объясняет. Обдумываем молча, каждый про себя.

— Кого пошлете?

— Старшину Рязанова, — тотчас, как давно решенное, сказал капитан третьего ранга. — В этом деле он мастак. Легководолазную практику знает отлично, коммунист.

— Согласен.

Александр Васильевич перегнулся в сторону центрального поста и позвал:

— Вахтенный, ко мне старшину торпедной команды, механика и Рязанова.

Экипаж отдыхает, за исключением непрерывных вахт — гидроакустиков, электриков и рулевых. То в одном, то в другом отсеке прозвучит чей-нибудь голос и замрет.

— Седьмой отсек, механика к командиру! ..

— Первый... старшину торпедистов...

— Рязанова...

И снова глубинная тишина. И кажется, что когда включается эхолот, он измеряет не глубину, на которой висит лодка, а именно подводную тишину.

С потолка падают капли, и слышно, как они разбиваются.

Инженер-механик является первым, вытирает тряпкой замасленные руки.

— Слушаю, товарищ командир.

Старшина торпедной группы мичман Чилая трет невыспавшиеся глаза, приглаживает черные взлохмаченные волосы. Разуев одергивает робу — тоже отдыхал. Вообще весь экипаж крайне утомлен (дало о себе знать большое напряжение), а от действий каждого из них зависит успех этого сложного плавания.

Советуемся, решаем. Рязанов выйдет из лодки на поверхность через торпедный аппарат.

— Сорока минут вам достаточно? — спрашивает его командир.

— Вполне.

— Готовьтесь.

Как только Александр Васильевич скомандует боевую тревогу, я обойду все посты и вахты, поясню суть задания.

Переходим в центральный пост. У меня неистово бьется сердце. Стараюсь держаться от командира подальше, чтобы у него, невозмутимого, не сложилось превратное мнение обо мне, о моем неуместном волнении.

А сердце предательски стучит, волнуется за него, Рязанова.

Прерывистые звонки внутренней сигнализации мгновенно поднимают всех на ноги. Задраиваются отсеки, словно мы жаждем отгородиться друг от друга, чтобы никто никому не мешал. В центральном посту и в самом деле тесно, и я не обижаюсь, когда боцман или рулевой молча, только жестами, просят меня уступить место. Ка-

питан третьего ранга расположился у командирского перископа, прильнул к нему.

— Продуть среднюю!

Старшина трюмных внимательно пробежал взглядом по клапанам продувания средней цистерны и уже уверенно потянул на себя нужный клапан. Ожила магистраль, зашуршал в ней спертый воздух. Стрелка глубинометра вздрогнула, сначала отклонилась в противоположную сторону, но выпрямилась и поползла вверх. Шестьдесят, пятьдесят, сорок, двадцать... восемь...

Легче становится, выбрасывая водяной груз, лодка; легче и тебе.

— Стоп! — И капитан третьего ранга припал к глазку перископа. Замер. И все замерли. Никто не решался вымолвить слово, только в висках стучат молоточки.

— Замполит, обойдите отсеки, — не отрываясь от перископа, приказывает капитан.

— Есть!

Возвращаюсь в центральный через четверть часа, а командир как стоял, согнувшись над заветным глазком, так и стоит.

— Объяснили?

— Да.

— Настроение?

— Подтянулись.

— Проверьте готовность Рязанова.

Иду в первый отсек, Рязанов переодевается. На нем уже теплое белье, теплые штаны, свитер, подшлемник, инженер-механик и мичман Чилая натягивают сверху гидрокомбинезон. Навьючивают на спину Рязанова два свинцовых груза, цепляют баллоны с кислородом, закрепляют кислородный мешок.

— Включиться в аппарат, — приказывает инженер, и старшина включается.

Действует безукоризненно, все хорошо.

— Выключайтесь... Присядьте. — А сам спешит доложить командиру.

Александр Васильевич все еще возле глазка перископа. Хмурый, не подступиться. Кивнул инженеру: ясно, мол. Поворачивает перископ в одну сторону, в другую...

— Товарищ командир, — быстро передает радиометрист, — слышен всплеск. Он уже над нами...

— Высота? — кратко бросает вопрос командир.

— Приблизительно десять — двенадцать тысяч.

— Есть.

Убирает перископ. Ждет, нетерпеливо наблюдает за секундной стрелкой часов...

Что-то тяжелое неподалеку от лодки упало в воду, и лодка покачнулась. Все окаменели.

— Это не глубинная бомба, взрыва не будет, — усмехнулся Александр Васильевич и стал строгим. Поднял перископ. — Ага, всплыл уже... Прекрасно! — радостно определил он.

В центральном посту оставляет вместо себя старшего помощника. И мы втроем — капитан третьего ранга, инженер-механик и я — направляемся в первый отсек.

Перед нами все вытянулись, стоят по местам. Рязанов внешне спокоен, чересчур спокоен.

— Еще объяснить? — спрашивает его командир.

— Не нужно, все ясно.

— Взрывчатки достаточно?

— Так точно, — заверил мичман Чилая, а сам искоса взглянул на привязанную к пояску старшины алюминиевую с красным кружком коробку. «Должно хватить».

— Когда подходить за вами?

— Через сорок минут, — сказал старшина и взял у матроса приготовленную колотушку — ею он будет сигнализировать.

— А взрыв?

— Через час.

— Смотрите мне, — предупредил командир, — экономьте кислород... будьте осторожны...

— Не волнуйтесь.

И уже не разговор, а команда:

— Включиться в аппарат!

«Я уже не человек, а торпеда», — это первое, похожее на шутку, подумалось Рязанову, когда он втиснулся в стальную трубу-колодец и за ним закрылась крышка торпедного аппарата. Стало темнее темного — черно. И прежде всего вспомнил о глазах, тех, что мы часто забываем беречь там, вверху, под солнцем.

Напряг взгляд — темно, словно ослеп. Стук в крышку. Предупреждают: приготовься, сравниваем давление. Не-

подвижный, слушает. Будто кто клещами стискивает без того крепко стиснутое гидрокомбинезоном тело. Как будто медленно отпускает... Два стука: как себя чувствует, спрашивают. Ответил тоже стуком: хорошо. Думает о глазах: почему они ничего не видят?

Впереди, казалось — далеко, прорезалось мутно-зеленое окно — открыли переднюю крышку торпедного аппарата. Какая-то минута — и его заполнила вода.

Пополз вперед. Тесно, неудобно... Но окно приближается и кажется старшине то обычным корабельным иллюминатором, то амбразурой дзота. Так казалось и впервые, год назад, на тренировках на базе, так и сейчас. Вот и все. Держаться всеми силами, чтобы не всплыть внезапно, мгновенно. Ведь тогда конец — легкие не выдержат. И старшина держится, сначала за нижний срез трубы, потом за верхний.

Море старается его пересилить, оторвать от лодки и расправиться за смелость. Он сжимает ногами мусинг, трижды бьет колотушкой по корпусу: вышел, все благополучно.

«Теперь закроют переднюю крышку торпедной трубы, и я совсем изолирован», — подумал он и почувствовал, как в сердце закрался страх. Но это было недолго, он уверенно прошел по лодке к рубке, потому что знал: его шаги там, внутри, слышны. И к ним прислушиваются с облегчением. Поднялся по рубке, по перископу, всплыл. Закачался на низкой волне — мертвая зыбь еще не успокоилась, переключил клапан дыхания на атмосферу.

Атмосфера. Это понятие приобрело для Рязанова совсем другое, более широкое значение, вобрало в себя все самое отрадное — и прежде всего солнце. Именно оно первым напомнило о себе, и старшина не удержался, чтобы не взглянуть на него, чтобы хоть мгновение не полюбоваться им.

Какое оно красивое, непревзойденно красивое! Почему он этого раньше не замечал? Неужели нужно было познать гнет подводного мрака, чтобы оценить красоту солнца?.. Не для этого он послан.

Где он, враг? Недалеко, за несколькими беспокойными складками моря, словно маскируясь от острого взгляда старшины, светло-зеленый, как и волны, похожий на сорванную с якоря мину, радиотелеконтейнер то опускал-

ся, то выныривал из воды, поблескивая узенькими зеркальцами-глазками. Так вот ты какой? Вчера сбит ракетой под Свердловском, сбит там, где, думал, никто тебя уже не достанет, сегодня ищешь прогалину уже здесь, в море?

Словно боясь опоздать, Рязанов решительно поплыл к контейнеру. Чем ближе подплывал, тем злее смотрели на него прорези-глазки.

Ухватившись за трос-гидрофон, — именно этой магнитострикционной гидре поручено следить за подводными лодками, — старшина взобрался на контейнер, оседлал его. Надлежащая осмотрительность, о которой столько говорил командир, уступила место ненависти и гневу, — о своей безопасности Рязанов не думал.

Быстро отстегнул от пояса взрывчатку, достал из резиновой сумки подрывной патрон.

Мертвая зыбь коварна, и волны ее тоже коварны. Одна из них неожиданно подкатилась, перевернула контейнер набок, и Рязанов не удержался, упал в воду. Вынырнул — и страх охватил его, да, страх: не нашел у себя подрывного патрона. Когда и как выпал из рук, старшина не мог сообразить. Бесследно пропал, пошел на дно.

А море, словно не сделало ничего страшного, спокойно поблескивало под солнцем, гнало волну за волной...

Старшина от злости на самого себя чуть не заплакал. Но отступать нельзя. Враг у тебя в руках и насмеется своими нахальными глазками над твоей беспомощностью. Единственное — колотушка. О ней Рязанов вспомнил, когда безнадежно ощупывал себя, ища запасной патрон. И как это мичман Чилая, опытный мичман, не догадался положить ему запасной? Колотушка при нем. Она — его последняя надежда, и он ее ни за что не выпустит...

Вы видели, с какой настойчивостью ребята добивают гадюку? Она еще корчится, бросается на них, время от времени выпуская свое ядовитое жало, а они не разбегаются, бьют, бьют и бьют. Так и Рязанов что есть силы молотил колотушкой по зеркальным глазкам контейнера. Иногда попадал, иногда и нет. Зеркала были вылиты из толстого, гибкого сплава и никак не поддавались. Но вера в то, что там, в Адане, его колотушка бьет по экрану и заставляет наблюдателя зажмуриваться и от-

клоняться, придавала упорство, воодушевляла. И он будет бить по глазкам до полного изнеможения, пока их не добьет.

— Что он делает? И до сих пор стучит?

— Стучит, товарищ командир, — виновато подтвердил радиометрист и еще плотнее прижал наушники.

Капитан нервный, сердитый. Тридцать семь минут прошло с тех пор, как Рязанов вышел из торпедного аппарата, возится около контейнера, стучит зачем-то и никак не прикрепит взрывчатку. В чем дело?

— Кого-нибудь из минеров еще послать бы, — предложил старший помощник и запнулся: осуждающим взглядом капитан третьего ранга дал понять, что рисковать лодкой и экипажем в оставшиеся три условленные минуты он не будет.

— Перестал стучать, — сообщил радиометрист.

— Боцман, — встрепенулся командир, — на перископную глубину.

Продуваются цистерны. Александр Васильевич на своем командирском месте.

Молчаливое ожидание.

— Тьфу! — сердито сплюнул Александр Васильевич. — Вы видели такое? Взгляните, замполит.

Я приник к перископу. Мы находились в нескольких кабельтовых от контейнера, и нам отчетливо видно, как, распластавшись сверху, Рязанов колдует над ним, что-то выскивает. Он настолько занят, что даже не замечает нашего перископа.

Полностью всплывать нам категорически запрещено. Есть приказы, которые даются раз и навсегда. Показаться на поверхности — это то, чего только и хочется врагу. Ведь ему так мало известно о наших подводных лодках, полностью современных, надежных.

Сорок восемь минут зафиксировали часы. Пятьдесят четыре... пятьдесят шесть...

— Убрать перископ! Идти на глубину! Малый ход!..

Капитан третьего ранга резок, его команда безотлагательно выполняется.

— Свяжитесь с базой, — приказывает он старшему помощнику, — немедленно.

— Есть.

А сам, как и все мы, прислушивается: минул час, и вот-вот, с секунды на секунду, лодку качнет взрывом.

Его нет... Его нет... Александр Васильевич уединяется в кают-компанию.

Рязанов искал и не находил клапанов самопотопления контейнера. Где-то тут они должны быть, но где? Ему известно, что гидроакустические буи и радиотелеконтейнеры засылаются время от времени, отслуживают свою позорную службу и по команде погружаются в морскую бездну. Старшине удалось отделить гидрофон, их лодки уже никто не засечет, а вот вообще уничтожить не удалось. Он забыл обо всем на свете — о лодке, о себе. У него одна мысль, одна цель — уничтожить. Иногда терял надежду потопить и тогда снова доставал колотушку и бил по глазкам контейнера. Утомившись, начинал искать клапаны самозатопления.

И нашел. Главное — это вышло совсем неожиданно. Нашел в другом месте, там, где совсем не думал. Хотел было удержаться за кольцевой выступ и не удержался, контейнер пошел под воду, потянув и его, Рязанова, за собой.

Оттолкнувшись ногами от контейнера, старшина рывком снова выплыл.

Первое, что подсказывала радость трудно вырванной победы, — доложить командиру. Нет ничего почетнее для воина, чем та святая минута, когда он смело может подойти к командиру и сказать: «Ваш приказ выполнен!»

Старшина зорко всматривается в пенные барашки волн и нигде ничего, что свидетельствовало бы о лодке, не замечает.

Который час? Когда они вернутся? И почему солнце, такое красивое, словно до края наполнено искрометным вином, тоже оставляет его, прячется за горизонт?

Настанет ночь, и никому его не найти. Что же, он готов, если это нужно...

Открылась задняя крышка торпедного аппарата, и Рязанов упал нам на руки, вернее — на руки командира.

Александр Васильевич сам измучен этими тяжкими часами, но держится так, словно ничего не произошло.

— Боцман, держать глубину сорок метров.

— Разрешите доложить...

— Не разрешаю, Рязанов. Доктор, примите старшину... Штурман, курс на базу.

Он не добавил: «Всем разойтись по местам». Но мы расходимся: на флоте все договаривать не обязательно.

Послышался знакомый проникновенный шум винтов — лодка двинулась. Теперь домой.

Александр Васильевич передает все свои полномочия старшему помощнику и идет в кают-компанию. Отказавшись от чая, поправляет свою постель. Я знаю, что он не разденется, — этого себе не позволяет. Единственное, что сделает, — расстегнет воротничок кителя и две-три пуговицы. Будет спать на заправленной постели. Лег, закрыл глаза. Нет, ему не заснуть. О чем-то вспомнив, поднялся. Достал из внутреннего кармана замусоленную бумажку, развернул, читает. Усмехнулся. Еще раз прочел и порвал на кусочки. Выбросить некуда, и снова засунул в карман, верхний.

— Рапорт в отставку? — не выдержал я.

— А, ерунда! — добродушно отмахнулся он. — Ложитесь отдохните. На базе не дадут. Потребуют отчитаться по всем статьям.

— Меня что-то в сон не клонит. Лучше выйду.

— Чего там, сидите... Дочитайте дело Разуева. Я видел, чем вы интересовались. Дочитайте.

Я достал из сейфа синюю папку и устроился за столом.

— Главное сейчас, замполит, индивидуальная работа с людьми, — уже с закрытыми глазами продолжает капитан третьего ранга, — с каждым в отдельности. Знать их, как самих себя. Вот я доверял Рязанову и все-таки где-то чуть сомневался. А зря... Славный он, достойный подводник. Побольше бы нам таких...

Мне хочется сказать командиру что-то и свое, поделиться тем, чего я еще никому не говорил, но сдерживаюсь: Александр Васильевич засыпает... Спит крепко, с неразлучной улыбкой, на которую до сих пор так скупился.

Тихо-тихо, стараясь не шуршать, переворачиваю в папке страницы.

ДНЕВНИК

6/VII 1959 г.

Замкнутый круг, карусель. Три месяца бьемся с Александром Васильевичем над одним и тем же — из какого детского дома и в какой переводили Разуева, — а полной точности, чего-то достоверного нет. Дважды обращались, как советовал Пойнин, в село Покрово-Сыть, Брейтовского района, оттуда получили деньговские ответы: никаких документов, а тем более сведений не имеем; пополнялся детдом отовсюду: пишите или в детдом № 111, или № 117, или № 96, или 78, или... или... Если пойти таким путем — бесконечная писанина. Придется еще раз обратиться через официальные органы.

15/VII 1959 г.

Снял копию с ответа А. Скаловой и отослал в Ярославский обком партии. Где-где, а там найдутся товарищи, которые размотают этот бюрократический клубок. Ишь, документов у них не сохранилось! А что сохранилось? Что?.. Жаль, нельзя повлиять на них через центральную прессу! Александр Васильевич категорически запрещает: тогда о нашем плане непременно узнает Разуев, и неизвестно, как он это воспримет. Парень обидчивый, сочтет это проявлением недоверия к нему. Тем более что он уже обращался к Александру Васильевичу за партийной рекомендацией. Александр Васильевич не отказал, но пока что удержался — посоветовал Разуеву глубже освоить Устав партии, повысить свою политическую грамотность. К советам командира старшина отнесся как к полностью справедливым. Внешне принял. А как в душе, что у него там делается?

ДЕЛО РАЗУЕВА

25/VII 1959 г.

«Всем директорам детских домов Ярославской области, копия: Командиру воинской части...»

Областной комитет КПСС предлагает принять безотлагательные и необходимые меры для выявления биогра-

фических данных военнослужащего, бывшего нашего воспитанника т. Разуева И. И. До 10 августа с. г. оповестить командира воинской части, копии ответов отослать в областной комитет партии.

Дело Разуева И. И. следует рассматривать как свое кровное дело».

9/VIII 1959 г.

«Уважаемый тов. Хохлов! Нынешний моряк Разуев прибыл в наш санаторный детский дом 24 (быв. 126) в 1943 году из дошкольного детдома «Устье», Ярославской области. При нем, кроме сопроводительной записки (записку прилагаем), ничего не было. Знаем все данные с его собственных слов. На воспитание с целью усыновления брала к себе гражданка Разуева Агафья, но от нее он убежал к нам обратно. Коллектив детдома хорошо помнит Ваню еще маленьким, поскольку все старые работники остались.

При первом удобном случае, отпуске или как, пригласим Ваню проведать нас.

Директор санаторного детского дома
К. В. Горнякова»

ЗАПИСКА

10/XII 1943 г.

«В детдом № 126 т. Горняковой К. В.

Ярославский дошкольный детдом «Устье» просит Вас принять нашего воспитанника, как ослабленного и нуждающегося в санаторном лечении. Учтите: мальчик доставлен с оккупированной территории, без фамилии, без точного имени. Он все путает, потому что в течение долгого времени голодал и это отразилось на памяти. Его нужно укрепить. По возможности — отдайте в надежные руки. Он должен в хорошем семейном кругу забыть все ужасы войны и потерю родителей. Примите, пожалуйста, без путевки. Поверьте, пока это оформится, погубим ребенка.

С приветом и верой
Л. Звягина»

13/VII 1959 г.

«Товарищ военный начальник! Знакомая Вам Клавдия Васильевна Горнякова как-то встретила со мной и, к моему удивлению, сообщила, что Ванюша Разуев жив и здоров и с честью носит нашу фамилию. И уже не простой себе ремесленник, а военный моряк. Я очень рада, что он вышел в люди, потому что когда брала Ванюшу на воспитание, то только и мечтала сделать врачом, инженером, или летчиком, или моряком. Но пусть он простит за откровенность, Ванюша оказался нервным мальчиком, совершенно непослушным и грубым. Нам, матерям, в войну всего досталось. Столько я пережила. Мы с мужем (он у меня работал на важном заводе) жили тем, что получали по карточкам, и все-таки решили взять в семью чужого ребенка, поделиться куском хлеба. Тогда все брали малышей из детдомов. Дай-ка, думаю, возьмем и себе мальчика. У нас самих родилась дочка Светланочка. Муж на работе, я на работе, почему бы и не взять Ванюшу? Дети будут играть, старшенький приглянет за младшей, как-нибудь вырастут вдвоем. Оставили их раз, другой. Прихожу как-то и ахнула: Светланочка лежит, извините, товарищ военный начальник, подмоченная, запачканная, бедненькая, а он, Ванюша то есть, спит на полу. Растолкала его, ударила — не без того, в семье все бывает... И, представьте, будто с ума сошел: трясется весь, замахивается кулаками, фашисткой называет. Это меня, свою мать! Горе, да и ничего больше. Стала я закрывать Ванюшу в чуланчике. Нужно же было как-то в порядке воспитания, не часто, а так, для профилактики, наказывать. Вы, конечно, тоже непослушных иногда наказываете? Посадила как-то на час, а случилось, что до вечера не пришла домой. Вернулась поздно и сразу не к Светланочке бросилась, а к старшенькому, к Ване. Где там, — и след простыл. Убежал. Выломал доску, вылез из чуланчика и удрал со двора. Мы с мужем всю ночь не спали, волновались. Таких хлопот нам задал. Хорошо, что известная Вам Клавдия Васильевна Горнякова заглянула утром (чтобы ликвидировать договор) и сообщила, где наш Ванюша. Зареклась я тогда навек не брать чужих детей. И все-таки мне очень жаль, что тогда не настояла и не вернула мальчика себе.

Ой, как Ванюша гордился бы сейчас своей сестричкой

Светланочкой! Она у нас уже взрослая, учится играть на пианино. Мы наняли учительницу английского языка, готовим ее на золотую медаль. Одеваем модно, ничего не жалеем для дочки. Признаюсь, мне, матери, приятно, что вырастили Светланочку умницей.

Известная Вам Клавдия Васильевна сказала, что детдом пригласил Ванюшу погостить. Так вот, я прошу Вас, товарищ военный начальник, добавьте ему какой-нибудь денек, чтобы он смог побыть и в нашей семье. Авторитетно, как агент по смешанному страхованию жизни, заверяю Вас, что Ванюша не будет обижен и будет полностью доволен. Я мать и понимаю, как ему, сиротке, нужны родственные связи. Мы с мужем не оставим Ванюшу одного, а Светланочка регулярно будет отвечать на письма. Передайте ему привет от всех Разуевых и предложите обязательно навестить наш дом. И сообщите лично, какой у него сложился характер, какое любит отношение к себе и вообще как нам себя с ним держать.

С материнским уважением к Вам и Ванюше

Агафья Разуева»

ПИСЬМО

20/VIII 1959 г.

«Командованию корабля.

Это не исповедь. Но когда я узнала, что вы, начальники Ванюши, разыскиваете правду его рождения и детской жизни, не могу отмолчаться, остаться в стороне. Сознаюсь во всем, ничего не утаю, хотя Валентин и радость моя, и печаль моя.

В «Устье» я попала во время войны, а сама смоленская. Была в народном ополчении. Ранена под Волоколамском. В прифронтовом госпитале встретила с танкистом, лейтенантом Василием Думой. Его доставили в госпиталь с передовой, и с ним был Валя, мальчик семи-восьми лет. Лейтенант называл его сыном и всех в госпитале уверял, что это так, никуда не позволял его отпирать. Позднее, когда я познакомилась с Василием Думой и мы подружились, он рассказал мне, что Вало подобрал в одном из освобожденных хуторов, где-то в наших краях смоленских. Где именно — он называл, но я забыла. Не допытывалась, потому что мы с Василием уже полюбили друг друга и дали слово после войны не раз-

лучаться, а значит, вместе растить Валика. Весной Василию присвоили звание старшего лейтенанта, поручили командовать ротой. Попрощались мы, как это в песне поется: ему был дан приказ на запад, а мне — на восток, на комсомольскую работу. Забрала я с собой Валюшу. Не утаю, тяжело пришлось мне, девчонке, с ребенком. Все в разъездах. Некому присмотреть за мальчиком, своевременно накормить, обстирать. И посоветовала тогда подруга моя Людмила Залыгина отдать его к ней в детский дом. «Вернется с фронта Вася — возьмет назад». Не знала я, что иное мыслится: лишь бы развязать мои девичьи руки. Ведь кто знает, останется ли в живых Василий. А кто потом отважится жениться на мне, взять с ребенком? Ведь и так много вдов и в поселке, и за ним. Если бы сказала Людмила все открыто, ни за что бы не отдала Валика.

С Василием связи не прерывала, посылала письма на фронт. Я любила его и до сих пор люблю. Может, моя безумная любовь и толкнула написать, что Валик уже не со мной, а где-то далеко, лечится в другом, санаторном детском доме, как заверила меня Людмила.

Потеряла я ребенка, потеряла и Васю. Да что вам описывать дальше, прочитайте письма Василия и узнаете обо всем до конца. Я храню их и до сих пор. Потому что не окончена моя любовь к нему. Сколько не извинялась — не ответил.

Будете обращаться к нему, не забудьте вспомнить и о моей любви. Ради нее осталась одна-одинешенька. А на прощение Валентина уж и не надеюсь. Виновата я перед ним, как перед своей совестью.

Забывается война, многого мы уже не помним, даже многое прощаем, а заслужила ли я прощение — не знаю. Валя недолго называл меня матерью, а это звание самое высокое и самое святое

Алена Козырева».

ДВА ПИСЬМА ВАСИЛИЯ ДУМЫ

«Берлин. Рейхстаг

Наше дело правое. Мы победили! Здравствуй, дорогая Аленка. Сажу на ступеньках фашистского логова и, положив на колени планшет, посылаю тебе свою первую

мирную ласточку. Ей лететь под чистым и спокойным небом, лететь над сосновыми борами Бранденбурга и белыми хуторами Польши, над погасшими партизанскими кострами Белоруссии и пепелищами твоей Смоленщины. Небесный путь ее непременно осветят радуги непобедимой столицы. Потому что оно, мое письмо, — свидетельство незабываемой весны, провозвестник жизни. Да, я живой, Алена. И не сижу на ступеньках рейхстага, а стою, высоко поднимая автомат. Мы только что дали последний залп-салют. Стреляли вверх все, кто смог стрелять. И, перепуганные этим победным залпом, вздыбились лошади на Бранденбургских воротах, вздыбились и замерли. И все вокруг замерло. Настолько тихо стало, что я впервые почувствовал, как у меня от войны гудит голова и какая она тяжелая, усталая. А ногам легко. Оглянулся на восток, к Волге, — много пройдено, много измерено, а ничего, хоть снова в самый дальний поход. Вот когда задубелые от тяжелой работы солдатские руки взяли нарядный баян и пальцы коснулись ладов, эх, не удержался я, Алена, и пошел по кругу, выбивая наш отечественный перепляс. Мои танкисты хохотали так, что площадь тряслась. Своим весельем зажгли чужие небеса, и они тоже не удержались, вспыхнули солнцем, хотя еще плакали утренним дождем над убитыми земляками в зеленых мундирах. Освободившись от фашизма, Германия сегодня смеется сквозь слезы, и мы, добрые люди, уже смягчили свой гнев за причиненное горе. Я тоже победитель среди победителей и тоже стараюсь заглушить свою горькую боль, стараюсь быть справедливейшим судьей, хотя мой дом — Украина — ими разграблен, изуродован. А поэтому, Алена, я написал на выщербленной колонне рейхстага: «Не трогайте нас больше, не вызывайте наш гнев!»

Это не для того ефрейтора, труп которого лежит на ступеньках и который даже мертвый стыдится смотреть мне в глаза, — это для тех, кто успел удрать за Эльбу, к своим избавителям. Алена, сейчас немцы не спесивые, не похожи на виденных нами под Москвой. Они сейчас упавшие духом, поникшие. Как клюнули в землю носом, так и сгорели их машины, затупились пушечные стволы и хоботы разбитых танков. Скорчились в огне их черные кресты. Зато свисают белые полотнища знамен и умоляют помиловать. Руины умоляют, и пленные умоляют.

Склонили перед нами головы, нацепили белые повязки. Пусть носят. Белые ли, синие ли, голубые ли, красные ли, как мак, — лишь бы не со свастикой.

Я покормил из своего котелка седую-преседую бабуся с внуком и снова присел дописывать тебе письмо.

Скоро вернемся. Я знаю, как мы с тобой начнем трудиться. В день моего приезда ты наденешь самое лучшее платье, обуешь лакированные туфельки, красиво оденешь Валика, и мы втроем пойдем в загс. Нас поздравит весь поселок и подарит столько цветов, что хватит устелить ими дорогу вплоть до самых ворот. Три дня и три ночи будем праздновать нашу Победу. А потом купим билеты, возьмем скромные пожитки наши и поедем к нам, на Украину, в Дарницу. Поселимся над Днепром. Будем вместе засыпать окопы на его берегах, разравнивать воронки от снарядов и бомб, посадим яблони. Каждую весну будут цвести и заглядывать в наши окна.

Майора запаса Думу ждет завод, цех ковкого чугуна, Валика — школа, а тебя — самый лучший киевский вуз. А еще всех нас — большая дружба и любовь. Такая красивая, как сегодняшний день — 9 мая 1945 года».

Порт-Артур

Здравствуйте, Алена!

Войну закончили! Поздравляю Вас! Ваше письмо получил. И если бы не знакомый почерк, никогда бы не поверил всему, что там написано. Вы отдали Валю и долго от меня это утаивали. Ну, а теперь как будем? Вы же обещали усыновить его, дожидаться моего возвращения. Как я упрекаю себя, что послушался Вас и через исполком не записал Валика в офицерское удостоверение. А сейчас поздно... Кто мне его отдаст, когда он где-то в семье, имеет фамилию, наконец, отца с матерью?.. Я юридически утратил на него свои права. Суд останется на их стороне, а мне только принесут гражданскую благодарность за спасение ребенка. Но это же долг каждого честного гражданина. Я хотел для Валика сделать значительно больше — вырастить настоящего патриота, хорошего человека

Вы, помнится, сказали: «Мы заменим Валентину утраченное. Он будет счастлив!..» Сказали и забыли.

Осуждать Вас не имею никакого права. Но буду откровенным до конца: без Вали наша встреча лишняя! Я себя хорошо знаю — сердцем никогда этого Вам не прощу, и мы всегда будем оба мучиться. Зачем это нам?

В то же время, поблагодарю судьбу за встречу с Вами в горячее время, за все хорошее, что было между нами, за Ваши теплые письма. Поверьте, они воодушевляли меня в боях, наполняли новыми силами. И в том, что я дошел до Берлина и Порт-Артура, есть Ваша немалая доля.

Всего Вам лучшего. Этого Вам, как никто другой, желает Василий Дума.

2 сентября 1945 года»

ДНЕВНИК

25/IX 1959 г.

Уставом это не предусмотрено. Авторы устава, безусловно, исходили из чисто служебных соображений: все поощрения приятны и обладают, так сказать, действенной силой, когда применяются командиром в отношении подчиненных, и никак не наоборот. Военная дисциплина требует умения пользоваться данными правами. Это умение обусловлено уставом.

Благодарность, которую мы с Александром Васильевичем получили от личного состава корабля, уставом не предусмотрена, и ее никуда не впишут. Но она тоже награда, и мы ею гордимся...

У нас на лодке он, Василий Никитович Дума. Среднего роста, средних лет. Седоватый. Лобастый. Скуластый. Безусый. В гуцулке и недорогом костюме. Взгляд пытливый. Снял шляпу, когда поднимался на лодку. Так и не надел больше, мнет в руках.

Капитан третьего ранга приглашает в кают-компанию.

— Как доехали, Василий Никитович?

Не сетует, очень даже доволен. Подобралась веселая компания — инженер из Симферополя, полковник в отставке, двое наших подводников. Даем отдохнуть пять минут и вызываем Разуева.

Когда он входит и произносит неизменное «есть», густо краснеет от шеи и до белесого, точно трепаный ленок, чубчика. Уши вообще у него красные, будто их надрали за провинность.

— Узнаешь?

Старшина внимательно приглядывается к Василию Никитовичу. Видно, как он усиленно напрягает память, как быстро-быстро перебирает в ней все самое затаенное.

Вспыхнул, просиял, вроде вспомнил... Нет, ошибся... Снова вспыхнул.

— Отец?!

Это вырвалось почти криком, детским, неожиданным.

Мы оставляем их, мы уже лишние. Александр Васильевич, пойдём к начальнику политотдела и договоримся, что нам созывать — строевое собрание, торжественный митинг или устроить праздничное построение. Я вижу, что матросы способны выстоять по команде «смирно» перед майором запаса Думой и тобой, товарищ капитан третьего ранга, сколько нужно выстоять. Час, два, больше...

В красном уголке плавбазы сидим и слушаем биографию старшины первой статьи Ивана-Валентина Разуева-Рязанова. Ее подробно рассказывает Василий Никитович. Он рассказывает то, что знал сам и знали мы. Ему дано право. И если майор запаса Дума говорит о дедах и прадедах, о родословной Рязанова, это тоже нужно знать Валентину и нам. Где и как воевал Василий Никитович — тоже нужно. И не сомневайтесь, товарищи по оружию, мы временем не ограничиваем, регламент не устанавливаем.

— Перед тем, как зачитать письмо от моего друга, — приглушенно говорит Василий Никитович, — от бывшего партизана, кавалера ордена Отечественной войны, сельского учителя Ермака Аверьяновича, прошу встать. Зачитайте, пожалуйста, товарищ командир, это письмо... о матери.

— Встать! Смирно! Слушать о матери!

— «Их схватили на рассвете...

Оля долго отпрашивалась у комиссара отряда Лантева и своего мужа, партизана нашей третьей роты Ивана Рязанова, чтобы пробраться к отцу-леснику и повидаться с сыном. Мы отговаривали, как могли, но она настаивала на своем. Олю ничто не пугало — ни то, что

тесным кольцом каратели охватили отряд, ни запутанные лесные тропинки через глухие заросли и трясины. Она попрощалась с нами и пошла лунной ночью. Иван немного проводил ее и стал чистить автомат, считать гранаты и патроны. На следующий день эсэсовцы начали стремительное наступление, и он расстрелял весь свой запас. Мы похоронили партизана-орденоносца Ивана Рязанова под ольхой на берегу Князь-озера, на том месте, где он расстался с Олей. Похоронили и извинились — каратели наседали утроенными силами, и командир приказал оттуда отойти, спрятаться в болотах. Не припомню, как и где мы отходили, потому что меня несли на плащ-палатке, каждый раз бередило рану и я не мог раскрыть глаз. Сколько ни просил дать глоток воды, никто не решился, хотя иногда брели по воде, вода чавкала под ногами. Наконец положили на сухом месте. Раскрыл глаза и увидел Олю.

— Это в Виноколах, запоминай, — сказал комиссар Лаптев.

— Ее схватили на рассвете, отстреливалась на опушке, — добавил дед-старожил, — вон оттуда, — показал он.

Передо мной стоял большой крест, сбитый из вкопанной большой живой березы. Из березовых обрубков капились и падали на меня теплые капли. А Оля не плакала. Только в сорочке, распятая, навеки затихла, склонив голову на грудь, слушала партизанскую клятву.

«Вы слышали ее голос?» — спросил деда комиссар. «Не слышал», — ответил дед. «Ни слова не сказала?» — «Ни слова».

Мы похоронили нашу Ольгу Рязанову на площади села Виноколы и пошли дальше. Партизанский отряд «Денис Давыдов» шел на соединение с другими отрядами, чтобы стать армией, вторым фронтом, грозным тылом врагу. И мы соединялись, взялись за руки с заслоновцами и ковпаковцами. Незабываемые рейды, радость побед и склоненные обнаженные головы над могилами народных мстителей.

Выстояли...

Я, товарищ Дума, вернулся с фронта, чтобы учить грамоте детей. И учу здесь, в Виноколах, Рязановых. Перед школой на каменном постаменте бронзовая женщина. Это — Оля. В ногах у нее пламенеет звезда, и горит вечным огнем материнское сердце...

Сына, ее сына, я уверен, найдете, друг мой Дума!
Ищите.

А найдете, так вместе с ним непременно навестите Ольгу.

Она очень соскучилась по сыну, по своему Рязанову, хотя у нее всегда много гостей: она ждет вас».

— Вольно... Прошу сесть.

Передохнули. Задвигали стульями, притихли.

— Старшина Рязанов... Валя... садись, ну, — ищет и никак не найдет подходящих слов Александр Васильевич. Откашлялся. — Кто выступит?

— Я. По поручению экипажа.

Комсорг лодки, старший матрос Снежко. Хмурит лоб, волнуется. Говорит нескладно, но выразительно. Значит, личный состав решил командиру и мне вынести благодарность. Уставом не предусмотрено, но выносят. «Не осуждайте, не отказывайтесь». Аплодируют.

Александр Васильевич благодарит матросов, кланяется, тайком посматривая на адмирала. Но адмирал одобряет — аплодирует. И командир от себя лично и от меня произносит речь. Сухую, сдержанную, правильную. Другой не умеет, и ее воспринимают, какая есть...

Покачиваются волны матросских воротников.

— Ура, моряки!

Гаркнули.

— Ну как вам у нас, Василий Никитович?

— Х-хорошо.

6/X 1959 г.

Партийная комиссия за красным столом. Портрет Ильича. Улыбающийся. Может, поэтому всегда серьезные члены парткомиссии тоже улыбаются?

— Рязанов?

— Да.

— Валентин Иванович?

— Да.

— Знаем такого... Какое предложение?

— Единогласно. Принять.

Пожмите ему руку, товарищ секретарь. Жмет. Я тоже. Выходим. Рядом море. Оно неизменно с ними. Плещется в бетонную стенку, и взлетают вверх брызги прибоя, словно роятся чайки.

Вот и все. А как жаль мне расставаться со своей тетрадью!

Зашел к Александру Васильевичу, положил папку с делом бывшего Разуева.

— Как с ней быть? — спросил я.

Командир равнодушно взглянул на нее и не придумал ничего лучшего, как взять красный карандаш и написать сверху: «Сдать в архив».

Сдать в архив... похоронить то есть. Это значит, что в архиве поставят на папке свой номер и навсегда спрячут от человеческих глаз и сердец все это, такое дорогое для нас. Почему он, умный и справедливый командир, не приказал выставить ее в комнате партполитработы?

Почему?

Видимо, у него свое мнение. Распоряжение командира обсуждению не подлежит. Забираю папку. Пусть в ней остаются и мои заметки. Они также частица этого дела.

Жаль мне с ним разлучаться...

Июль 1960 г.

С востока начала таять ночь, и вскоре на темно-синем горизонте проглянуло светло-голубое, с едва заметным оранжевым оттенком рассветное окно. Спустя некоторое время горизонт покрасился, и из морской просини выплыло кумачовое солнце.

Черное море засветилось всеми своими красками, бросало миндальный оттенок на цепь Крымских гор, на далекие перистые облака.

Лодка выходит на фарватер. Мы с Александром Васильевичем стоим на мостике и не отрываясь всматриваемся в очертания родного берега, который все приближается и приближается. Овладевает нетерпение, — кажется, наша лодка чересчур медленно вяжет морские узлы, оставляет позади последние мили.

Четче проглядывают прибрежные утесы. Уже перед нами закурчавились на склонах гор виноградники, сады, возле залитых солнцем домиков, будто корабельные мачты, задрожали тополя... База.

— Вот так, товарищ комиссар, можешь записать на свой боевой счет первый поход, — обернулся ко мне довольный Александр Васильевич. — И хороший.

Благодарен ему, — признал, хвалит. А почему? Вероятно, нужно, если меня считают настоящим человеком. И кто? Моряки.

Входим в гавань.

Строй кораблей. Вымпелы флота. Присоединяем и свой вымпел.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ МАКИ

НОВЕЛЛЫ



4

•

2

•

1



ВИЦЕ-АДМИРАЛ ПРИНИМАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ

Вечер

С тех пор как командующий эскадрой Черноморского флота получил срочную телеграмму об Октябрьском перевороте и огласил ее на тайном совете высших офицеров, Константин Константинович никуда не выходил из своей квартиры. На вызов штаба эскадры ответил краткой запиской, в которой сослался на неожиданную болезнь сердца и передал всем нижайший поклон. А еще просил прислать к нему опытного врача.

Показывая командующему на вечернем докладе весьма скромные объяснения Константина Константиновича, начальник штаба спросил:

— Так что мы должны делать с вице-адмиралом Чумысиным? Ведь, ваше превосходительство, это... дезертирство.

Совершенно растерянный, командующий только болезненно поморщился и, не взяв записку в руки, презрительно бросил:

— Крыса.

— Совершенно верно, — поправляя высокий воротничок мундира, подтвердил мысль своего командующего начальник штаба, — настоящая крыса. Когда кораблю отчизны угрожает смертельная опасность, этот горе-адмирал убегает, прячется от своих обязанностей... Просто гнусно.

Чтобы не продолжать неприятный разговор о Чумысине, командующий спросил:

— Какие у вас новости о... наших большевиках?

Начальник штаба, разглаживая пальцами свое восковое лицо, поднял на командующего мрачные глаза.

— Новости неутешительные, — ответил он.

— Теперь утешения нечего ждать, — снова внешне спокойно, но в действительности встревоженно произнес командующий. — Докладывайте обо всем... — И подчеркнул: — Без исключения.

— Неделю назад, — заговорил начальник штаба, — в Симферополе состоялся съезд большевиков Крыма. Была делегация и от флота. Решено создать везде, и в первую очередь в Севастополе, Красную гвардию.

— Это мы еще увидим, — неизвестно кому погрозил адмирал. — Дальше!

— Делегаты съезда свое постановление проводят в жизнь. Вчера на линкорах «Свободная Россия» и «Евстафий» состоялись митинги. Матросы поддерживают предложение горожан переизбрать городской Совет. Такое же решение приняли делегатские собрания моряков.

— Кто там был? — резко спросил командующий.

— Не знаю. Во всяком случае, было представлено шестьдесят семь кораблей и частей.

— Я не понимаю: кто сейчас хозяйничает на эскадре? Где наше, черт его возьми, «доблестное офицерство»?.. Немедленно позвать ко мне флагманов!

— Чумысина тоже? — взглянув на записку вице-адмирала, напомнил начальник штаба.

— Он мне не нужен, — все еще резко говорил адмирал. — Пусть сидит, пусть отгораживается от мира. Такой нам не нужен.

Так думал о вице-адмирале Чумысине командующий эскадрой. Сам же Константин Константинович смотрел на все, что творилось вокруг, совершенно иначе.

Революция... Вторая за год революция... Нет, чего-чего, а такого он уже не ожидал. Ему, верному солдату России, человеку, который за тридцать лет службы даже не подумал не выполнить какой-либо ее приказ, стало страшно. Да, да, страшно... До чего только можно дойти?

На службу он, вице-адмирал Чумысин, не идет принципиально, хотя ни одним словом об этом не обмолвился в записке. Он привык знать, кому и чему служит. Теперь это такое всегда привычное и понятное для него стало загадкой. И никому — ни начальнику штаба, ни командующему эскадрой — этой загадки в ближайшие дни не разгадать.

Вот уже почти два месяца известно, что в Петрограде создано новое правительство, а бывший премьер и главноверх Керенский как угорелый мечется по стране, ищет себе поддержки. О вожде большевиков он сказать ничего еще не может, а вот об эсере Керенском у него своя определенная мысль. Ему случилось видеть этого неудачника премьера вблизи. Это было на собрании офицеров в июне, когда Керенский, возвращаясь с румынского фронта, заглянул в Севастополь. Константин Константинович хорошо помнит, как, называя себя революционером, Керенский одновременно распорядился вывести из строя эсминцы «Жаркий» и «Керчь», а «зачинщиков беспорядков» обезоружить, команды списать в отдаленные порты.

Вице-адмирал Чумысин вне партий. Демократом, а тем более революционером себя не называет. Но на подобные меры при таком сложном положении в армии и на фронте он не отважился бы. Несомненно, российский наполеончик всего этого не учел, и его власть, по-настоящему, перешла к другим.

Сколько продержатся большевики, еще не известно. Только Керенскому больше в премьерах не ходить. В этом Константин Константинович уверен. И весьма ошибается командующий эскадрой, что он, Чумысин, отгораживается от мира.

Не так просто в эти дни отгородиться от происходящих событий. Сквозь стекла окон, даже и закрытых,

Константин Константинович видит не только опавшие листья акаций, которые носит декабрьский ветер по Екатерининской улице. Ему виден почти весь Севастопольский рейд — от Павловского мыска до рavelина. Вице-адмиралу не нужны очки, чтобы разглядеть сквозь те же самые стекла красные флаги на броненосце «Ростислав» и миноносцах «Фидониси» и «Гневный».

Не где-то там, в Петрограде, в Москве или в Одессе, а здесь, под окнами его дома, бушуют на митингах и манифестациях севастопольцы и моряки. Да что говорить, вот тут, рядом, на портике Графской пристани, вице-адмирал с удивлением прочитал лозунг: «Да здравствует социалистическая революция!»

Выходит, отгородиться от мира, даже если бы и пожелал Константин Константинович, невозможно.

Командующему эскадрой не известно, что каждый субботний вечер, именно в то время, когда начальник штаба докладывает ему о событиях минувшей недели, к вице-адмиралу Чумысину стучится его адъютант, мичман Дембский. Мичман на флоте новичок, никому еще не успел чем-либо досадить, а поэтому, имея возможность беспрепятственно бывать среди матросов, он всегда хорошо информирован. Не кто иной, как Дембский, несколько дней назад отговорил вице-адмирала явиться на службу, на флагманский эсминец «Гаджибей».

— Матросы разозлены, ваше превосходительство, — предостерег Константина Константиновича адъютант. — Свой, матросский трибунал создали, замышляют что-то... Советую вам пока что продолжать «болеть».

И вице-адмирал послушался мичмана. Как и до сих пор, он на улицу не выходил, приказывал запирааться на все засовы и замки. По вечерам в дом впускали только близких и доверенных ему людей. Свет в комнате почти не горел.

Сегодня — исключение.

Константин Константинович велел горничной зажечь канделябры только в гостиной, при зашторенных окнах. Причиной тому неожиданные гости: графиня Запольская, княжна Трепова и Мария Ивановна — молодая вдова капитана первого ранга Хмелева. Она соседка Чумысиных, и провожать ее приходится мичману Дембскому, что не составляет для него никаких затруднений.

Подав гостям игральные карты и оставив их на попечение жены, Евфросиньи Антоновны, очень суетливой хозяйки, Константин Константинович заперся в своем темном кабинете, лег на диван, раскурил горькую трубку и стал ждать мичмана.

В этот раз Дембский почему-то опаздывал, и вице-адмирал начинал скучать. Трубку курил частыми и глубокими затяжками, от которых, как дрова в печке, трещал табак и вспыхивал огонек.

Двери в гостиную немного приоткрыты, и бледная полоска света дрожит на припорошенном пылью кусочке пола, на книжном шкафу, на кривой коричневой ножке кресла.

Константин Константинович остановил взгляд на пугливой полоске света и, будто ожидая увидеть что-то особенное, впился в нее глазами. Ему не хочется ни о чем думать — ни о революции, ни о флоте, ни о мичмане Дембском, который должен вот-вот прийти. Он желает одного — быть наедине с самыми спокойными мыслями, жить так, как живет, например, графиня Запольская. Во время такого водоворота разве нельзя позавидовать наглой ограниченности графини?.. В щель кабинетной двери проникают обрывки длинной фразы, только что произнесенной Запольской, и Константин Константинович улавливает их.

— Я считаю, — манерно говорит графиня с польским акцентом, — что без революций в нашу эпоху просто невозможно. Во всех цивилизованных странах были революции. В прошлом году я была с моим мужем, графом Запольским, в Париже. Так там, оказывается, было несколько переворотов. Но эти революции ничуть не мешали элегантным наукам.

— А что это за элегантные науки? — осторожно, с чуть заметным смущением за свою неосведомленность в подобных вещах, спросила Запольскую Хмелева.

Константин Константинович представил себе, как в таких случаях краснеет хорошенькое личико Марии Ивановны и начинают вишнево пылать ее тоненькие губы.

— Удивительно, — неуверенно пожалала высокими плечами графиня, — как вы, Мария Ивановна, до сих пор не разбираетесь в элегантности? Париж всегда в этом отношении был на высоте. Моды, балы, маскарады, скачки... Наконец, учтивость. Мой муж, граф Запольский, может

подтвердить, как один очень элегантно одетый господин подошел ко мне и так, знаете, вежливо попросил отдать ему браслет.

— И вы отдали? — почти ахнула княжна.

Княжну Константин Константинович недолюбливал, особенно когда она улыбалась.

— Отдала. А что? — слышался на вопрос княжны тихий ответ Запольской, и женщины сразу же засмеялись.

Евфросинья Антоновна осторожно, но плотно прикрыла дверь кабинета, лишив мужа возможности забавляться пугливой полоской света.

Погасла трубка.

Константину Константиновичу показалось, что он заснул и его разбудили. Может, и задремал, хотя никакого сна не видел.

— Дорогой, встань-ка, в приемной твой адъютант, — легонько потормошила его жена. — Мичман принес тебе очень важные новости.

Вице-адмирал поднялся, но полусонное состояние и внезапный яркий свет приемной не давали ему возможности разглядеть женщин и Дембского.

Колода карт уже была не нужна, рюмочки сладкого вина и кофе выпиты. Графиня презрительно поглядывала своими круглыми светлыми глазами то на бледного красавца Дембского, то на адмиральшу, то на княжну и Хмелеву, которые испуганно прижимались друг к дружке.

Тревожная пауза длилась до тех пор, пока мичман не обратился к своему командиру:

— Ваше превосходительство, честь имею доложить...

— Пройдите ко мне, мичман, — пригласил в кабинет Константин Константинович.

— Извините, — почтительно кивнул головой стройный адъютант, — то, о чем я хочу сейчас доложить вам, должны знать и дамы.

В ответ на такое предупреждение Чумысин недовольно сморщил свое пухлое лицо, но доложить разрешил.

Мичман немного замялся. Его темные зрачки виновато бегали из угла в угол — Дембский выбирал мягкие, подходящие для женщин слова.

— Ну что там такое? — поторопил вице-адмирал.

— В Севастополь, ваше превосходительство, пришла настоящая большевистская революция.

— Как? — тихо сорвалось с уст княжны. Ее услышали все.

— Обычно, по-петроградски, — четко ответил мичман, — разбоем... — И уже к Константину Константиновичу: — Позавчера на доверенном вам эсминце «Гаджибей» матросский трибунал расстрелял шесть офицеров.

— Кого? — быстро спросил вице-адмирал.

— Капитан-лейтенанта Плохинова.

— Так.

— Старшего помощника командира.

— Так.

— Корабельного врача за сопротивление при разоружении.

— Василия Самойловича? Племянника Запольских?..

— Его.

Графиня чуть не потеряла сознание, — ей послышался сплошной звон, сквозь который невозможно было ничего разобрать. Дембский стоял перед ней на коленях, держа флакончик нашатырного спирта.

— Что же вы, молодой человек, при дамах так неосторожно обращаетесь с такими новостями? — упрекнул его Константин Константинович. — Отведите теперь, пожалуйста, графиню домой.

Задорный блеск, который перед этим так великолепно светился в светлых глазах графини, погас, да и вся она сразу же стала какой-то отяжелевшей, понурой. Не плакала. Опираясь на плечо мичмана, Запольская вяло поднялась. Ей помогли одеться.

Засобирались и остальные. Княжна поспешно вытирала платочком заплаканные щеки, вдова Хмелева никак не могла найти свою теплую шаль.

Евфросинья Антоновна за долгие годы службы мужа привыкла ко всяким неожиданностям, она только поворачивалась то к одному, то к другому, стараясь всем помочь.

— Шинель и фуражку мне, — попросил жену Константин Константинович.

— Куда пойдешь? — со страхом спросила она и торопливо перекрестилась.

— Еще не знаю.

В его ответе послышалась раздражительность, и, чтобы ее скрыть, вице-адмирал более мягко добавил:

— Мне крайне необходимо проветриться. Здесь недостаточно свежего воздуха.

Шинель, которую он не надевал с ранней весны, показалась ему тяжелой, неудобной — слежалась. Кроме того, от нее неприятно пахло нафталином. А вообще почему-то оказалась широкой, будто снята с чужого плеча. Не высох ли за эти последние месяцы Константин Константинович?

Решили идти все вместе: сначала проводить графиню, потом — Трепову. Мария Ивановна переночует у Чумысиных.

Декабрьские вечера в Севастополе отличаются ветрами, влажными и пронзительными. Не пройдешь по улице и сотню шагов, как на ворсинки твоей шинели густой росой осядут мелкие едкие капельки цепкого тумана. Вся одежда быстро пропитается сыростью, будто зимой в открытом море. И становится для тебя неприятной, жесткой. Лучше уж не эти слепые туманы, а крепкие подмосковные морозы со снегом.

Константин Константинович за эти два месяца почти разучился ходить и то и дело отстает, вынуждая мичмана и дам, чтобы не потеряться в тумане, ждать его. Иногда они останавливаются, точно сговорившись, вслушиваются. Кроме шаркающих шагов адмирала, ничего, кажется, не слышно.

Константин Константинович идет за ними, понурившись, как за катафалком. Только мозг его работает ясно и четко. Что делать дальше, он знает. Вот только бы освободиться от этих дам, и они с мичманом немедленно отправятся на миноносцы. Разве ему, участнику знаменитого Цусимского сражения, заслуженному адмиралу (пусть и царского флота), не удастся навести на подчиненных кораблях надлежащий порядок?

Впереди, словно призраки, на дороге возникают три матроса — в бушлатах, опоясанных широкими, с патронташами, ремнями, с винтовками. Константин Константинович даже не заметил, откуда они взялись.

— Стой! Кто такие? — крикнул высокий коренастый матрос, видимо старший среди них.

Графиня остановилась первой, молча смотрела на

матросов. Загородив ее и княжну, Дембский выступил вперед.

— Что вам нужно? — в свою очередь властно спросил он матросов.

— Патруль Военно-революционного комитета, — отковырял старший патрульный. — Проверка документов. Прошу, гражданин... — матрос осветил карманным фонариком погон Дембского, — гражданин мичман, предъявить ваше офицерское удостоверение. — И наставил луч фонарика мичману в лицо.

Дембский усмехнулся и сказал патрульному, ни разу не моргнув:

— Прежде всего документы у меня может потребовать только равный мне по чину, то есть офицер. Вы нарушаете корабельный устав.

— Относительно устава, мичман, — заметил другой, приземистый, патрульный с казацкими усами, — то мы его... так сказать, используем уже в гальюне, для нужд... что и вам очень советуем.

Показывать документы Дембский не торопился.

— Так долго нам, мичман, вас ждать? — строже спросил старший патрульный. — Быстрей пошевеливайтесь!

— Я не знаю, кто вы, — храбрясь перед дамами, заявил Дембский. — Для меня законом является Центрофлот, а не... Военно-революционный комитет, о существовании которого я ничего не знаю.

— К вашему сведению, мичман, — обратился к Дембскому матрос, — Центрофлот, как контрреволюционный, ликвидирован. А поэтому еще одно ваше неуважительное слово о нашем Военно-революционном комитете — и я за себя не ручаюсь.

Дембский быстро полез во внутренний карман за удостоверением.

Просмотрев документ мичмана, старший патрульный повернулся к товарищу:

— Ну-ка, глянь в наш списочек: среди тех самых... Дембский значится?

Они стали рассматривать список.

— Нет, — наконец вымолвил усач.

— Вы свободны, — позволил мичману пройти старший патрульный и подошел к Константину Константиновичу.

Чумысин почувствовал, как от злости и беспомощности перед этими матросами, которые годятся ему в сыновья, у него закипает сердце, как ему, адмиралу, не хватает голоса скомандовать им «смирно» и с достоинством пройти мимо них.

Матросский фонарик настойчиво играет лучом на лице адмирала.

— Степка, балбес! — крикнул и даже присел усатый матросик. — Да это же наш адмирал Чумысин, разве не узнаешь?

Старший патрульный опустил луч на мостовую и, недовольно кинув: «Сам знаю», уступил дорогу Константину Константиновичу:

— Прошу вас.

Козырнули все патрульные.

Отойдя немного, адмирал услышал за спиной короткий разговор: «Ванька, это, случайно, не о нем, о Чумысине, так... революционно высказывался на военревкоме товарищ Пожаров?» — «Назукин тоже вспоминал». — «Конечно», — подтвердил кто-то, и они исчезли в тумане.

Как только Константин Константинович проводил дам, он, не теряя времени, потянул за собой Дембского на Минную пристань.

— Напрасно вы это делаете, ваше превосходительство, — пробовал отговорить вице-адмирала мичман. — Подождем до утра. Ведь это не горит.

И снова патруль.

— Кто такие?

Узнали, пропустили.

— Видишь, — не удержался приземистый матрос-усач, — мы революцией занимаемся, а буржуазия блудом.

— Цыц...

А туман уже — хоть глаза выколи. Моросит.

— Ваше превосходительство, — не унимался мичман, — сейчас небезопасно, вернемся.

— Не трогай меня, — начал сердиться Константин Константинович, а сам замедлил ход: впереди патрульные и еще кто-то говорят на высоких нотах.

— Вы не смеее меня задерживать, — донес ветер чьи-то слова. — Я доверенный контр-адмирала Кетрица.

— Это какого? Того самого, что в понедельник с генералом Твердым свою порцию свинца получил?

— Врешь, сволочь!

— Ну-ну, осторожнее! Толай...

Чумысин и Дембский еще не уяснили смысл услышанного, как мимо них, тяжело дыша, пробежал офицер, громко цокая подковами по мостовой, а за ним пронеслись патрульные моряки. Один из матросов на ходу присел на колени, сбросил оцетиненную штыком винтовку и не целясь бахнул вслед офицеру.

— Ой...

Пораженный только что услышанным и увиденным, Константин Константинович не мог двинуться с места...

«Конец... Конец славы России», — это все, что он принес с улицы и что сейчас твердо сформулировалось в его пылающей голове.

Ночь

В гостиной тьма. Только привыкшими к темноте глазами можно было разглядеть, как, опустив голову на сложенные руки, спал за столом мичман Дембский, как съежилась на диване одетая Мария Ивановна и в беспокойном сне стонала возле печки хозяйка, положив ноги на приставленный к кушетке стул.

Скребется в комод мышь.

По улице, отбивая шаг, не в первый раз прошли патрульные военревкома. Они не спят. Значит, не только для Константина Константиновича эта глухая и долгая до бесконечности ночь проходит в бессоннице, значит, не для всех она одинаково спокойная?

Все возможно. Вице-адмирал думает, что не один он из высших офицеров в эту ночь стоит у темного окна и прощается с флотом. Прощается. Уверяет себя, что утром уже не за Кетрицем, а за ним придут, чтобы отвести его к Малахову кургану и убить, бросить на свалку, как старого, ненужного пса.

Как это позорно!

Россия, неужели он заслужил у тебя эту награду?..

Константину Константиновичу собственный кабинет кажется сейчас тесным капканом, и он решительно нажимает на шпингалеты. Окно раскрылось. В открытую грудь адмирала ударила острой свежестью ночь.

Легче дышать... Сколько еще осталось на этом свете

вдыхать такой соленый, родной морской ветер? Мало осталось... Что же, вероятно, он уже свое взял.

Только не хочется, ох как не хочется умирать собачьей смертью. Но этого можно и не допустить. Едва только он зажжет на столе свечку и его силуэт появится в окне, как кто-нибудь из патрульных не выдержит и выстрелит. Лучше уж так умереть, как Кетриц... Он так и сделает.

Константин Константинович поспешно, будто боясь опоздать, отыскал спички, нащупал свечку и зажег ее. Огонь не удержался, свечу задул холодный ветер, дувший в окно. Зажег вторично — свеча загорелась. Весело, словно обрадовавшись ясному огню, затрещал фитиль, и жирными струйками стал плавиться воск.

Свет лег на толстое синеватое стекло письменного стола, на мраморную статуэтку Венеры Милосской, которая так по душе Чумысину, протянул свои лучи во все уголки кабинета, не обойдя на стенах строгих портретов Ушакова и Нахимова.

Константин Константинович взглянул на портреты и почувствовал себя не таким одиноким.

Давно бы так. Теперь он поправит воротничок сорочки и застегнет на все пуговицы тужурку. Еще ни один матрос не видел его одетым не по форме. Почему же вице-адмирал Чумысин должен ставить себя под матросские пули одетым не по форме?

Свечка слева от него, и тень адмирала, увеличенная втрое, ложится на стену. Она, как и свечка, такая же беспокойная, упадет вместе с адмиралом.

Перед раскрытым окном Константин Константинович стоит долго-долго, и ему уже становится холодно. Даже морозно.

Патрулей не слышно. Тихо и в городе, и на рейде. Неужели вчера вечером революция закончилась?

Гуп-гуп, гуп-гуп, гуп-гуп... Все сильнее и отчетливей доносится тренированная поступь патрульных. Они переходят площадь, направляются сюда, к дому.

Какая-то неведомая сила пытается увести его от окна, но он стоит твердо.

Патрульные остановились напротив окна. Остановилось в ожидании и взволнованное сердце адмирала.

— Простудитесь, адмирал, — проговорил из темноты патрульный. — Пора теперички самая простудная, обманчивая. Смотрите не обманитесь.

— Благодарю, — едва вымолвил Константин Константинович. — Постараюсь... понимаете... побережусь. — И снова поблагодарил их.

Гуп-гуп, гуп-гуп... Пошли.

Он плотно закрыл окно, сел возле стола. В голове беспорядочность мыслей, и душу сосут сомнения, словно прожорливые пиявки. Вице-адмирал крайне разочарован — его не убили... Впрочем, эти матросы его обошли, другие не минуют.

Вице-адмирал поднялся, протянул руку к книжному шкафу, скрипнул дверцей, и на этот скрип отозвался в гостиной сонным всхлипом мичман. Подождал, пока снова все стихнет.

Вытащил первый попавшийся томик. Пушкин. «Арап Петра Великого». Давно не перечитывал этой книги... Ганнибал — арап Петра, один из первых русских адмиралов. Та-ак... Интересно, какой бы ему, славному предку славного поэта, довелось держать ответ перед этой революцией?..

А спросили бы... Всех нынче спрашивает новая Россия. Новая... От кого он это слышал? Вспомнил, черт его побери: от этого полоумного «революционера» Керенского... Вот и задумайся теперь: вправду есть на свете такая новая Россия или это просто обыкновенная выдумка? Вывод напрашивался сам: такой нет. Есть крупный народный разлад, и над этим разладом военревкомы... А может, это и не так? Может, сидя два месяца дома, он дальше собственного носа ничего не видел? Может, лейтенант Шмидт (а не контр-адмирал Кетриц и не адмирал Колчак) видел больше и дальше? И гроб этого матросского адмирала заслуженно так высоко несли по Севастополю моряки?.. Конечно, заслуженно. Как он не мог додуматься, что народ никогда не обманывался?

Константин Константинович медленно перелистывает страницы пушкинской книги. Читать не может — в голове все тот же вихрь отрывочных мыслей.

Переворачивает страницы... Петр! Весь колючий какой-то, суровый, дерзко разметались усы, смотрит дьяволом.

Вице-адмирал даже обрадовался встрече с ним.

«Вот, — промелькнуло в мозгу, — вот кого нужно сегодня России! Петра Великого! Этот не цацкался бы ни

с эсерами, ни с меньшевиками, ни с большевиками. Он быстро навел бы порядок в своей России».

Но, перевернув еще одну страницу книги, словно целых два века перевернул Константин Константинович.

Нет Петра, нет и Николая Второго. Есть декабрь 1917 года и есть социалистическая революция, какой добился Ленин. Кто он такой, этот Ленин? Сколько упорства, сколько энергии оказалось у него. Поднять на ноги такую страну. Это же нужно быть гигантом... Он вот боевой, а не придворный адмирал, и то этого никогда не смог бы. А Ленин смог. Смог. Недаром же его так уважают матросы. Керенскому не было от них такого почета. Тьфу, дался же этот Керенский, мартышка косолапая!

Константин Константинович откинулся на спинку кресла.

«Да-а, — с улыбкой на желтых, бескровных губах размышлял он, — не мешало бы повидаться с Лениным. Может, тогда и я понял бы большевиков и мне яснее стало бы, чего они хотят. Декреты нового правительства приносил мичман. Читали их вслух — о мире, о земле, о правах народов. Очень хорошие декреты».

Ему почему-то хочется верить, что у них будет счастливая судьба. Они справедливы. Значит, и Ленин справедлив? Одной справедливости мало, возражает он сам себе. Государственный деятель должен обладать силой воли, большой силой воли, чтобы провести в жизнь свою справедливость. Если Ленин такой, значит, революцию стоило начинать... А если нет?

Сомнения, словно ржавчина, разъедают мозг. В висках, кажется, не боль застыла, а тяжелый свинец. Выпить бы...

Константин Константинович вспомнил, что за шкафом он оставил полбутылки отборного коньяку, в ящике стола — яблоко.

Не вставая с кресла, нагнулся и ошупью достал бутылку. Поднес к свету. Жидкость заманчиво светилась. А рюмки нет. К чертям деликатность! Разве плохо из бутылки?.. Выпил. Лоб сразу покрылся потом. Стало легче.

Яблоко вкусное, но одного, к сожалению, мало.

Через три-четыре минуты Константин Константинович — самый добрый, самый спокойный человек на свете.

Ему уже смешно от наивной проделки, своего самонаказания перед открытым окном; смешно — почему он до сих пор не хочет сознаться себе, что признал право матросов распоряжаться флотом? Они его строили собственными руками, они лелеяли его, он их... А управлять кораблями — что тут сложного?.. Научатся.

— Мичман, мичман, — толкает Дембского Константин Константинович, — а я, знаешь... матросиков, оказывается, люблю. Слышишь, люблю..

Отодвинувшись от тяжелого спиртного духа, которым так и веяло от адмирала, мичман зевает в кулак и негромко говорит:

— Выпили, значит, и полюбили всех? Что ж, можно предположить, что если бы человечество всегда было пьяным, не было бы ни раздоров, ни войн, только христосовались бы все... Ложитесь, ваше превосходительство, и отдыхайте. Кто знает, какое будет утро.

— Это так, — согласился вице-адмирал и крепко потер прояснившийся лоб. — Нужно лечь. Скоро рассветет, и они за мной придут. Я знаю — придут.

У т р о

И они пришли, матросы. Один приземистый, щуплый, с карими глазами под рыжей щеточкой негустых бровей. Постоянная улыбка в затененных уголках губ сразу же привлекала к нему интерес.

Еще в дверях он ухитрился из-за спины горничной поздороваться с хозяевами и весело пожелать:

— Приятного завтрака!

— Просим на хлеб-соль, — поднялся навстречу им Константин Константинович и чуть побледнел.

Недопитый чай остывал в чашках. Мария Ивановна, которой теперь казалось, что она до сих пор пила не чай, а холодную мяту, не спускала глаз с матросов и успела заметить, что на щеках Дембского появился нездоровый румянец, а рука мичмана забарабанила по столу.

Низкорослый матрос, одергивая бушлат и поправляя лихо надетую бескозырку, так же весело и бесцеремонно ответил:

— От угощения обычно отказываться не годится, но извините, мы вот с товарищем Нагорным только что позавтракали.

Матрос, которого весельчак назвал Нагорным, тоже с извинением коснулся привычным движением приветствия бескозырки и остановился на пороге. Он был немного выше своего товарища и в годах. На благородном лице застыло выражение, похожее на затаенную печаль или беспокойство. Видимо, он был человек уравновешенный, спокойный и неразговорчивый.

— Вы уж нас, как его, не осуждайте, — продолжал говорить первый матрос, — мы по делам революции, а она не терпит отлагательств. Мы к вам, адмирал.

«Неужели, так вот любезно разговаривая и извиняясь, они и... расстреляют?» — подумал Константин Константинович и спросил у молчаливого матроса:

— Наедине или... можно и при всех?

Вспомнил почему-то, как вечером неосторожно выложил свои новости при дамах неразборчивый мичман.

— Лучше бы наедине, — так же сухо произнес пожилой матрос.

«Я не ошибся, с ним, конечно, мне и придется иметь дело. Этот, сразу видно, далек от задушевности», — пропуская вперед в кабинет матроса, подумал Константин Константинович и обнаружил у него маузер, торчащий из-под бушлата.

Матрос-весельчак остался в гостинной.

— А вы что ж... постыдились зайти? — как всегда, вежливо обратилась к нему Евфросинья Антоновна.

— Мне, — повел рыжими бровями матрос, — туда нечего заходить. Они начальство, а я всего-навсего адъютант.

Мичман Дембский, который уже немного пришел в себя от матросского визита, густо, словно райское яблоко, покраснел и, стараясь перед дамами держаться с достоинством, спросил у матроса:

— Вы хотели сказать — денщик?

— Я сказал, как хотел, — ответил, несколько не смутившись, матрос и уже без приглашения сел на ближайшее от дверей кресло. Веселости, с которой он пришел, будто и не было. Сидел строгий, ждал своего товарища.

Евфросинья Антоновна даже изменилась в лице от злости на Дембского. Как неуместны этот гонор и плоские шутки мичмана! Не трогал же его матрос... Вот так своим языком и напросится в одну яму с молодым Запольским.

Молчит матрос, и все молчат. А в кабинете идет другой разговор.

Константин Константинович все допытывается и допытывается у Нагорного:

— Я никак не пойму — кто все-таки будет настоящим командиром?

— Вы, — оглядывая кабинет, терпеливо поясняет Нагорный, опираясь локтем на письменный стол.

Вице-адмирал тоже сидит за столом, на том же самом месте, что и ночью. Он еще не знает, отказываться или обрадоваться предложению матроса.

— А ваши какие же... обязанности?

— Мои? — поднял ясные глаза Нагорный. — Я тоже буду командовать... политически, — добавил он через мгновение.

— Как это? Два командира?

— Нет.

Снова неясность.

— Я комиссар Военно-революционного комитета, так сказать, политический контроль в отряде миноносцев, олицетворение революции... Вы же, поскольку вы не коммунист, должны иметь над собой контроль. Приказы, конечно, мы будем подписывать вместе.

— Та-ак... Вы вот, — взволнованно спросил Константин Константинович, — сколько... служите на флоте? Какая у вас... специальность?

— Слесарь, — нахмутив густые брови, сразу же ответил матрос. — Специальность моя рабочая. На флоте не больше года. Партия командировала. А что? Сомневаетесь?

Вице-адмирал смолчал, — матрос таки понял его недоумение.

— Кто еще... из высших офицеров приглашается в ваш... Красный флот? — позволил себе поинтересоваться Константин Константинович.

— Очень мало. Мы в основном приглашаем в трибуналы, — открыто сказал Нагорный.

— Да, родина к нам нынче жестока.

— Не ко всем, — заметил матрос. — К вам, как видите, нет.

— Это еще не известно, — произнес вице-адмирал. — Но какой бы она к нам ни была, — продолжал вице-адмирал, — мы должны ее прощать, как прощают дети

свою мать. Я много в прошлую ночь передумал, но такого предложения военревкома не ожидал. . .

— Значит, вы согласны принять командование над минным отрядом эскадры? — вставил Нагорный.

Константин Константинович замялся.

— Откровенно говоря, — произнес он с явной нерешительностью, — я об этом еще и не думал. Я человек военный, далекий от политики. . . Это же мне нужно записаться в большевики?

Нагорный дружелюбно усмехнулся.

— Не обязательно, — сказал он.

— А как. . . командующий флотом?

— Командующий поддерживает Военно-революционный комитет.

Едва заметная улыбка на губах матроса погасла, и он поднялся. Поправляя ремень с маузером, наполовину официально сказал:

— Думаю, адмирал, мы с вами достаточно поговорили. Я вижу, что вы до сих пор твердо не решили, с кем будете. Вербовать на свою сторону нам некогда, да и не стоит этого делать. . . Поэтому позвольте откланяться. Что доложить военревкому?

Чумысин тоже решительно встал.

— А вы, комиссар, горячий, — моргая длинными ресницами, заметил адмирал, — я бы сказал, чересчур горячий. . . Некогда, значит? . . . А то, что я, заслуженный моряк, стою на распутье и не знаю, где и с кем должно быть мое честное сердце, — это вам все равно? . . . Разве я не должен знать обо всем? А вам, видите ли, некогда. . . Терпение у вас, видимо, короткое.

Такая неожиданная резкость в тоне Чумысина снова вернула Нагорному улыбку. Комиссар военревкома, вспомнив о своей первейшей обязанности — терпеливо разъяснять политику большевиков, примирительно сказал Константину Константиновичу:

— Я и в самом деле погорячился. Но вы же сказали, что ваша жизнь принадлежит народу России. Разве вы до сих пор не поняли, кого поддерживают массы, с кем ваш и мой народ?

Константин Константинович на такие напористые слова комиссара довольно крякнул и встал. Поднялся и Нагорный.

— Ну, так что вы, Константин Константинович, решили? — уже как равный равному, в последний раз спросил комиссар военревкома.

Чумысин взял со стола дорогие папиросы и предложил Нагорному. Тот не отказался. Себе же достал трубку, набил ее душистым татарским табаком-самосадам и раскурил. Отгоняя рукой от себя и комиссара клок дыма, сказал:

— Главное — мне нечего и решать. Ведь Военно-революционный комитет уже подумал за вице-адмирала Чумысина. Да?

— Да, — усмехнулся комиссар и на мгновение обнажил негустой ряд прокуренных крепких зубов. И спросил веселее: — Значит, Константин Константинович, вы тоже революцию пролетариата приняли?

С напускной сосредоточенностью на трубке, которую он никак не мог раскурить, вице-адмирал поправил Нагорного:

— Меня революция приняла, комиссар, а не я ее, — и первым направился в гостиную. Спихватился — уступил дорогу Нагорному.

— Шинель и фуражку, — обычным деловым баском приказал Евфросинье Антоновне.

Нагорный тайком подмигнул товарищу, который вскочил и встал около двери, словно должен был кого-то сторожить. Порядок, мол, адмирал наш, — означал этот тайный знак.

Матрос-адъютант, довольный успехом, снова стал приветливым и простил мичману его заносчивость.

Но, видимо, невозможно им было совсем обойти мичмана, и Нагорный спросил Константина Константиновича:

— Ваш сын?

— Нет, — коротко ответил Чумысин.

— Это мой муж, — не веря своей смелости, заступилась за Дембского Мария Ивановна.

— Значит, сосед? — на этот раз спросил комиссар Евфросинью Антоновну.

— Да, сосед, — подтвердила она и покраснела. — Свой человек...

— Понятно, — серьезно отметил Нагорный, не проявляя больше интереса к мичману.

— Я готов, — напомнил о себе вице-адмирал. Во взгляде жены снова уловил беспокойство. Крепко сжал ей локоть. «Все идет нормально. Волноваться, дорогая, нечего».

— Погоны, — осторожно, чтобы не обидеть Константина Константиновича, напомнил ему комиссар, — вы... так сказать, снимите.

Горькая обида перехватила горло адмирала.

— Как же... это так? — спросил тихо.

— Революция на данном этапе погонов не признает, — смущенно, словно он был виноват в этом, пояснил Нагорный.

Константин Константинович снял шинель, повесил на спинку кресла, стал отдирать столовым ножом нитки, которыми старательно были пришиты золотые, с черными растопыренными орлами адмиральские погоны.

Вот один погон лег на стол, другой. У вице-адмирала неожиданно задрожала на реснице слеза и, не удержавшись, упала вслед за погонами. Растаяла в золоте. Во рту у Константина Константиновича вдруг пересохло, и он, тяжело двигая непослушным языком, спросил Нагорного:

— Нарукавные нашивки как? Тоже?

— Оставьте, они не такие зловредные. — И покопился на плечи адмирала, где чернели невылинявшие полоски от снятых погонов.

Больше они не говорили.

Уже когда вышли на улицу, Константин Константинович спросил:

— Мы как... сразу на «Гаджибей» или в штаб флота?

— Вероятно, заглянем в военревком, — предложил адъютант.

Нагорный на эту неуместную реплику матроса-говорюна ничего не сказал.

— Нас ждут корабли, — ответил он Константину Константиновичу солидно.

Для Севастополя декабрь ранняя зима, а сейчас легкий мороз тронул камни мостовых, а лужи посеребрил тоненьким первым ледком. Наступишь — приятно хрустит.

Безветрие. И туман уплыл с улиц и медленно осел в бухте.

Холодный солнечный луч подрумянивает окна домов, слизывает с них реденький морозный пушок.

На акациях и телеграфных столбах оттаяли и повисли мокрыми тряпицами обрывки разноголосых лозунгов и прокламаций. Попадают и под ногами. На них наступают, топчут, Нагорный тоже придавил каблуком розовую морду, кричащую: «Война до победного конца!»

Десятый час, а прохожих не густо. Кое-где мелькнет какая-нибудь шляпка или платок, перебежит квартал и спрячется в ближайшем подъезде.

Навстречу то и дело попадают матросы: обеспокоенные, невыспавшиеся. Не здороваются с адмиралом.

Неужели так будет всегда?.. Останавливаются, провожают — кто сочувственно, кто изумленно, а кто и злобно.

И когда Константин Константинович видит такое, он спрашивает себя: что он потерял на миноносцах, что ему нужно среди этой обезумевшей от крови матросни? Что он там будет делать? Кто будет выполнять приказы Чумысина?

Он привык беспрекословно слушаться старших, привык к тому, чтобы слушались его. Подчиненные ему корабли всегда отличались чистотой и порядком. Как-то они теперь?.. Ведь с митингами и революциями матросам, вероятно, некогда ухаживать за боевыми кораблями?

Единственно, кто успокаивал Константина Константиновича, был пока что комиссар Нагорный. Очень уж хладнокровный и сосредоточенный этот военревкомовец.

За этими мыслями вице-адмирал и не заметил, как они спустились не на Екатерининскую, а на Большую Морскую улицу.

— Нам, если не ошибаюсь, — обратился к Нагорному Чумысин, — нужно в противоположную сторону — к Минной?

— Так точно, — подтвердил Нагорный. — Извините, но я хочу с подстанции позвонить в военревком и сообщить, что вице-адмирал Чумысин согласился перейти на службу советской власти... Это чтобы к вашей квартире прислали патруль.

— Патруль? — удивился Константин Константинович.

— Ага. Знаете, теперички народ всякий зашевелился. Так это чтобы вас не пограбили или очень революционные товарищи не перегнули дугу.

О «дуге» вице-адмирал не стал у комиссара допытываться. На подстанции Нагорный связался с военревкомом, а Чумысин и матрос-адъютант нетерпеливо его ждали. Потом пошли дальше, к площади Нахимова. Тут бушлатов больше.

А уже на самой площади, возле памятника, настоящая толкучка. Выкрики, ругань.

Словно черные жуки, матросы облепили бронзового Нахимова. Какой-то коротконогий матросик взобрался на плечи флотоводца и прилаживает ему к шее цепь, которой уже опутаны руки и ноги адмирала. За конец цепи ухватился добрый десяток здоровенных моряков.

Нагорный взглянул на Чумысина. Вице-адмирал, оцепенев, стоял, белый, как стена. По лицу его пробежала нервная дрожь.

Матрос Нагорный, комиссар военревкома, выхватил из кобуры маузер и бросился в толпу. На минуту толпа притихла.

— Кто такой? — забасил на Нагорного здоровяк.

— Комиссар военревкома, — строго ответил Нагорный.

— А если комиссар, то знаешь, браток... иди-ка подальше. Контру в эполетах жалеешь? Чего, — указал он на Чумысина, — водишься с ним? Тоже мне, комиссар нашелся. — И волевым тоном к матросам: — Чего пасти раскрыли? А ну, взялись!..

Нагорный оглянулся на Чумысина. Вобрав голову в плечи, быстрыми старческими шажками вице-адмирал спешил подальше от этого бурного места.

А может, и не от матросов. Может, просто не хотел видеть, как на его собственных глазах гордый герой Синопа и Севастополя упадет на мостовую, под ноги матросской толпы.

Нагорный догнал вице-адмирала, и они снова идут, как положено военным, в ногу. Молчат, никто не решается заговорить первым.

А с Екатерининской вместе с разношерстым строем моряков и красногвардейцев навстречу им вырвалась тревожная песня:

Вихри враждебные веют над нами...

— Ать-два!.. — ведет строй, размахивая в такт песни длинными, до колен, руками, довольный собой, нестриженный, в чемарке, с повязкой красногвардеец. Замасленная кепка надвинута на лоб.

— Ать-два! — покачиваются нацеленные в небо гра-
неные штыки. — Ать-два!..

Гудит мостовая.

«Вот здесь — революция, а на площади — только
тень ее».

Константин Константинович не знает, подсказал ли
это комиссар Нагорный или ему самому пришло в го-
лову.

«Как-то там, на Минной?»

И, словно на невысказанный вопрос Чумысина, На-
горный полез за борт бушлата, вынул тяжелые, боль-
шие, величиной с куриное яйцо, часы, выставил вверх
циферблатом и сказал:

— Без пяти десять. Наши как раз строятся на по-
верку.

«Так-таки и... строятся?» — пытливо взглянул на
комиссара Константин Константинович.

Лестница к Минной пристани. Сколько лет спускался
и поднимался по ней капитан-лейтенант, потом капитан
второго и первого рангов и, наконец, адмирал Чумысин?

«Гаджибей», «Жаркий», «Керчь»... Все миноносцы
отшвартованы, как всегда, по расписанию. Как всегда,
с кормы каждого корабля свисают, блестя надраен-
ными медными поручнями, трапы.

На пирсе никакой беготни, никакой суетливости.

Все как всегда...

Выходит, ничего не случилось, не изменилось?

Нет, случилось очень важное: свежий ветер полощет
на флагштоках вверенных ему миноносцев не андреев-
ские, а красные, словно закипевшая кровь, флаги.

Да, свершилась социалистическая революция, и это
вступили в силу ее атрибуты, ее символы.

Значит, он, вице-адмирал Чумысин, должен отдать
боинскую честь красному флагу?

Флаг — знамя корабля, и каждый, кто вступит на его
борт, должен приветствовать этот флаг. Так было на
флоте всегда. Так должно остаться и после революции.

И Константин Константинович, которого пропустил
вперед на трап «Гаджибей» комиссар Нагорный, прило-

жив выпрямленную руку к козырьку фуражки, поворачивает голову к красному полотнищу.

А безусый, — вероятно, перволюток, — вахтенный около флага уже выставил винтовку «на караул» и изо всех сил пропел на весь миноносец:

— На командира революционного флота равняйся! — И слушает, как его команда покатила над рейдом неугасающим эхом.

Сколько прожито с того дня, сколько минуло долгих лет, но и до сих пор слышится адмиралу эта команда. Знает, что теперь подают не ему, старому, сгорбленному. Все равно слушает.

Каждый раз, когда офицеры спешат на службу, на корабли, он выходит с ними вместе к Графской пристани и долго-долго стоит, сияя улыбкой, озаренный солнцем.

Счастливый...

Ждет корабельных склянок, которые оповестят о начале нового дня его родного флота.

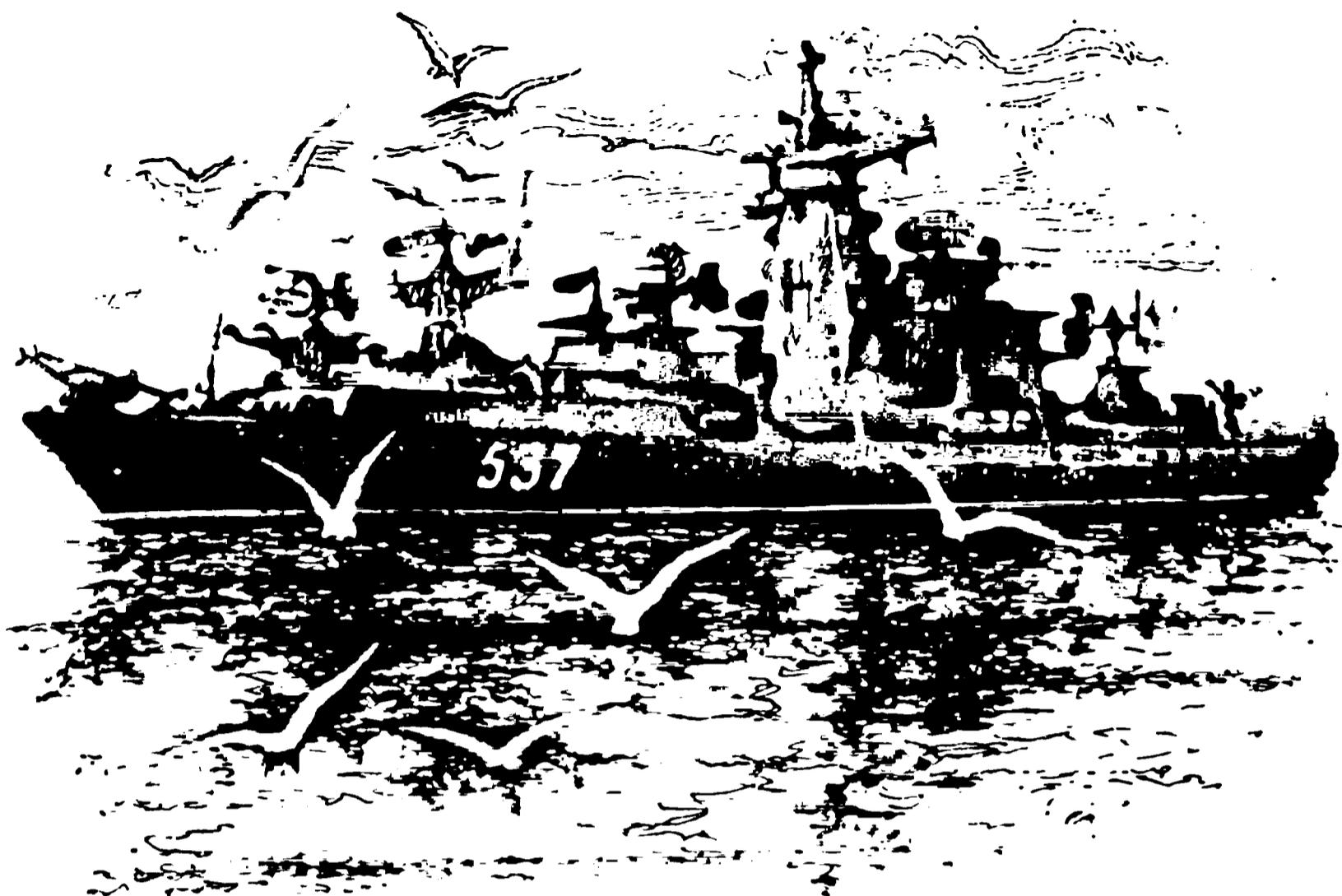
И вот звонкими переливами ударили склянки...

Гордый...

Все как всегда — и как было вчера, и месяц назад, и как в далеком 1917 году.

Спокойный...

Спокоен и за себя, и за флот.



ПРАВИЛЬНЫЙ БОЦМАН

I

Над Севастополем остановилось в зените жгучее июльское солнце и сразу же накалило все и на земле, и на море. Наш корабль бросил якорь посреди Северной бухты, где есть хоть незначительный сквозняк с Мекензиевых гор. Но и это ничего не дает: верхняя палуба корабля такая раскаленная, что ждешь — вот-вот задымит под тобой.

А мы на ней стоим. Сквозь кожаные подошвы ботинок достает нас невидимый огонь от железа. А мы даже пожаловаться не можем. Строй есть строй.

Год назад я не обратил бы внимания на мораль боцмана Попелянченко и кое-что позволил себе. Но сейчас, когда боцман просматривает мой вещевой аттестат,

чтобы дать мне «добро» сойти с корабля, я должен все вытерпеть. А потом уже командир, капитан второго ранга Клоков, он тоже здесь. И каждый из нас, кого направляют в Высшее военно-морское училище, знает, какой будет последний приказ. Вот только завершит боцман свои дела, и капитан второго ранга прикажет зачитать нам всем благодарность и пожмет руки.

Все или не все заслужили такое уважение, все равно командир отметит за службу. Такой уж у него принцип: расстаться с кораблем матрос должен без боли. А благодарность — дело наживное, в новой части матрос ее оправдает.

— Равня-айсь!.. Смирно!.. Слушать приказ командира.

Удивительно, почему у меня, прозванного боцманом Попелянченко «зеленым разбойником», вдруг набежали на глаза тяжелые, горячие слезы и защемило под сердцем? Не оттого ли, что под ногами раскаленная палуба и я, кажется, стою не на кожаных подошвах, а на мокрых горчичниках? А может, это капли соленого пота, которыми я умываюсь, а вовсе не слезы.

— Ну-ну, что за новость, товарищ Земляк? — покачал головой встревоженный моей неожиданной сентиментальностью боцман Попелянченко. — Ты же славный парень! Смотри, вернешься на корабль чин по чину.

— Извините, товарищ мичман, за все, что между нами было, извините!

Это сказано, вероятно, совершенно не выразительно. И вообще для военных людей, а тем более моряков, все это лишнее: службой докажи, кто ты и на что способен.

Сходим по трапу с корабля. Как и мои товарищи, я отдаю воинскую честь флагу, который тоже замер на флагштоке, лихо прыгаю в баркас.

Море теперь здесь, рядом со мной. Вот оно, рукой подать, ленивое, разомлевшее, блестит под лучами, словно рыба чешуя, не шелохнется.

Так почему же я, такой жадный на купанье, сейчас даже не пополоскал пальцев, а все смотрю и смотрю на серый корабль, который не так давно проклинал и во время ночных тренировок, и на больших уборках, и, если хотите, во сне?

А разве я жаловался только на корабль? Разве меньше моих проклятий вылилось на седую голову боц-

мана — мичмана Попелянченко? Разве я не роптал на судьбу, которая нас свела?

Если когда-нибудь кто-нибудь из черноморцев вспомнит при мне о корабле, в памяти сначала возникнет мичман, затем и весь корабль. Без мичмана я не мыслю себе эту стальную крепость. Вот он стоит на спардеке, наш боцман — широкоплечий, загорелый, с распущенными белыми усами, которые, словно хороший пук ковыля, серебрятся на солнце. Смеются не только обветренные на знойном солнце губы, но и глаза.

Боцманские глаза. Когда-то такие темные и колючие, как мне казалось, они сейчас излучают из-под козырька фуражки такую доброту, что мне никогда ее не забыть!

А старшина баркаса уже поднял руку и спрашивает у вахтенного офицера:

— Разрешите отчалить?

— Разрешаю.

Старшина командует:

— Отдать концы! — И к рулевому: — Лево на борт!

Затарактел мотор, и мы, оттолкнувшись от спускового трапа, выходим на чистую воду. Кто-то дернул меня за рукав форменки:

— Смотри на фок! Нам подняли сигнал.

Я посмотрел на фок-мачту. Там трепетали четыре цветных флажка. «Счастливого плавания!» — желали они. Это ребята-сигнальщики подняли их.

«Счастливо оставаться!» — поблагодарили и мы друзей взмахами бескозырок.

А на спардеке все еще стоит мичман. О чем же думает славный черноморский ветеран? Случайно не обо мне ли, «зеленом разбойнике»? Что ж, если так, то и я вспоминаю обо всех, дорогой мой боцман...

II

— Кто тут из вас поступал в училище и не поступил?

Боцман Попелянченко оглядел первую, потом вторую шеренги и остановился на мне:

— Вы?

«Остроглазый ты, мичман, — мелькнула у меня мысль, — видно, никуда не спрятаться от твоего всевидящего ока...»

— Вы? — переспросил.

«Вот язва!»

— Ну, я.

— Не «ну, я», а «так точно» следует отвечать. Пора уж знать. Десятилетку прошел, учебный отряд отмаршировал, а еще нукаешь мне. — Уже мягче: — На каком предмете заело?

— На том, что плохо знал.

— Понятно. — Крикнул писарю: — Запиши этого в боцманскую команду! У меня всеми предметами овладеет!

«Хвастун какой-то или просто флотский Пришибеев?»

На следующий день я уже не новое пополнение личного состава корабля, а младший матрос боцманской команды. Непосредственный начальник мой — мичман, которого я недолюбливал.

Правда, обязанностями он меня наделил несложными — драить палубу, красить кнехты, учить корабельный устав. «Не стоило для этого оканчивать десятилетку», — пока что так я думал о флоте.

В свободное время читаю книги, пишу всем родственникам письма.

Письма довольно оптимистичные. Старательно обхожу в них служебные неприятности. А их немало, и все они так или иначе связаны с Попелянченко.

От него я уже имею выговор, три внеочередных наряда, два неувольнения на берег. Не многовато ли за полтора месяца корабельной службы? Мичман говорит, что это еще ничего, я будто заработал больше. Мне обидно, потому что я своей вины не вижу. Ну что это за вина — на досуге присесть на собственную койку и ее немного примять? Оказывается, в глазах мичмана это большое преступление. И уже на вечерней перекличке тебе выносят выговор. Эх, черт с ним, не сяду больше на свою койку.

На корабле нужно все делать быстро, бегом, особенно по тревоге. Все спешат, а куда, интересно?.. От нашего кубрика до брашпиля самое большее сорок шагов. Так нет, нужно торопиться, лететь, как на пожар. А я так не привык, характер у меня такой...

— Что значит характер? — оборвал меня боцман. — А ну, живей!

Словно и не слышу. «Покричи, служака, тебе полезно».

— Матрос Земляк, бе-го-ом!

А после тревоги три внеочередных наряда. С каким презрением я тогда бросил мичману:

— Есть три наряда.

Так и пошла одна неудача за другую цепляться.

Я был самым несчастным матросом во всем мире. И если мне случалось остаться в одиночестве, я утешал себя: как хорошо, что не зачислили меня в курсанты военно-морского училища! Целый век пришлось бы тянуться перед начальством, будто этот Пришибеев-Попелянченко. Все-таки и у меня хоть заваливающая, а есть судьба.

Только иногда мне очень жалко себя становится. Это в те майские или июльские вечера, когда наш корабль, окаймленный праздничной иллюминацией, стоит посреди Северной бухты и большинство матросов разгуливает с девушками по Приморскому бульвару. А я, еще не уволенный и забытый, сижу на своем кнехте (что тоже не позволено) и смотрю на сверкающий огнями Севастополь.

Именно тогда и подошел ко мне мичман. Главное — я и не слышал, когда он приблизился, иначе избежал бы разговора с ним.

Но было поздно, он уже положил руку на мое плечо и тихо спросил:

— Отсиживаешь неувольнение?

— Похоже на то.

— И я сижу... Из-за вас, — с заметной грустью в голосе проговорил. И тут же добавил: — А в Севастополе сегодня хорошо.

Вздыхнул.

— Почему же из-за меня? — обрадовавшись плохому настроению мичмана, спросил я.

— А как же? Вас не уволил на берег, значит, и сам должен заботиться о вашем досуге. Значит, и мне берег закрыт.

Я впервые оторвал взгляд от города и взглянул на мичмана.

— Это хорошо, что вы начинаете понимать! — поддел я Попелянченко. — А впрочем, это ваш хлеб. Благодаря

матросикам, — указал на его парадный мундир и награды, — вы и орденов нахватали.

Резко сказал, и мичман сейчас от меня непременно отойдет.

Но не отошел старик. Долго пощипывает свой шелковый ус, молчит. Вот отыскивает в кармане трубку, набивает табаком, зажигает. Уже раскуривая ее, меж глубоких затяжек горьким дымом, сказал:

— Сколько злости в тебе! Зря. Злиться будешь на людей — пропадешь. Людей нужно любить. Помнишь, как сказано у Горького: «Человек — это звучит гордо».

«Не захотел ли ты, товарищ боцман, показать свои мизерные знания? Или уже оправдываешься?»

— Вот так! — еще подчеркнул Попелянченко. — А дисциплину, дружок, хочешь не хочешь, а уважай. Я знал одного матроса, на тебя был похож, флотская дисциплина для него тоже была горьше редьки.

«Ясно, оправдываешься!»

— Волком смотрел этот матрос на боцмана. Но по-счастливилось побывать ему у одного великого человека — и сразу спала пелена с глаз. Вот что!

«Интересно, как смотрю я на боцмана? Наверное, тоже волком?»

Мичман Попелянченко забывает о своей трубке и задумчиво смотрит на Севастополь. Неудобно мне молча стоять рядом с ним, я и спрашиваю:

— А что же это за великий человек, который надоумил вашего друга матроса?

Едва заметной улыбкой задержалось на губах старика воспоминание.

— Ты его знаешь, парень...

Слышали? Так и сказал — «парень». Выходит, в праздник и мичман позволяет себе разговаривать не по уставу. Вот это здорово!

— Так вот, представь себе, товарищ Земляк, январь семнадцатого года, канун революции, Балтийский флот...

Попелянченко втянул дым и закашлялся. Кашель у него старый, сухой. Здоровье, очевидно, у боцмана не слишком хорошее.

— Мой друг матрос только что был призван на действительную службу, и не из гимназии, а от пашни. А это значит — и от нищеты. И записывают его не куда-нибудь там, скажем, адмиралу в усадьбе грядки рых-

лить, а на минный заградитель, в команду старшего боцмана. А стоял их корабль в Кронштадте. И вот, не успев еще запачкать робу, чего только не увидел там в те дни мой приятель. На Балтике моряки были особо настроены, никого не признавали — ни царя, ни керенских! И это же после села, где исправник — событие на всю округу, да такое увидеть парню!

Не успел он принести Николаю присягу, как их императорское величество народ смахнул с престола. Революция грянула, пошло все кувырком и на флоте. Кто в лес, кто по дрова. Митинговщина. А мой матросик всюду успеваает. Записали его в какой-то список. Только старший боцман не признает за ним права на самоопределение. Гоняет со шваброй, да и все! Говорит: революции нужны исправные корабли. А еще и дисциплинку требует. Попробовал друг взбунтоваться — заработал внеочередные. «Ну, — думает, — представь боже случай, пристукну!»

Пришел и Октябрь. На минном заградителе организовался ревком. И кого, думаешь, выбрали председателем ревкома? Старшего боцмана — оказался большевиком. И снова, так сказать, дружок под началом боцмана. Да еще под каким!

Запросил Центробалт отряд в распоряжение Подвойского. Сунулся было и друг с заявлением, чтобы послали, а боцман-комиссар на это заявление резолюцию: «Недостаточно сознательный. Нарушает корабельные порядки», — и все, амба, сиди дома!

Так он в отряд и не попал. Приказали охранять Кронштадтский арсенал; одним словом, в караул до особого распоряжения. И просидел дружок в этом карауле три месяца. Бывало, как увидит моряка в бескозырке с надписью «Аврора», чуть не плачет. «И нужно же было, — грызет себя, — на минный заградитель, в зубы треклятому боцману, попасть!»

В начале восемнадцатого Центробалт начал отбирать коммунистов-делегатов сюда, к черноморцам, — создавать новый Красный флот. Отбирали проверенных революцией. Решил и он, тогда беспартийный, попытать счастье. Обратился к комиссару Центробалта. «Я, говорит, надежный: девяносто девять с половиной суток в карауле простоял — и никаких замечаний». Комиссар взглянул на него — и серьезно: «А боцман ваш, комиссар Максимов, как на это, согласен?» — «Разве он по-

зволит?» — отвечает. «Что ж, извини, — говорит комиссар, — без его разрешения мы никуда тебя не пошлем. А впрочем, охранять арсенал такой крепости, как Кронштадт, тоже важное поручение, тут тоже нужны надежные моряки. Не все ходили на штурм Зимнего дворца, не всем придется ехать к черноморцам. Когда понадобится, позовем, а сейчас иди в свою караулку...»

Собрался он идти, а в это время заходит комиссар минного заградителя, боцман Максимов. «Ты чего сюда пришел да еще с винтовкой?» — спрашивает. «По личному делу». — «Наверное, снова в Севастополь посишься? Я же тебе сказал: пока не удостоверюсь, что ты стал безупречным моряком, из-под своего контроля не выпущу!..» — «И это все, спрашивает, товарищ комиссар?» А тот ему, улыбаясь: «Нет, не все. Поскольку ты вооружен, — достал из бушлата пакет, — возьми этот пакет и отправляйся в Питер, в Смольный, передай его секретарю Совнаркома. Катер тебя будет ждать у первого причала». Ну кто откажется от такого почетного поручения? А вот у моего друга был очень тяжелый характер. Возьми да скажи Максиму: «Мне поручать нельзя. Я недостаточно сознательный».

Над нами слегка покачиваются фонарики иллюминации, и негустые тени от них время от времени набегают на углубленное в воспоминания лицо боцмана.

— Вот сказал мой друг такое комиссару и сам испугался сказанного! А если и в самом деле его не пошлют? Другой на месте комиссара так бы и сделал, позвал бы более серьезного. А Максимов — нет. «Что слабоват ты на дисциплину, говорит, это да. Но это будет твоим первым испытанием».

Схватил товарищ пакет — и айда! Обрадовался до безумия. Наконец, думает, побываю в Питере. Переправили его на катере в Петроград и пообещали подождать. Побежал он по улицам — ног под собой не чувствует. А навстречу наша флотская братва — кто с трехлинейкой, кто с маузером. Встречались и гражданские, в шляпах. «Контра, — думает. — И почему ее всю не постреляли!?» Такое еще понятие было...

В Смольном встретили хорошо. Какая-то любезная девушка провела в секретариат. Сдал он, значит, этот пакет, попрощался и уже хотел было направиться к центральному выходу, как навстречу ему быстрым шагом

идет Ленин — наш Владимир Ильич! Заколотилось матросское сердце, вот-вот выскочит. И промелькнула мысль у него: не обратиться ли к товарищу Ленину?.. И выпалил: «Здравствуйтесь, товарищ Ленин!» — «Здравствуйтесь!» — ответил Ильич и остановился. Сам улыбается, а глаза такие добрые. «Вы ко мне, товарищ?» — спрашивает. «К вам, Владимир Ильич, к вам. Ответственное дело», — говорит. Перестал Ленин улыбаться, взял матроса за руку. «Пойдемте ко мне, разберемся, что там у вас за ответственное дело». В кабинете Ленин посадил его в большое кресло, а сам заложил руки за вырезы жилета и стоит. Не успел друг собраться с мыслями, как в другую дверь вошла пожилая женщина: «Владимир Ильич, давно вам пора завтракать, чай совсем остыл». — «Да-да... С чаем подождем, Захаровна! У меня, как видите, товарищ. Или вы, — к матросу обращается, — может, попробуете нашего чайку?» — «Вы, — отвечает матрос, — Владимир Ильич, не волнуйтесь обо мне». — «Если так, я вас слушаю!» И рассказал друг чистосердечно обо всем: как не посчастливилось ему принять участие в Февральской революции и в Октябрьской, что в Центробалте сказали. Короче — не служба, а одно горе, и всему причиной боцман.

Ильич терпеливо слушал его, а как тот кончил, Ленин еще немного помолчал, а уже спустя некоторое время он энергично заговорил: «Жаль, товарищ, что я не знаю вашего Максимова. Видно, правильный он боцман, правильный комиссар! И то, что такой требовательный к вам, можно лишь похвалить. Потому что безответственность — самое опасное зло. В военном деле она часто приводит к катастрофе. Тем более при нынешнем состоянии республики. Враги революции, товарищ, хотят нас задушить в кольце! И мы должны бороться, бороться и победить! А чтобы победить, нужна железная военная дисциплина. А поэтому я хвалю вашего Максимова и прошу, товарищ, передайте ему мой самый сердечный привет! А вам, — говорит Ильич, — советую беспрекословно слушаться комиссара. Без его положительного отзыва у меня нет никакого права рекомендовать вас на Черноморский флот. Вот так...».

Улыбаясь про себя, мичман закончил:

— Отказал Ильич другу. Отказал, но не обидел. Какой-то обновленный, прозревший вернулся матрос на

свой корабль. Передал привет Ленина и все рассказал дословно, что ему сказал Ильич. И взялся с тех пор матрос за ум. И хотя случались иногда неприятности, изменился к лучшему. Уже в грозном девятнадцатом по рекомендации Максимова его направили на Черное море. И до сих пор служит он и не собирается на отдых, потому что считает, что у него не чья-нибудь, а именно Ильичева командировка...

Мичман еще немного постоял, выбил из погасшей трубки пепел и, не ожидая моих вопросов, повернулся и пошел к себе в баталерку. Я остался обдумывать его рассказ наедине с самим собой.

А на следующий день корабль пошел в поход, и возобновилась моя будничная служба.

И хотя после того вечера в моей служебной карточке еще долго не выводились взыскания, наложенные боцманом, и я по логике должен был все же относиться к Попелянченко со злостью, почему-то оттаяла моя душа. И я старался лучше служить. Правда, второго такого разговора у нас не было. Так и жили мы — еще не друзья и уже не враги. И разошлись бы каждый своей дорогой, если бы месяц назад не вызвал меня командир, капитан второго ранга Клоков.

— Я получил, — сказал мне, — докладную мичмана Попелянченко, в которой он, отмечая вашу добросовестность, просит дать вам возможность подготовиться к вступительным экзаменам в военно-морское училище. Поскольку мичман считает, что из вас выйдет неплохой офицер, я согласен.

«Мичман, дорогой мичман! Какой же ты добрый, а я раньше этого и не замечал!»

От командира я сразу же бегу к боцманской баталерке, но Попелянченко там не нахожу. Не чувствуя под собой ступенек, взлетаю на верхнюю палубу, на полубак, на ходовой мостик. Я обшарю всю нашу огромную посудину, от киля до клотика, а поблагодарю боцмана. И уже, когда, запыхавшись, останавливаюсь перед своим непосредственным командиром, он, мичман Попелянченко, опередив меня, довольно говорит:

— Вот так должен двигаться по кораблю каждый настоящий матрос.

Ну что ему скажешь после этого?

Месяц моей подготовки миновал, как один день. Будто и солнце за все тридцать суток не всходило и не заходило, а все висело над кораблем и беспощадно нас жгло.

И вот я в последний раз сошел с корабля, оставив только что найденного настоящего, умного старшего друга — товарища боцмана.

III

С разгона баркас ткнулся носом в сваю и, подгребая под себя винтом как можно больше воды, прилип к Минной пристани. Кто-то подал мне руку, и я выскочил из баркаса на дощатый настил. Тут уже строилась сборная команда со всех кораблей.

Перед тем как стать в общий строй, я еще раз посмотрел на корабль, на свой первый флотский дом. Жерлами пушек наш красавец направлен в море. И как ни ласкает его южное солнце, он все такой же серый, суровый.

И я, чтобы когда-нибудь достойно подняться на его борт, не обращая внимания на едко-соленый пот, на пыль, которой всегда достаточно в Севастополе, поправляю матросский ранец и становлюсь в строй, чтобы начать службу снова, по-новому.



ЧАЙКИ ЛЕТЯТ ЗА ОБЛАКА

Павлу Загребельному

Хорошо рассматривать море с высоких и крутых крымских скал. Я прожил в тех местах больше года и не знал лучшего отдыха. В воскресные дни брал удобную дубовую палку, чтобы легче было карабкаться на скалы, записную книжку, в которую, кстати, никогда и ничего не записывал, и направлялся к морю.

Из городка, в котором я жил, его не видно. Две зубчатые горы со старинной башней навсегда отгородили его от моря, и теперь он каждое лето, в нестерпимую крымскую жару, задыхается от пыли и запаха вяленой рыбы. Даже голубая бухта, которую оживляет своими студеными приливами никогда не виданное ею море, тоже млеет под жарким солнцем. Смотришь тогда на

эту бухту, и она напоминает тебе огромную рыбу, которая только что всплыла на поверхность, перевернулась набок и блестит зеленоватым отливом серебристой чешуи.

А за горами, которые закрыли от моря городок и бухту, уже совсем по-другому — простор: бирюзовый, солоновато-пахучий, необозримый.

Я любил радоваться морю именно с этих гор. По крутой, прятанной в прошлогодней опавшей листве тропинке я добирался к старинной башне, присаживался у ее подножия на первый попавшийся камень и часами всматривался в морскую даль.

Отсюда изборозженное волнами море казалось мне еще более величавым, а корабли и рыбацкие шхуны, проходившие на траверзе башни, какими-то очень далекими и загадочными.

В этот раз мне захотелось пойти ближе к берегу, и я, не раздумывая, начал спускаться.

С каждым шагом все сильнее и сильнее доносился до меня шум моря. Вот оно рядом. Игриво катит на прибрежные скалы свои белогривые волны, бьется ими об острые гранитные ребра и уже вспененными брызгами взлетает вверх.

Играет море, играет и солнце. Бессильное одолеть и успокоить лучами резвое море, оно накалило скалы, и кажется, что они даже шипят от падающих на них морских брызг.

Чуть поодаль, покачиваясь на волнах, дремлет стайка чаек. Ничто не тревожит их. Иногда какая-нибудь вскрикнет спросонок, насторожится, зажмурится и снова погрузится в дремоту.

Я заметил удобный, аккуратно обтесанный ветрами и прибоем камень, который угрожающе навис над самой водой; хотелось отдохнуть и впервые оттуда, вблизи, понаблюдать за морем, а может, раздевшись, позабавляться в солоноватой, пронизанной солнцем воде.

Забравшись на скалу, неожиданно для себя обнаружил, что я здесь не один. У самой воды сидел человек и удочкой ловил рыбу.

Почувствовав на себе мой взгляд, рыбак обернулся и, прикрывшись от солнца ладонью, всмотрелся.

— Эй! — хрипло крикнул он и настойчиво поманил меня к себе.

Это был дебелий, но уже с дряблым, морщинистым лицом инвалид. Взъерошенные, побеленные сединой волосы сползли на невысокий лоб, словно заглядывали в мутные глаза. По желтому скуластому лицу бегают солнечные блики, отражающиеся от нежной поверхности ласкового моря.

Одежда на нем грязная: латаная-перелатаная тельняшка, вылинявшие брюки с засученными штанинами.

Я не отваживался присесть на влажный песок и выжидал, что еще скажет мне инвалид. А тем временем разглядывал его немудреные вещи — мешочек для еды, листок лопуха с червяками и горсткой земли, консервную банку с водой, кривой татарский нож и костыли, которыми он обгородился с двух сторон.

Рыбак внимательно меня рассматривал.

— Извините, товарищ, что позвал, — уже совсем другим, значительно более слабым голосом произнес он. — Если не обедняете, поделитесь папиросой.

Пока я распаковывал свежую пачку папирос, его невыразительные глаза взволнованно, тревожно следили за каждым движением моих рук.

— Пожалуйста, — протягиваю ему папиросы.

Моя пачка быстро пустеет.

Папиросу он не курит, а почти ест: непрерывно жуёт мундштук и выплевывает в море.

— Давно промышляете? — спросил я, указав на удище.

— Ты это о чем? — не понял он и покосился на меня.

— Давно сидите тут? .. С утра, наверное?

— Ага, с рассвета.

— А где же ваша добыча?

— На воле еще.

Снова молчим, слушаем, как где-то между скал, в заводях, вздыхает море.

— Ты из тех самых, — кивнув назад, в сторону бухты, нарушил молчание инвалид, — с сейнеров?

Вместо ответа я спросил:

— А вы сами кто будете?

Пристальный взгляд.

— Разве не знаешь? — серьезно удивился он.

— Не знаю, — признаюсь чистосердечно.

— Вот так фокус! — В его немного прояснившихся глазах изумление. — Да я здесь человек известный, я же. . .

Егорыч... — И пояснил: — Всем знаком, всем надоел, и мне... все надоели.

При этом он нахмурил брови, со злостью снова откусил кусочек мундштука и выплюнул в набежавшую волну.

— Вы здешний? — завязывал я разговор.

— Не совсем... Но родился возле моря.

— Выходит, вы, так сказать, прирожденный моряк?

— Был когда-то...

— Как это?

Егорыч собрался было что-то сказать мне, но его подстерегла задорная волна и облила всего до пояса, забрызгала лицо. Сбегая назад, она оставила за собой пенный след, который мгновенно поглотился мягким и взбитым, как крахмал, белым песком.

Егорыч долго откашливается, сердится. Выдернув из воды леску, он проверил наживку и снова безнадежно забросил. Как и до сих пор, красный, как вареный рак, поплавок мирно покачивается на беспокойной поверхности моря.

Я чувствую, как солнце сквозь одежду начинает настойчиво пощипывать спину. Снимаю китель. Из кармана прямо на колени Егорыча падает моя записная книжка. Он довольно подбирает ее двумя загорелыми пальцами и бесцеремонно, по-детски, разглядывает. Страницы листа горячий ветер.

— Ничего там интересного нет, — я хочу взять у Егорыча книжку.

— Подожди, -- отводит он мою руку. — Тут есть стишки. — И поднял на меня свои прояснившиеся зеленые глаза. — Ты, товарищ, наверное, этот? ..

— Ну что вы! — смутился я и снова протянул руку за книжкой.

— Пописываешь, — твердо решил Егорыч. — Да-а, — протянул он в добродушной задумчивости, — это полезное занятие, в особенности, — он повторил это слово, потому что, вероятно, считал самым эффектным из всех сказанных, — в особенности если есть тихий уголок и деньги.

— Ты, товарищ, — спустя некоторое время спросил неожиданно Егорыч, — всем совершенно доволен?

— Ну как вам сказать... — замялся я.

— А как и скажи.

— Всякое бывает. Хвалиться особо нечем.

— А зачем тогда сочиняешь стишки? — допытывался Егорыч, отдавая мне книжку

— Для души.

Опираясь на локти, Егорыч тяжело пододвигается поближе ко мне и, немного робея, говорит:

— Ты лучше меня опиши. Моя жизнь не знаменитая, но для книги годится. Сам я человек дрянной, ломаного гроша не стою в базарный день. Но насмотрелся и послушался уже столько, что другой сотню лет проживет, а и на мизинец моего не увидит и не услышит.

Будто прислушиваясь к нашей беседе, понемногу успокоилось и притихло море. Его последняя волна лениво докатилась до берега, слабо охнула и так же лениво отхлынула, чтобы больше не вернуться.

Полуденное солнце торжествовало над укрощенным морем.

Потирая пальцами седую щетку редкой бороды, Егорыч спросил:

— С чего тебе начать? С того лета, когда мать впервые сшила из бабкиной юбки полотняные штаны, или сразу с войны?

Я не успел ответить, как Егорыч начал свою исповедь так, как считал более удобным, «сразу с войны», не преминув при этом сказать несколько слов о своем роде.

— Сам я, товарищ, с Кубани, из Староминской станицы, из потомственной казацкой семьи, рос тамочки в наших славных краях, образование некоторое получил, на флот оттуда призвался. А как стал матросом, попал в эту проклятую дыру. В ней и началось мое прозябание, мое инвалидство... Я, товарищ, калекой не родился. Стоял и я когда-то на двух ногах. А что за парень был — на всю станицу. Не одно девичье сердце дрожало, когда танцевал. А танцевать-таки умел. Бывало, как раскручу с какой-нибудь Марусей вихревую польку, бедная девка вынести не может, а мне и остановиться жаль. И казачка выбивал лучше всех, и бороться с парнями умел как следует. Если, бывало, разложу противника на лопатки, то так, чтобы к земле прирос и долго не пытался со мной схватываться. И матрос был я лихой. Старшина из меня, наверное, вышел бы, а если бы захотел, то даже и офицер. Ты не смотри, что я сейчас такой жалкий. Кровь во мне высыхает, как вода в старой луже.

Егорыч низко склоняет свою лохматую голову, ковыряет костылем песок.

— Да, сил уже — кот наплакал. Растерял их на войне и после. Воевать, может, довелось мне куда меньше, чем другим, да разве я в этом виноват? . .

Беда со мной случилась еще осенью сорок первого. . . Недалеко отсюда, на Ялтинской дороге, версты полторы, не больше. Какой бы из меня получился водолаз, трудно сказать. Думаю, не из худших. В воде, еще дома бывало, когда как ныряли с ребятами в реку, мог держаться минуты три, а то и больше. Так что, может, и навсегда застрял бы в водолазах, если бы не война. Пока наши перестреливались с немцами где-то на Украине, школу Эпрона не трогали. Но когда фронт перекатился через Сиваш сюда, в Крым, из нашей школы сделали батальон морской пехоты. Ну, понятно, погоняли немного по горам, кое-как научили окапываться, маскироваться и потом выставили за Балаклавой головным заслоном. Особого оружия не дали, по несчастной винтовочке — и будь здоров. Да и винтовок на всех не хватало. Надеялись на выигранный бой, чтобы, значит, отбить у немца. Меня же приставили ординарцем к комбату. Как сейчас помню его — высокий такой, горбоносый, с глазами табачного цвета, капитан третьего ранга. Солидный начальник. Вот он и взял меня в свои помощники. Конечно, и вооружил лучше других: дал десятизарядную винтовку «СВТ», три «лимонки» и ракетницу. Винтовка, как я убедился в первый же день, оказалась натурально негодной. Пугать ею еще можно было — очень уж сверкал штык японского образца, а стрелять — ну никак. Конструкция, видно, неудачная. Попала, скажем, в затвор песчинка, и хоть молись, хоть матерись на нее — не выстрелит. Но ребята не знали, что это за добро, и искренне мне завидовали. В ординарцах я пробыл девять дней — восемь в тылу и один на фронте. Ну, в мирные дни эта должность несложная, всегда на побегушках: то туда пошлют, то сюда позовут. А вот на войне совсем другое. Здесь ты самый ответственный боец. Я уже говорил, засели мы под Балаклавой в окопах и подстерегаем, когда немец придет к нам, а мы его голыми руками возьмем. Да разве он был дурак, этот проклятый фашист, чтобы лезть сломя голову на наши окопы! Э, дудки! Он сначала прощупал нас с «рамы» — был у него такой самолет-разведчик, — а потом взялся за

нас с головой. От рассвета и до заката висели над нами штурмовики, не давали даже высунуться. Не только лопатками, а и зубами грызли мы мать-землю, зарывались в нее, как кроты. А что сделаешь? Летает, анафема, над тобой и летает, аж зло берет. Вслед за «юнкерсами» не замешкались подойти к Балаклаве и фашистские танки. Тоже с порядочного расстояния принялись нас молотить. Немного и мы постреляли так, наобум. Правда, я старался досадить легкой танкетке бронебойными пулями.

А комбат наш с телефона не слезал, все вызывал командира артиллеристов, чтобы помогли с Сапун-горы. Крутил-крутил телефонную трубку, плюнул на нее и меня позвал. «Вот тебе, товарищ ординарец, записка генералу. Смотри не потеряй. Генерала будешь искать, — показал сюда, на эту гору, — там, на Безымянной. Если не найдешь сам, кто-нибудь покажет. Ну, валяй».

Чтобы яснее стало, скажу, что там было, в этой записке. Значит, комбат сообщал вышестоящему начальству, с какими силами подошли к нам немцы, и спрашивал, что мы должны делать при такой скверной поддержке. Ну, ты человек умный, должен понять, какой был из нас заслон с таким вооружением, да еще в особенности на ответственном участке фронта.

Еле-еле я добрался на Безымянную, разыскал командный пункт и кому следует вручил записку. Генерал прочитал ее, значит, подумал и так ответил: «Передайте своему комбату, пусть продержится до ночи. Под прикрытием темноты отступите к основным силам». — «А позиции же как?» — вырвалось у меня невольно.

Но генерал сначала ничего не сказал, только потом тихо вымолвил: «Идите, товарищ краснофлотец».

И я пошел. Не приведи бог еще кому-нибудь так ходить. Только, значит, спустился с Безымянной горы, чтобы самым коротким путем, через Левадку, проскочить в батальон, как возле самых виноградников застучал меня фашистский истребитель. Штык, наверное, выдал: далеко ведь, сатана, блестит. Вот и насел стервятник на меня. А спрятаться, как ни старайся, негде. Ни сарая тебе никакого, ни погреба. Теперь уж, после войны, Левадку застроили. И смешно, и стыдно рассказывать. Бегу я, значит, от фашиста, а он все гонится и гонится. Да еще нахал какой-то. Спустился на сотню метров от земли и мчится надо мной. То из пулемета черкнет, а то хлопушку,

гранату такую, выбросит. Бежал я, бежал и «довольно» сказал. Что будет, то и будет. Не вести же за собой фрица на командный пункт? Упал я, значит, под густой куст, перевернулся на спину и лежу. Для острастки выставил свою горе-винтовку. Вот так — прикладом в живот, штыком в небо. Да не испугался, поганец, моей «пушки». Облетел он меня, как важный военный объект, осмотрел низко-низко. Еще и выглянул, свою красную рожу мне показал. А как разведка меня, то и стал делать свое черное дело. Прямо-таки на мою голову целую дюжину хлопшек выбросил. Слава богу, не угодил. Только вот первый мне попортил. Не выдержал я такого испытания и снова, как заяц, сорвался с места и драпанул. Вот в этом, товарищ, должен тебе сказать, и была моя ошибка. Нужно было лежать, и фашисту надоело бы крутиться. Так нет же, угораздило побежать. А он словно этого и хотел. Зашел сзади, прицелился в меня, как на полигоне в мишень, пустил пулеметную очередь и срезал... Смешно вышло?.. — всерьез спросил Егорыч, заметив мою легкую улыбку. — Вот так всегда. кому бы ни рассказывал — скалят зубы. А для меня нет тут ничего смешного. Если бы не эта дурацкая история и не моя тогда зеленая, как грецкий орех, голова, может, все было бы совсем иначе...

Так вот, значит, упал я в этих лозах и сколько пролежал — никому не известно. Наверное, очень долго, потому что много крови потерял. После этого целый год не мог ничего различить — всякие там краски только желтыми казались, и перед глазами от слабости будто растопленный воск стоял.

А пришел я в сознание потому, что кто-то меня на себе нес. Вернулось сознание, а вот что сейчас — день ли, ночь ли, — никак не пойму. Где это я?.. Расцепил, значит, зубы и застонал. А как застонал, мой спаситель остановился и осторожно меня на землю положил.

Вот тут я хоть немного, а разглядел, кто же это смилостивился надо мной и решил от явной смерти спасти. Смотрю, значит, и вижу, что это девушка, обыкновенная девочка семнадцати-восемнадцати лет, худенькая такая, еще едва на женщину похожа. Присела на корточки, смотрит мне в глаза. А я такой слабый, что ни одним суставом пошевелить не могу. Попробовал поднять голову — помутилось в ней, и снова сознание потерял.

Я уже тебе говорил: парень я был как раз в самом соку, тяжеловатый, что-то восемьдесят с лишним килограммов. . . Так эта девушка и дотащила меня до своего дома. Что со мной делала — говорить не буду. Скажу только, если бы не Зинка, — ее Зинкой звали, — то наверняка давно бы уже и моя могила на погосте ввалилась и травой заросла. А так вот живу на этом белом свете и еще тебе о своей беде рассказываю.

Егорыч отложил костыли в сторону, удобнее устроился ближе к скале, в тени, и, выдернув из воды забытую до сих пор леску, продолжал:

— Через какой-то день я немного отошел, вернул себе слабый язык и начал расспрашивать Зину, что и как. Оказывается, она наткнулась на меня совершенно случайно — ходила в лозы прятать кое-какое свое добро от немца. «От какого немца? — спрашиваю. — Разве это не фронт гремит?» — «Фронт, — ответила она и заплакала. — Фронт. . . в Балаклаве». — «А мы где же?» — допытываюсь. И только тогда увидел, что лежу не на кровати и не в доме, а на соломе в каком-то каменном мешке. «Что ж ты, говорю, девушка добрая, меня заживо схоронила?» Молчит Зина, только слезы размазывает по щеке. А тут, как назло, хоть криком кричи, все раны заныли, запылали, никакого терпения. Особенно в этой ноге. . . — Егорыч указал на пустую штанину, в которой когда-то была нога. — Не удержался я и крикнул Зине: «Чего нюни распускаешь? Зови врача, наших зови!» — «Нет наших, плачет, ушли». — «Так хоть мать свою». — «И мамы у меня нет. Мы с братом тут на хуторе жили». Как дознался я от нее, что и брата в армию взяли и что она одна-одинешенька осталась, как перст, думаю: «Аминь тебе будет здесь, Николай Егорович. Не отстоит тебя от смерти эта щупленькая девчушка». Да, наверное, не такая душевная сила оказалась у моей Зины. . .

Не задержу твое внимание, товарищ, а скажу: месяц просидела со мной Зина и лечила, чем могла и как умела. Только умения у нее как следует на все не хватало — проглядела Зиночка мою ногу. Две раны поджили, а нога горит все и горит. Почернела, обуглилась. «Что же это со мной творится?» — спрашиваю у Зины, а она только плечами пожимает. «Не знаю, отвечает, в моей книге об этом не написано». А оказывается, тогда девушка знала об этом несчастье в моей ноге. Просто боялась ска-

зять мне. А как было ей не знать? Известно, гангрена. А тут еще и немцы, злые, как псы. Ведь наши под Севастополем хорошо дали им по зубам.

Правда, я тогда еще фрицев в глаза не видывал, кроме той красной рожи, что из «мессершмитта» меня покалечила. Кажись, Зинин дом разрушило снарядом при обстреле, а заодно и вход в погреб завалило. Зина, значит, пробила ход сквозь стену в бывшую кладовку, и никакому фашисту не могло прийти в голову, что кто-то ютится в этих руинах.

Вот и говорю я — спрятались мы с Зиной от всего мира и коротаем в погребе черные дни. А они таки действительно были для нас черными, особенно для меня. От больной ноги мне было хуже, чем грешникам в аду, которых рисуют на раскаленной сковороде. Сначала терпел я, даже не стонал. А потом уж и терпеть не мог. Хоть волком вой — такая боль. Горит моя нога. С каждым часом поднимается антонов огонь, до колена добрался. «Зиночка, родная моя, — прошу я девушку, — сделай что-нибудь, избавь от этих адских мук. Не заслужил я такой кары». Послушалась меня Зина. Слезала в кладовку, отыскала среди домашнего хлама ножовку. Медикаментов же, кроме зеленки и флакона тройного одеколона, которые чудом сохранились, никаких. Положил я, значит, свою покалеченную ногу на какую-то колоду и разрешил Зине: «Пили». А она, известное дело, девушка. Как сказал тебе, молоденькая, едва намекает на женщину. Не удержался я, крикнул на нее, даже вспоминать неловко. Задрожала она, заплакала. Схватила эту пилу, примерилась, где лучше начать, и... резанула по живому месту.

Ох, какие муки, товариш, довелось мне перенести! Думал, что конец мне. Но вышло так, что не взяла меня, мученика, смерть, не нужен еще был я тогда ей.

Пилит Зина мою ногу, плачет и пилит. А обо мне уж и говорить нечего. Отрезали, значит, мы с Зиной мне ногу, зашили свежую рану суровыми нитками, залили ее одеколоном, и я лег. Или от слабости, или от перенесенных мук — только заснул крепко-крепко. Проснулся от настоящей лихорадки. Так трясет меня, так трясет, что зуб на зуб не попадает. От пота, значит, мокрый и замерзаю так, словно выкинули меня голым на мороз. И снова этой девушке морока со мной. То это подай, то

другое возьми, то укрой меня, то раскрой. Вредничаю я, как ребенок малый, а она хоть бы тебе слово обидное сказала.

Такая жизнь продолжалась всю осень, зиму, до самой весны. Отходила-таки меня Зина. Как ни трудно было, а отходила. И заметь себе, товарищ, что я в то время был ей совершенно чужим человеком. А что значит присматривать за больным-калекой? . . . Это же и накорми его, и вынеси из-под него, и грязную сорочку на чистую ему поменяй. . . Да еще и самой поест надо. . .

Дорогой и близкой стала мне эта душевная девушка. Короче, полюбил я свою Зину-спасительницу. И зародилась у меня такая мысль: взять и жениться на Зине. Мысль такая есть, а сказать боюсь, чтобы не отпугнуть ее от себя. Потому что хоть я и не намного старше ее — что-то всего на шесть или семь лет, — но. . . остался на всю жизнь калекой. На что я ей, такой? . . . Бывало, сижу в своей могиле, в этом погребе, строгаю дерево, костыли делаю, значит, а взгляд мой весь на Зине. Проворная она, разговорчивая, делает что-то и все рассказывает мне, и рассказывает. От нее я все узнавал — где и как идут бои, как ведут себя немцы и румыны. Всякие слухи приносит мне. То возвращается с улицы веселой, расцветшей (это когда наши наступают и бьют фашистов), в другой раз хмурая, сама себе не рада. Это уж знай — у проклятого немца где-то успех, а черноморцы снова отступили.

В июле сорок второго наши войска оставили Севастополь. Пока грохотало наверху, еще кое-как сиделось мне в погребе. А как отгремели бои, то никакой силой нельзя было удержать меня в подземной темнице. То надеялся я на возвращение сюда братьев матросов, а то уже и надеяться не на что. . .

И у Зины с продуктами стало туго, исчерпались все ее скудные запасы. Что делать? Посудили мы с ней, порядили и решили пойти к Зининой тетке, в село, неподалеку от Чкаловского совхоза, в направлении Симферополя.

Вот тогда и вывела меня Зина на солнце. Едва переступил я порог кладовки, от свежего воздуха или от солнца сразу же закружилась голова. Прислонился я на костылях к обгоревшему косяку, отдышался и осторожно-осторожно, чтобы не повредить глаза, огляделся вокруг. И увидел я, товарищ, одни руины. Трава на них

выросла до колен, воробьи чирикают, и ни души. Словно в пустыне — грустно.

«Пошли, Зиночка, отсюда, пошли, -- прошу. — Не с моим изболевшимся сердцем смотреть на страшное народное горе».

И поплелись мы с Зиной по Симферопольской дороге. Идем, значит, потихоньку по обочине асфальта и разговариваем: я о себе Зине рассказываю, а она чистосердечно свою душу открывает. И идти нам, заметь, к черту на кулички, что-то километров двадцать с лишним. И это при моем здоровье и одной ноге... На чем угодно поехали бы... Недаром же говорят: лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А нам с Зиной и идти по-человечески не удается: и она за все эти месяцы возле меня зачахла так, что смотреть страшно, и я, товарищ, как известно, клонюсь от малейшего ветра.

Вот и получилось, значит, что Балаклаву мы еще из глаз не выпустили, а уже устали... Присели отдохнуть, слышим — где-то шуршит по асфальту машина. Через какую-то минуту от Балаклавы к нам катится грузовик. Чей он, разобрать издали нельзя — или немецкий, или мадьярский, или, может, румынский. Тут скажу тебе, что Зина меня еще в погребке просветила: кто из оккупантов на чем ездит, что ест и как относится к татарам, русским и украинцам.

Машина приблизилась, и мы сразу же разобрали, что это не кто иной, как сами фрицы.

Зина вышла на дорогу и подняла руку. Рука у нее, как соломинка, тонкая и желтая, даже удивительно, на чем она там держится.

Значит, тогда, товарищ, я впервые с глазу на глаз и встретился с этой поганью.

Заметив мою Зину, фашисты малость притормозили. «Возьмут, — ёкнуло мое изболевшееся сердце. — Ей-богу, кажется, возьмут», — а сам уже тянусь к костылям.

Но я ошибся. Как только грузовик сравнялся с Зиной, фашист высунулся из кабины и резиновой палкой ударил ее по руке, яростно прокричав какие-то слова, которые, наверное, должны были означать: «Кто тебе дал право останавливать на дороге солдат фюрера?»

Грузовик помчался дальше, а Зина, прислонившись к моим коленям, горько заплакала. Долго я, дружище, успокаивал ее, а у самого на сердце сгусток крови за-

пекся. «Ну, думаю, бандиты, все равно не жить вам на нашей земле, все равно придет на вас гибель».

Не знаю, сколько времени добирались бы мы с Зиной к тому селу, если бы не солдат-румын. «Мир не без добрых людей», — говорят. Вот так и тогда. Догнал, значит, он нас на своей каруце и разрешил сесть. Так на румынской каруце мы и приехали к Зининой тете.

А тетка эта оказалась не очень приветливой. Кто я да что я для Зины — только и было у нее на языке. «Муж он мне», — отвечает тетке девушка. А вот чтобы ко мне прижаться или какое-нибудь слово надежды подать, то боже упаси. Видно, ее тоже смуцало мое увечье.

А я, значит, чтобы не есть чужого хлеба, приладился к ремеслу, сапожным делом занялся. Когда-то, еще до фронта, у родителей, немножко этому обучался. Вспомнил, как следует держать молоток или, скажем, шило, и принялся ремонтировать хозяйкину обувь. То туфли налажу, то подошвы к ботинкам приколочу. Прослышали об этом соседи — понесли заказы. Плата у меня была небольшая — кто что даст. Понравилось это Зининой тетке. Стала она расхваливать меня перед людьми. А раньше, бывало, вместе со мной в одной комнате даже не хотела сидеть, такую мне, значит, «демонстрацию» устраивала. По правде сказать, я ее тоже недолюбливал. Вот я и говорю — понравился я сельским жителям, и уже когда заглянули в село немецкие власти учет населения делать, то все сказали, что я местный и что можно выдать мне учетное удостоверение. Это было похоже у оккупантов на паспорт, что ли... Получил я это удостоверение и начал потихоньку себе жить. Сапожничаю, значит, заплатки на обувь ставлю, молоточком гвозди гну, а сам прислушиваюсь к дядькам, как там фронт и скоро ли возвратятся назад наши, Красная Армия.

Зимой сорок третьего обрушилось на село новое горе. Фашисты начали забирать молодежь в свой проклятый рейх. Потащили в сельуправу и Зину. Записали девушку в список и сказали: на сборы в неметчину, значит, дается ей всего-навсего шесть часов.

Растерялись мы: что же делать? Не миновать Зине фашистской каторги. И вот одна соседка подсказала, как спасти Зину от этой напасти. «Женитесь, Коля, — говорит она, — тогда никто ее не возьмет. Такое, — уверяла она, — услышала я от самого старосты». Вот тут соседку

поддержала и Зинина тетка: «Женитесь. Я уверена, что вы будете счастливы». Промолвила она эти слова и ждет, что скажет Зина. А Зина молчит, будто испугалась меня. Понятное дело — совсем ведь девчонка. А потом как бросится мне на шею, как зарыдает, да так, товарищ, что нет сил и рассказать об этом. Начисто растерялся я от этой девичьей искренности.

Ну, а уж когда моя Зина наплакалась, мы, значит, откровенно и поговорили. Скажу так: немалым было мое счастье, хотя бы уже потому, что свела меня судьба с такой девушкой. Говорит она мне: «Коля, родной, знала я, что нелегко развяжется узел, которым связала нас с тобой война. Нелегко нам будет разойтись по разным дорогам. Полагалась на время: думалось, что оно сделает, чтобы когда-нибудь после войны мы могли выяснить наши отношения. Теперь это получилось куда сложнее... Выслушай меня и правильно пойми. Ну как я могу стать твоей женой, ежели я и в чувствах своих еще не разобралась!.. Может, потом, после возвращения наших, все станет иначе. Но сейчас... Давай, милый, женимся так... для отвода глаз. Да и брак наш все равно ведь не будет законным: разве фашистское удостоверение может служить для нас документом совести?.. Вот и прошу тебя... помоги мне и не оскорби».

Горько было мне слышать подобное от нее, но что поделаешь... Любовь, как говорят, не картошка и не фунт изюма... В тот момент, когда Зина обняла меня за шею, и я сразу даже здоровее стал, мне показалось, будто я... целое ведерко глюкозы выпил. А отпустила — тотчас же о костылях вспомнил, о своем несчастном увечье. Но не такой у меня характер, чтобы злоупотреблять Зиной добротой. «Что же, — говорю ей, — спасибо за откровенность. Твоя воля, поступлю так, как ты скажешь...» А сам не удержался и крепко-крепко поцеловал ее. Знаешь, товарищ, такого поцелуя у нас никогда больше не было.

В тот же день мы с Зиной расписались в фашистской сельуправе, на поклон к коменданту Брукнеру ходили. Староста послал: «Это ваш, говорит, «спаситель», заступничек». Думаю себе: «Бреши, бреши! Давно уже плачут партизанские виселицы по таким, как ты да этот «заступничек».

Зину от неметчины освободили. А чтобы полицаи и немцы вообще не приставали к девушке, выдумали мы

и какую-то свадьбу. Я, значит, шитьем сапог у старосты заработал пуд кукурузы и мерку пшена, соседка принесла кусочек старого сала. Из пшена тетка сварила кулеш, а вот с кукурузой дело оказалось куда сложнее. Пришлось делать жернова, чтобы смолоть какую-нибудь муличку или крупу. . .

Намолотили мы этими жерновами кукурузной муки, сварили чугунок мамалыги, сели все вместе за стол, да и «повеселились». Заметь себе, что и сельский полицай заглянул на огонек, надеялся, видимо, на приличное угощение. А когда, собака, увидел, над чем сидим, покрутил носом и сразу же ушел. После этого он и вообще ко мне в гости не заходил. . . Да это и лучше — спокойнее на душе.

Прожили мы с Зиной еще с полгода в этом селе. Особо чего-нибудь, товарищ, у нас ничего не случилось. Если не считать, правда. . .

Однажды ночью, уже перед самым рассветом, кто-то постучал осторожно в стекло углового окна, как раз того, что напротив скамьи, на которой меня укладывали спать. Сначала я ничего не понял спросонок. Тогда этот гость постучал еще раз. Я поднял голову. Смотрю, значит, и вижу в полумраке незнакомого человека в серой старой кепке и пиджачке. Присмотрелся я к нему сквозь стекло. И он присмотрелся, поманил меня во двор. Кто он? Зачем я ему понадобился ночью? Слез со скамьи, торопливо натянул на себя штаны и, чтобы не разбудить домашних, потихоньку вышел за угол дома.

Как увидел этот незнакомец, что я калека, так вдруг весь засветился радостью — значит, попал куда надо, к своим. «В селе, спрашивает, есть немцы?» — «Бог миловал», — отвечаю. «А из пособников фашистских? . . .» — «Староста и полицай». — «Далеко живут?» — «Не близко». — «Укроешь?» — спрашивает и при этом так пристально смотрит на меня, будто одним взглядом хочет заглянуть во все уголки моей негрешной души. «Спешит, значит, — думаю, — не провокатор». Подумав так, решил: «Пошли».

А к тому времени мы с Зиной на огороде в зарослях тайник вырыли. Это на тот случай, если эсэсовцы заскочат в село и попытаются облаву учинить на нас. Фашисты тогда часто так делали. Потому что, видишь ли, много невольников бежало по дороге в Германию, как только

эшелоны заходили в лесистые места Украины. Тайник оборудовали по всем правилам: ходи по нему сколько угодно, даже телегой проехать можно — не завалится. Замаскировали так, что иногда и сами с трудом находили.

Спрятал я незнакомца, а сам возвратился в хату. Вхожу в сени, а там Зина стоит в одной нижней рубашке и загадочно улыбается. Спрашивает: «Куда ходил?» — «По нужде», — отвечаю первое, что пришло в голову. «Так-таки и по нужде?..» Стыдно мне стало перед Зиной: зачем я скрываю?.. И я признался ей, сказал о ночном госте и взял с нее слово никому об этом не говорить, даже родной тетке, ибо хотя и воевал я, товарищ, очень мало, но сразу догадался, что это не кто иной, как советский разведчик.

Пищу разведчику мы носили по очереди — то я, то Зина. Незнакомец оказался очень общительным человеком, бывалым воином; он очень интересно рассказывал нам о всяких фронтовых приключениях. Мое предположение оправдалось, действительно, это был разведчик; почувствовав наше искреннее расположение к нему, он кое-что рассказал нам о своих делах. В немецком тылу ему приходилось бывать не раз, он хорошо изучил хитрые повадки гитлеровцев, умело обводил их вокруг пальца. Вот и совсем недавно случилось с ним: забросили его с самолета в один район, а он быстро перебрался в другой; сделал, так сказать, небольшую паузу, а уж потом, хорошенько сориентировавшись в обстановке, изучив местность, отправился на выполнение боевого задания...

После войны встретил я много знакомых товарищей, а его, к сожалению, не встретил. Наверное, не выпало ему побывать в наших краях. Сибиряк он. Надо полагать, и поехал к себе домой, в Сибирь. Славный парень. Не очень высокого роста, но крепкий, жилистый, мог без особого труда справиться с двумя и с тремя гитлеровцами. Простились мы с ним, можно сказать, друзьями. Перед тем как уйти, парашютист дал мне сверток с листовками на русском и немецком языках и попросил, значит, чтобы я, соблюдая осторожность, распространил их среди наших людей и среди вражеских солдат. Я благодарил его от всей души за такое доверие. Раз уж на войне я не смогу принести пользу родному отечеству, то хотя бы таким образом могу внести свою лепту в святое дело. Поручение

разведчика мы с Зиной аккуратно выполнили: листовки для немцев моя верная подруга переправила с надежным товарищем в Симферополь, прямо в расположение фашистской части. А распространение листовок на русском языке я взял на себя и, говоря без хвастовства, могу сказать, что проявил в этом деле кое-какое умение. Приходит ко мне, значит, заказчик, ну, как к сапожнику, принесет что-нибудь отремонтировать, а я и присматриваюсь к нему, выведываю осторожно и тактично: кто он и что он, каким духом дышит и можно ли ему вручить драгоценную листовку. Действовать нужно было очень осторожно, ведь всякой нечисти, которая до войны сидела притаившись, при оккупантах объявилось очень много, выросла она, как обычно бурьян после ливня вырастает. Всякие кулацкие недобитки, воры, жулики и просто несознательные элементы, как псы, стали заглядывать в оккупантские руки, выслуживаться перед ними за кусок эрзац-хлеба.

Так вот, строго соблюдая бдительность и осторожность, раздавал я односельчанам переданные мне разведчиком листовки. Вручаю, значит, своему заказчику-клиенту такую партийную бумажечку и предупреждаю: «Вызубри все, что там написано, наизусть и передай дальше...»

Все ли листовочки пошли по рукам, сказать с уверенностью не могу, потому как и среди честных людей всякие попадаются, дорогой мой товарищ. Один герой, другой просто смельчак, а третий, хотя и честный, но законченный трус. Если из нескольких сот разошлись по назначению хотя бы сто штук, значит, я неплохо поработал, и моя совесть перед разведчиком и перед людьми чиста. А что наши листовки не давали врагу покоя, так это факт.

Но не зря ведь говорится, что в семье не без урода. Вот и тут нашелся какой-то немецкий холуй и отнес один экземпляр в полицию. Потащили меня в полицейский отдел, учинили допрос: где взял? Кто дал? С кем еще делился?..

Только успевай отпираться. Прикинулся, значит, я дурачком и говорю им: «Господа полицаи, я ведь неграмотный человек, крестиком расписываюсь. А потому, когда нашел на дороге эти бумажечки, обратился к этому гражданину, чтобы он прочел вслух и разъяснил мне суть

написанного. — И еще говорю: — Я же, панове, думаю, что это есть немецкий закон о наделах, а выходит, совсем не то... Извините, панове...» Сказал я им эти слова, а сам, глядя на начальника полиции, поморщился, как от боли...

Поверил мне старший полицай и набросился на того негодяя предателя: «Ты читал ему (то есть мне), такой-сякой?» — «Малость читал, — бухнул тот с перепугу, — когда пан сапожник попросили...» — «Всыпать! — гаркнул полицай. — Тридцать шесть шомполов!.. Строго по азбуке, чтобы грамоте разучился и чтобы язык у него в горле занемел!» А у них такие приговоры, нужно сказать, выполнялись немедленно. Не успел значит, доносчик и пикнуть, как его на моих глазах схватили два дюжих увальня полицая, положили на скамью, стащили штаны и по тому месту, откуда ноги растут, прошлись шомполами, не больше и не меньше, а именно тридцать шесть раз. Криком кричал паскудный сын, в своей верности новым порядкам клялся, а его отстегали по всем правилам полицейской науки. Где только, думаю, они так быстро научились?

Закончив с доносчиком, полицайи взялись за меня. Не посчитались даже с тем, что калека. «Десять розог!» — распорядился начальник полиции. Попытался я было отпроситься, но куда там, не вняли моим мольбам. Повалили на скамью... Вечером меня отпустили из полиции, и то под расписку, что больше ничего подобного не повторится. Ставил я свой крестик на бумажке, а сам уже думал о тех листовках, которые еще остались дома...

А когда вышел я, значит, за ворота полицейского участка и увидел Зину, то сразу же забыл и о своем позоре, и о боли. Прибежала, родная моя, расцеловала, утешила... И так этим меня поддержала, что я дал себе клятву в ближайшие же дни раздать народу все листовки. И знаешь, товарищ, свое слово я сдержал.

И еще было в том жестоком году одно важное событие в моей жизни — Зина стала моей женой. Сама этого захотела, потому что, дескать, убедилась, что я самый дорогой для нее человек...

Не перечить тебе, товарищ, всех несчастий, которые причинили нам оккупанты. Как вспомню, кровь в жилах стынет. Приходилось мне, зрячему, видеть и полураздетых пленных красноармейцев, и казненных партизан, и

голодных детей-сироток, побиравшихся по селам изо дня в день, и облавы на невольников.

Не одни сутки и не один месяц отсидели мы с Зиной в том влажном тайнике, в котором когда-то укрывали мы нашего разведчика. Но разведчик жил там летом, а нам выпало мучиться в погребе среди суровой зимы. Не выдержали мы — сначала я заболел воспалением легких, а потом и Зина. И уже когда вступила в село Красная Армия и мы вышли из проклятого укрытия, то все удивлялись, как это еще держится святой дух в моем искаленном, измученном болезнями теле. Хорошо, что в этом селе вскоре разместился госпиталь. У Зининой тетки квартировал врач, который малость подлечил и меня, и Зину. А уж когда окрепли мы, то направились сюда, в Балаклаву, в разрушенную хатенку Зины.

Для Зины сразу же нашлась работа — официанткой в столовую. Годы эти, как вы знаете, были очень трудные, все лишь по карточкам выдавали. А Зина имела возможность питаться в столовой и мне кое-что приносить. Я тоже не сидел без дела, хотя и болел, но хлопотал по хозяйству. Сначала подремонтировал дом, вставил и застеклил окно, временную печку слепил, — одним словом, оборудовал жилище. По тем временам это было настоящее богатство.

Вскоре и почта открылась. Написал я обстоятельное письмо родителям в свои родные края; на Кубань. Рассказал о своей жизни, об их невестке и в конце, как бы между прочим, спросил: а не лучше ли было бы нам с Зиной перебраться поближе к ним? Все-таки наши кубанские земли более плодородны, чем крымские, и, конечно, более богаты. К тому же и Зина была уже беременна, и ей, и ребенку нужно было хорошее питание.

Недели три ждал я, значит, драгоценного ответа из Староминской станицы. Наконец почтальон не прошел мимо и нашего двора, принес мне весточку — обыкновенный, значит, треугольничек из ученической тетради. Адрес химическим карандашом написан. Почерк незнакомый, какой-то словно бы чужой. Взял я этот треугольничек, держу в руках, а сам дрожу от волнения, боюсь даже раскрыть его. Решился наконец, развернул треугольничек, прочел четыре первых строчки, да и сел... Сейчас даже и вспомнить не могу, на что именно я сел,

Написала мне ответ дальняя родственница по матери, значит. Очень добрая и откровенная женщина, вдова. Из ее письма я узнал, что мать моя умерла еще в сорок втором году, а отец вывезен немцами. Куда именно — неизвестно. Предполагают, что в Австрию, а может, и в Пруссию. Поди-ка поищи его, найди... А хата, слава богу, не разрушена.

Читал я это письмо и глазам своим не верил. Знаешь, товарищ, и так мое сердце было обгоревшим от горя, а после прочтения письма снова начало тлеть. И истлело бы начисто, если бы не Зина. Прибежит, бывало, бедняжка, с работы и еще с порога бодрым голосом спрашивает: «Ну как, Коля, нет каких-нибудь новостей об отце?» — и заглядывает мне в глаза. А когда прочтет в них печальный ответ, который вчера и позавчера был, умолкнет, а потом ласково скажет: «Не кручинься. Вернется он. Должен вернуться...»

Егорыч молча и долго хмурится, насупив свои тяжелые брови, и время от времени задумчиво поглядывает на веселое и шумное море, которое, как и прежде, нежится под ослепительным солнцем.

Чайки уже отоспались и одна за другой с привычной жалобой на свою судьбу взлетают вверх и несутся куда-то подальше от берега, к горизонту, навстречу розовой гряде облаков. Скоро они вовсе скрываются из виду. Лишь сквозь шум волн еле слышно доносятся сюда жалобные крики извечных обитателей этого голубого простора.

Чтобы как-то вывести Егорыча из тяжелого состояния, я спросил у него:

— Так кем все-таки порадовала тебя Зина?

— Сыном... Егором Николаевичем. Это мой старшенький, — добавил он с нежностью, — в школу, во второй класс, уже перешел, с похвальным листом. Меньший, Славка, тоже хороший парнишка, лицом на Зину похож, а по характеру истинный сорвиголова. В сыновьях, товарищ, весь мой секрет. Они для меня и здоровье, и цель в жизни. Хотя, откровенно говоря, — снова помрачнел Егорыч, — такой... прямой цели у меня как раз и нет. Но это все ерунда. Ты вот, дружище, дослушай, что еще было написано мне на роду перетерпеть и как я все это перетерпел...

Принесла, значит, мне Зина сыночка, завернутого в старенькую простынку, которую в роддоме выдали. И говорит застенчиво: «Нездоровится мне, Коля. Хочешь — ругай, хочешь — нет, но на работу возвращаться у меня нет сил».

А я был так безмерно рад рождению сыночка, что только целовал свою родную и повторял ей: «Конечно, не пойдешь! Ты у меня и так высохла, как былиночка! Как-нибудь прокормимся. Я хотя и калека, но не такой уж беспомощный!»

И заметь себе, дорогой товарищ: говорю я ей эти слова, а сам уже вижу, как моя Зина расцветает, становится счастливой. Не много сй нужно, какую-нибудь капельку радости, чтобы в се доме наступило счастье. Очень хорошим человеком была моя Зина!

Однако слова словами, а нужно же было дать жене облегчение. Избрать ремесло на этот раз не удалось мне. Как я уже говорил тебе, при оккупантах наловчился сапожничать неплохо. И теперь вступил я, значит, в артель инвалидов. Кроме парихмахеров, портных, маляров и еще кое-кого эта артель объединяла и нас, сапожников. Поработал я месяц, другой. Вижу, что дела мои не улучшаются, потому как артель и сама только-только на ноги становилась. Не было еще здесь возможности как следует заработать, чтобы прокормить семью в трудные первые послевоенные месяцы...

Бросил я сапожничать и направился в сменные сторожа при нескольких мастерских. Не только я, некоторые другие наши сапожники тоже отказались от этой артели... А почему это, думаешь? А потому, что когда ты, в особенности одиночка, по патенту, значит, работаешь, то стучишь молотком на себя и на государство. В артели хочешь не хочешь, нужен целый аппарат: и управляющий, и его заместитель, бухгалтер, и кассир, и всякое прочее... Ксентора, брат, контора...

В сторожах спокойнее — сам себе хозяин. Отдсжурит смену, сдал объект — и уходи на море ловить бычков. Вот именно тогда и полюбилось мне это место. Видишь, забрасывать в море удочки — очень забавная вещь. Смотришь на поплавок, глаз с него не спускаешь и не заметишь, как почти весь день промелькнул. Приходишь сюда, когда солнце еще едва-едва начинает греть затылок. А уж когда увлекся, так и знай: опомнишься лишь тогда, когда

глянет оно тебе прямо в лицо... Иной раз я высиживал до самого вечера, пока море не становилось красным в предзакатных лучах... И если Зина беспокоилась обо мне, опасалась, как бы чего не случилось, то прибегала аж сюда. Знала, где я могу пропадать.

Обжились мы, значит, с Зиной, постепенно на ноги встали, заработали деньжат, да таких, что и в сберегательную кассу обратились. А тут еще открылся в Госбанке заем для индивидуальных застройщиков. Взял и себе такой заем — принялся ставить небольшое жилище.

Директор мастерских выписал мне досрочный отпуск, премию для подмоги — объявил в приказе за бдительность при охране народного имущества, — одним словом, помогал мне, как только мог. И все-таки со средствами на строительство получалось не так, как нужно. Мало-вато... На строительные материалы у нас, в Балаклаве, высокие цены. Да разве только здесь?

И вот надумал я, товарищ, пойти в исполком, к заведующему райсобеса, пенсию выхлопотать. Ни слова не говоря Зине, выгладил свой праздничный костюм, пощупал у себя на груди тельняшку — она у меня тогда была еще совсем новенькая, матросские штаны, начистил туфли — и в добрый час.

Прежде мне как-то не приходилось видеть заведующего отделом соцобеспечения. Я не мог даже представить, каков он собой, как относится к посетителям. Ну, пришел я, значит, в исполком, отыскал нужный мне отдел и записался в очередь на прием. Попал я очень удачно — день был как раз приемный. И в очереди просидел не больше часа. Позвали меня так быстро, что я даже не успел всех объявлений прочитать. Право слово, повезло. Да и заведующий показался рубахой-парнем. Очень мне понравился товарищ Середенко. Выслушал он меня, расспросил обо всем в деталях и напоследок сказал: «Дорогой друг, получить пенсию тебе будет не так легко. Ты прежде всего должен нам подать следующие обязательные документы: заключение военно-врачебной комиссии, справку из госпиталя с указанием, когда, где и сколько лечился. А еще подтверждение военкомата, который призывал тебя на военную службу, что до пребывания на флоте ты не был калекой...» Сказал он все это и улыбается мне такой любезной улыбкой, будто сделал уже для меня очень хорошее дело.

Да, походил я к этому Середенке не раз и не два... Сбирал ему справки со всего света. И ВЛК прошел, и подтверждение Староминского военкомата раздобыл, а пенсию никак не назначают. А тут еще с моей Зиной морока. Не успею отвернуться от нее, как она уже на нашем строительстве в проклятом замесе топчется. Своими собственными руками оштукатурила хату и внутри и снаружи. Непоседливая!..

А сама ведь такая, что если взгляну на нее при свете, то только сердце разболится. Девчонкой была худенькой, слабенькой, а теперь и вовсе выбилась из сил. Вот и не уберег я свою дорогую жену... Буду проклипать теперь себя всю жизнь...

То ли от темных туч, которые заслонили солнце, то ли от горьких воспоминаний на небритое лицо Егорыча легла плотная серая тень. И лицо это было теперь не желтым, как до сих пор, а каким-то мученически черным, с множеством глубоких шрамов-морщинок. И глаза стали влажными, с болезненным отблеском.

Егорыч отвернулся от меня к морю. Не поднимаясь на костыли, просто так, на коленках, придвинулся к воде.

Море послушно накатывает ему в пригоршню свое добро — студено-живительные волны. Егорыч хлюпает морской водой прямо в глаза. А зачем? Чтобы за солено-горькими струйками морской воды не выдать мужских солено-горьких слез?.. Возможно... Когда Егорыч умылся и вытер посвежевшее лицо кончиком тельняшки, я снова, но очень осторожно, чтобы не причинять ему боли, заговорил с ним.

— Николай Егорыч, так что же стряслось с вашей Зиной? — спросил я и только теперь заметил, что руки Егорыча дрожат мелкой дрожью.

— Надорвалась, — прошептал он. — Понимаешь, глиняными вальками и надорвалась. А чтобы яснее тебе было, скажу: в тот горький час она у меня тяжелой ходила, со Славкой, на седьмом месяце. Вот и случилось у нас так, что и сыночка Зина не доносила, и сама в могилу легла.

...Долго, товарищ, без нее ничто мне было не мило; слонялся между людьми, как неприкаянный. Куда ни пойду, а на кладбище окажусь. Иногда украдкой от старшенького, Егора, чтобы не бередить детское сердчишко.

А приду, значит, туда, гляну и остолбенею: он уже возле матери!..

Вот так, товарищ, и оставила меня моя верная Зина с двумя сыночками — один маленький, а другой еще совсем младенец, к тому же и недоношенный... Ну что мне с ними делать? Да мир не без добрых людей. Вызвалась кормить моего Славку жена нашего подмастерья, учительница Екатерина Матвеевна. У нее тогда как раз родился мальчик... Сначала я носил сыночка к ним, а потом Екатерина Матвеевна и вовсе забрала его к себе. А когда отлучила ребятишек от груди, забрал я своего Славку домой. Правда, Екатерина Матвеевна не хотела его отдавать мне, но я уговорил: ведь в сыновьях теперь все мои помыслы, все надежды.

Вызвал я тогда из села к детям Зинину тетку. Пробыла она у меня не более месяца и убежала назад: дескать, не привыкла морочиться с детьми.

Как ни крутился я, а без хозяйки в доме никак не мог управиться. Жениться? Ну, кто мне нужен после Зины?.. Любил ее так, что никого уже не смогу так любить. Потому как у меня об этом есть свое понятие. Человек живет на свете один раз, и любовь у него должна быть только одна. Жизнь людская не камень, она ни на какие куски не может измельчаться. Так я понимаю.

При помощи людей разыскал я пожилую женщину-одиночку, упросил ее вести хозяйство. Она и сейчас живет у меня. Понравилась детям, и дети пришлись ей по душе. До этого она была домашней работницей у какого-то аптекаря, а теперь у нее одна задача — ухаживать за ребятишками и за собой смотреть. Ну, еще там, понятно, на базар сходить, прикупить что-нибудь. А когда у меня неплохой улов, то и мою рыбку продать. Это уже непредвиденный заработок. И на него свои особые расходы, конечно, и для меня, и для детей...

Дружка себе завел — Махиньку Лысого, маляра из коммунхоза. Вы, может, его знаете — хлипкий такой, весь облезлый, будто заяц весной. Вот и подружились мы с ним. Прямо-таки куда овца, туда и баран; куда иголка, туда и нитка.

Маляр, как говорят, свой уже был, а вот строительства своего я никак не мог закончить. Все упиралось в лес. Да и с деньгами стало туго — заем в банке закрыли. Решил я это строительство забросить. Я так думаю:

при Зине мучались в каморке, а без нее и вовсе как-нибудь перезимуем. Так бы оно и было, но вот заглянул ко мне на работу Махинька, от нечего делать пришел. Присел он, закурили по сигарке, разговорились. Беседовали обо всем на свете — и о хлебе, и о политике. Дошла очередь и до моего незавершенного строительства. Слушает, значит, меня Махинька, а сам щурится на меня. «Так, говоришь, — спрашивает он, — нет леса?.. Слепой ты человек! По обаполам ходишь, спотыкаешься о них и не видишь...» Не нужно было быть слишком умным, чтобы смекнуть, на что намекал Махинька.

«Ты что? — обиделся я на Махиньку. — За кого ты меня принимаешь? За сторожа или за вора?» А Махинька смеется: «Слепец ты несчастный! Оглянись вокруг. Отовсюду все тащат лес, один ты охраняешь его, да и то... от самого себя». Промолчал я, ничего не сказал Махиньке. Но когда он ушел от меня, задумался не на шутку. Дня два не давали мне покоя эти горькие мысли. На третьем дежурстве не удержался и полез в складское помещение. Ночь выдалась темная, безлунная. Такая августовская темень, что можно все судоремонтные мастерские вынести. Взобрался я, значит, на ворох сосновых бревен, выбрал себе одно под силу и вынес. Это теперь я словно бы так, между прочим, спокойно рассказываю. А тогда было, товарищ, значительно сложнее. Знаешь, воровать мне пришлось впервые в жизни, потому что наша темрюковская семья, род наш из поколения в поколение жил честным хлебом. А я вот соблазнился на такое грязное дело...

Открываю, стало быть, складскую дверь и никак не могу открыть — пальцы не подчиняются, будто их судорогой свело. И хотя на улице холодно, гуляет ветер, а с меня пот ручьями льется. Заливает глаза так, что и не рассмотреть, где доски, а где бревна. Все-таки вынес я бревно во двор. А уж когда вынес, почувствовал, что нервы у меня начисто расстроились. «Нет, — думаю, — это не мое ремесло — воровать. Пускай кто угодно берет этот лес, а я даже щепки не возьму».

И знаешь, дружище, когда я это злополучное бревно отнес на место, будто заново на свет родился: так легко стало на душе. До конца смены даже глаз не сомкнул, все думал и думал: о себе, о Зине, о сыновьях...

А когда смену сдал, то, не заходя в дом, снова махнул в исполком за пенсией. Нужно сказать, что я тогда им еще не очень надоел. Ходил лишь в собес. Но это могло продолжаться месяц, два, полгода. Сколько можно! И тогда я решил подняться на второй этаж. Заметь себе, что чем выше у начальства должность, тем повыше оно выбирает и кабинеты... Не знаю, как в других районах, как в области, а в нашем районе именно так. И показалось мне тогда, что делается это ради того, чтобы быть подальше от просителей.

К председателю исполкома меня не пропустили — у него в это время проходило какое-то совещание. Принял заместитель. Внешне так себе, ничего: простой такой, ничем не озабоченный, никуда не спешит. Выслушал меня, что-то даже записал красным карандашом в настольном календаре. Еще и спросил при этом: «Да кто же это вас так маринует? Зав собесом?» Так и хотелось ему ответить: «Ну конечно», — но я сдержался. Жаль мне стало заведующего собесом. Больно уж обходителен в обращении. «Не знаю, — ответил я заместителю, — кто там тянет, волынит, крутит, будто цыган солнцем. Только от этого промедления с пенсией они не доведут меня до добра». — «Не горюй, все будет в порядке», — заверил меня и этот товарищ.

Возвращался я домой в хорошем настроении, думалось мне, что теперь-то уж дело пойдет на лад. Шел я из исполкома и не знал, что не раз придется еще мне обращаться к заместителю председателя.

Сколько раз после этого он меня еще принимал, я и сказать сейчас не могу — потерял счет. Как на работу, ходил я в исполком, все порядки там основательно изучил. А заместителя председателя так изучил, что, скажем, стою в коридоре и уже знаю, чем он дышит там, за дверью. И как принимает, и как провожает... Терпел я, терпел — и амба, сказал себе. Решил я во что бы то ни стало попасть на прием к секретарю райкома партии. Время ведь не ждет, заканчивается лето, а дела мои не налаживаются, по-прежнему сижу с детьми в задымленной камерке. А осенью и вовсе будет невтерпеж: потолок от ветра осыпается, а когда пойдут дожди, и вовсе может обрушиться.

Выпил я, значит, граммов сто «сорокаградусной» для смелости и решил, махнув рукой на собес и на замести-

теля председателя райисполкома, идти прямо к секретарю райкома. Правда, тут было у меня одно неудобство — беспартийный ведь я... Но разве, — подумал я себе, — секретарь райкома лишь для коммунистов? На то он и партийный секретарь, чтобы всеми людьми интересоваться!

В райпарткоме я прямым сообщением попал не к кому иному, как к Александру Васильевичу. Это наш самый первый секретарь в районе. Да ты, видимо, знаешь его. Должен знать — на Первомайские праздники и на Октябрьские он всегда на площади речи произносит. Да и вообще он добрыми делами известен в нашем районе. Постучал я к Александру Васильевичу и слышу: «Входите, пожалуйста». Вхожу. Прямо передо мной, значит, длинный, покрытый красным сукном стол, а поперек ему другой, а уже за этим вторым и секретарь райкома сидит. И, конечно, Александр Васильевич не один. Справа от него за длинным столом председатель райисполкома, любезный заместитель председателя, военком, заврайфо, завсобесом и еще кто-то, незнакомый мне.

И хотя я был малость под хмельком, а сразу же заметил, что своим приходом я вызвал растерянность у райисполкомовских товарищей. Особенно побледнел завсобесом. Такой у него вид, будто я собрался огреть его костылем. Нагнулся, бедолага, втянул голову в плечи — и ни звука. «Вы по какому вопросу, товарищ?» — сурово спросил меня Александр Васильевич и встал. Судя по всему, я помешал ему вести какой-то серьезный разговор. Недаром же он собрал у себя столько работников райисполкома. И знаешь, товарищ, сто граммов оказались как нельзя кстати. Развязали они мне язык. Если бы я не хлебнул этого чертового зелья, видимо, никогда бы не решился рассказать секретарю о своих хождениях по мукам. А так — откуда у меня и красноречие взялось. Так разошелся, что и остановиться не могу. Даже в выражениях малость лишку дал: «Разве это, товарищ секретарь, у нас советские исполкомовцы?.. Это же ни больше, ни меньше, как законченные чиновники».

Александр Васильевич не останавливал меня, не прерывал. А мог бы. Видимо, рассказ мой задел его за живое. А поэтому он посмотрел в сторону заместителя председателя исполкома и тихо спросил: «Так было?» — «Приблизительно», — последовал ответ. Александр Василье-

вич лишь вздохнул на это. И уже потом сказал, что не только пенсия, но и медаль «За оборону Севастополя» полагается мне, и что военком должен немедленно позаботиться обо всем этом. Очень сильным оказался секретарь, — причмокнул языком Егорыч. — Тут, чтобы не отнимать у секретаря райкома драгоценное время, я и раскланялся. Прощался со мной Александр Васильевич за руку, крепко пожимал ее.

На следующий день вызвал меня повесткой наш военный комиссар подполковник Шатилов. Подробно расспросил обо всем: где и в каких частях служил я, при каких обстоятельствах был ранен, кто ампутировал ногу. Все на честность выложил я ему. Отпустил меня военком, а через месяц снова вызвал. И знаешь зачем? Чтобы медаль вручить.

Стою я, значит, перед подполковником Шатиловым, слушаю, как он говорит: «От имени Президиума Верховного Совета СССР... за активное участие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков при обороне Севастополя...» — а у самого дух перехватило от этих волнующих слов. Если бы могла встать и услышать все это моя Зина... Недаром ведь она любила повторять, что правда где бы ни ходила, а когда-нибудь обязательно и с нами встретится.

Вышел я из военкомата, приколот свою медаль к тельняшке и направился в исполком. Теперича, думаю, и в беседе со мной по-другому заговорят, поскольку уже совершенно очевидно, что я не кто иной, как подлинный участник войны...

— А разве товарищ Середенко, — прервал я Егорыча, — не выполнил указания Александра Васильевича?

— То-то и оно! Формально — выполнил, а фактически — нет.

— Как же это?

— А так. Собрал все мои бумажки, подколол к ним свою подпись и отправил в Симферополь в облсобес. Дескать, все, что от меня зависело, товарищ Темрюков, сделано. И вот, получив медаль, я решил снова зайти к Середенко. Принял он меня прямо-таки подчеркнуто вежливо, будто между нами ничего и не случилось, будто и не отчитывал его за мою особу сам Александр Васильевич. Середенко даже, имея в виду, поздравил меня с получением награды.

Принял я от него поздравление, а потом напрямик, по-матросски, говорю: «За награду, товарищ Середенко, я, конечно, всегда буду благодарен секретарю райпарткомма и военкому. А вот вспомню ли когда-нибудь тебя добрым словом? Очень в этом сомневаюсь!»

Он нисколько не растерялся от этих слов. Да разве смутишь такого? Известное дело — чиновник! И знаешь, что он мне сказал?.. С таким ехидным душком: «Конечно, медаль человека не кормит, но отныне тебе будут оказывать почести!»

Ну конечно, я не удержался и наговорил ему всякой всячины. Еще, наверное, и побил бы заведующего, да, к счастью, появился вдруг Махинька. Забрал он меня отсюда и постепенно утихомирил. Оно, конечно, нехорошо вышло, но ведь сам зав собесом до этого довел.

— Так неужели вам так и не дали пенсии?

— Как не дали? Пускай попробовали бы не дать! Я бы пожаловался самому министру. В том случае, если бы не было Александра Васильевича. Но у нас такой секретарь райкома, что не хуже министра справляется с бюрократами. Вот он и помог. Еще раз отчитал Середенко как следует и поставил перед ним требование: решить вопрос о пенсии в течение трех дней. Вот какой он, Александр Васильевич. Конечно, мне тоже дал нагоняй за невыдержку.

Вот теперь, товарищ, и моя жизнь не будет катиться вниз, а пойдет круто вверх, до самых облаков, вон до той гряды, куда полетели чайки... Потому как ни крути-верти, а если к заработку за сторожевание да еще добавить пенсию — это уже находка для нашей семьи. У меня сейчас и планы решительно изменились. В первую очередь я должен достроить дом и одеть на зиму мальчишек. А дальше будет видно... Не было бы только новой мировой войны. Пускай уж нам с Зиной довелось хлебнуть как следует этого «счастья», но ведь сыночкам зачем? Какая же, спрашиваю самого себя, достанется судьба моим детям?

— Думаю, что, во всяком случае, судьба эта, Егорыч, будет намного краше и светлее, чем ваша...

— Да оно, по всему видно, теперича к тому и идет, — согласился со мной Егорыч. — Время другое, много перемен произошло, — добавил он после короткой паузы.

Я взглянул на часы — было около шестнадцати. Извинившись перед Егорычем, что должен его оставить, я натянул свой жаркий китель и, тепло простившись, неохотно пошел по горной тропинке от моря.

Егорыч стоял на костылях у самой воды, и я чувствовал, что он пристально следил за мною. Чтобы убедиться в этом, я оглянулся. И тогда он крикнул мне вслед:

— А ты, судя по всему, свой человек! Вот буду праздновать новоселье — пожалуйста, не побрезгуй приглашением. Хороший гость приносит в дом радость.

И он мягко улыбнулся. И показалось мне, что от этой улыбки все вокруг стало нежнее — и каменные глыбы, и затянутое облаками небо, и море, которому все равно, пригонять ли волны к берегу, или, наоборот, уносить их от берегов.



ЗА БРУСТВЕРОМ ОКОПА

■

Ему семнадцать лет, и шинель у него совсем новая. В плечах широкая, висит на матросике, потому что он очень худой. Парень уже два месяца на флоте, но до сих пор еще не пришел в себя, не поправился, хотя и паек здесь лучше, чем в ФЗО, и мать этого парня, эвакуированная из-под Ровно в казахские степи, на последние копейки шлет сыночку посылку за посылкой.

— Таких еще не хватало на флоте, — недовольно буркнул главный старшина Припотень, когда принимал для роты новое пополнение и обнаружил среди дебелих матросов этого паренька. — Ну куда его зачислить? На камбуз, что ли?

Камбуза в роте не было. Нет его и в батальоне. Моряки высадились сюда десантом, захватили крохотный

плацдарм и будут удерживать его до тех пор, пока войска фронта не подойдут к городу с севера. Вот тогда они, черноморцы, должны будут отрезать немцам путь для отступления к морю.

В десант отбирали храбрых, выдавших виды, давно уже воюющих матросов. А этого зачем прислали?

Главный старшина морщился и разводил руками.

Пополнение пришло ночью — доставили катера «морские охотники». В темноте Припотень был рад каждому свежему бойцу. А утром главный старшина лишь вздохнул, увидев этого вояку. Военское звание у него, как у всех, — матрос. Но чем же он похож на настоящего матроса? Ну, к примеру, хотя бы и на главного старшину Припотеня? Главный старшина парень хоть куда. Высокий, грудь у него такая, что в один ряд вместились пять орденов и семь медалей. И еще есть место для новых наград. А этот парнишка Петька чем славен? Ничем. Беда с ним, да и только.

— Связным командира роты назначаю! — скомандовал главный старшина.

— Есть! — прикоснулся пальцами к бескозырке матросик и хотел было идти, но Припотень задержал его:

— Пойдите. Покажите свою ладонь, — огорошил он парня неожиданным требованием.

Петя протянул руку. Маленькая. Синие прожилки просвечивают сквозь нежную кожу. А пальцы длинные.

— Вам на рояле играть этими пальцами, — промолвил главный старшина. — Ну ладно, идите.

Матросик быстро побежал к командиру роты, лейтенанту Ярушкевичу. Представился.

Грустно смотрел Припотень на то, как ноги этого матроса путаются в длинных полах черной шинели.

«Ох, горе будет мне с ним! — невесело думал главный старшина. — Того и гляди отправит его лейтенант обратно. Да еще и выругает меня как следует. Кого бы ему назначить связным?» — мысленно перебирал в памяти всех проверенных в боях матросов.

— Старшина Припотень, к лейтенанту! — донеслось из командирской землянки.

«Я так и знал, леший его забори! — ругнулся про себя главный старшина. — Что виноват, так виноват. Пускай

уж лейтенант снимает стружку. Заработал. Однако ж куда я пристрою этого хлипкого парня?»

Припотень застегнул бушлат на все пуговицы, поправил погоны, мичманку и лишь после этого решился приоткрыть плащ-палатку, которой была занавешена дверь.

В землянке стлался сизо-горький дым от «буржуйки». Трещали влажные сосновые щепки. Слышно было, как пищит рация, — это неугомонный радист охотится в эфире за немецкими разговорами, хотя до сих пор так и не разгадал вражеский код. Лейтенант Ярушкевич сидит на снаряжном ящике и что-то записывает. Перед ним навтыяжку Петька.

— Ага-а, — доброжелательно тянет лейтенант, — значит, ты украинец?

— Так точно, — подтверждает матрос и тоже улыбается.

— Это хорошо, — продолжает лейтенант. — Земляки мы с тобой, стало быть. А что это у тебя оттопырилось? — обратил внимание на переполненный карман матроса.

— Сухари, товарищ лейтенант.

— Откуда?

— Мать прислала. Они из той муки испечены, которую мы привезли из дома, — из пшеничной. Хотите, угощу?

— Благодарю. Давно получили посылку?

— Перед выходом в море. Мама часто присылает, — неожиданно похвалился Петька и тут же добавил с грустью: — Раньше отцу посылала, а когда пришло на него похоронное извещение, стала мне присылать.

Лейтенант долго и внимательно изучает паренька. «Совсем дитя еще! Эх, проклятая война, кого только она не забирает! Учиться бы ему еще да учиться. А вишь, уже воевать нужно».

— Каким военкоматом призывался?

— Добровольно. Я комсомолец.

— Какой же ты комсомолец? — пошутил командир роты. — Ты ведь... комсомоленок.

— Возможно, — как-то неопределенно пожал плечами Петька.

У главного старшины зазвучала какая-то нежная струнка в сердце, и он тихим голосом начал:

— Куда его...

Командир роты доброжелательным тоном ответил:

— Связной мне нравится. Вот только шинель на бушлат замените. Матрос он бравый, — неожиданно похвалил командир, — а в бушлате будет казаться еще отважнее. Ну, сынок, — отпустил он Петьку, — переобмундируйтесь.

II

Зимы в здешних краях почти не бывает. Ее съедают густые, будто волокно, туманы, которые вместе с волнами ползут и ползут на берега Черного моря.

Неделями стоят гнилые дни и слепые — ни зги не видно — ночи. Вот отсюда, от самого моря, и туда, на север, к рядам немецких окопов, которые множеством поясов охватили плацдарм, выставлены матросские заслоны. Фронт стабилизировался. Отныне и наши, и немцы греются в землянках, а их безопасность охраняют дозоры и поисковые группы разведчиков. Дважды, а то и трижды на ночь лейтенант Ярушкевич проверяет дозорную службу. А за ним неотступно следует и Петька. Лейтенант умеет ходить беззвучно, едва касаясь мерзлой земли. Петька еще так не научился. То неосторожно стукнет, споткнувшись о замерзший ком, то угораздит в замерзшую лужу и трещит тоненьким ледком. Обойдут посты — лейтенанту словно бы и ничего, а Петька устал. Возвратятся в землянку, а отдохнуть негде. Уже неделя, как «буржуйка» погасла, не топится. На плацдарме все, что могло гореть, матросы сожгли.

Лейтенант ко всему привычен. Расстелет на полу какой-то обрывок брезента, накроется шинелью и отдыхает. А Петьке холод не дает спать. Присядет в уголке, согнет-ся в три погибели и сидит. Хорошо, что материны сухари есть. Когда ешь, вроде бы и время быстрее бежит, и не так зябко, и хорошие воспоминания согревают душу. И все видится ему весна, родные края, стежка-дорожка, по которой бегал семь лет в школу.

И тогда, как в эти дни на фронте, бывали туманы. Только это были совсем другие, не едкие туманы. И земля от них не мерзла, как тут, возле моря, а согревалась. Была теплой, влажноватой.

Замерз Петька, поднял воротник шинели, напялил на самые уши бескозырку. . . А воспоминания не дают покоя. Снова и снова перед глазами проселочная дорога, еще не

изъезженная колесами. Весна. Всюду пахнет свежей травой, от земли пар идет. Видит он родное поле, раскинувшееся до Бейжбарацкого леса, до его западной стороны, озаряемой заходящим солнцем. Старые, обросшие мохом и лишайником дубы склонились над той дорогой. А чуть-точку в сторонке от нее прошлогодняя полынь — высокая, густая, поседевшая, со светло-зелеными кустиками новых ростков у самой земли. Кое-где из зарослей полыни торчат репейник и стройная, опутанная повилкой бузина. Вдоль дороги — островки чабреца, золотистые капельки одуванчиков, сочный клевер.

Бывало, выбежит Петька на пригорок у дороги, оглянется на родное село, Варунивку, и дух у него от радости перехватит — так любит он свое село. Не сразу и заметишь, где оно кончается, а где начинается Бейжбарацкий лес. Издали в густых зарослях деревьев стены хат кажутся ромашковым цветом, а соломенные стрехи и черепичные крыши — сухими и желтыми листьями. Там, среди верб, осокорей и акаций, знает Петька, синими глазами смотрят в небо ставки.

Улыбается тайком Петька-матрос Петьке-школьнику, и оба любят голубым утром, расцветшей в сиреновом небе, чуть-чуть румяной тучкой, звонким жаворонком, который взлетел вверх и попытался достичь этого облачка. И Петьке даже кажется, что он и сейчас слышит песню и трепет слабеньких крыльев птицы. Все выше и выше поднимается жаворонок. Вот он уже сравнялся с верхушками дубов. Еще выше. Встретился с солнцем и запел громче. Слушать бы его Петьке не переслушать, да некогда, пора бежать, чтобы не опоздать к первому звонку. И Петька почти скатывается с пригорка на дорогу, бежит босыми ногами по мягкой, нетоптаной меже. Чудно ему — есть уже захотелось. Нужно посмотреть, что мать положила на обед. Засунул Петька руку в сумку, нащупал между книжками коржики, не удержался, вытащил один...

Сейчас и не вспомнить уже, какие были на вкус эти материнские коржики. Потому что эти пшеничные сухари, которые она прислала ему на фронт, кажутся теперь сладчайшими на свете.

Матрос достает из кармана сухарь и надкусывает его. Шершавый кусочек сухаря приятно хрустит на зубах, щекочет запахом позднего лета, которое одинаково ощу-

тимо и в сухарях, и на свежскошенной стерне. И тут вспомнилось: а как хорошо было с сельскими хлопцами бегать по золотистой стерне в погоне за сытыми, ленивыми куропатками и перепелками. С шумом срывались они из-под стожка и тут же, неподалеку, падали в стерню. Как ни щетинится стерня, но не колется — бежишь, бежишь, бежишь. И только вечером, когда мать велит помыть на ночь ноги, сам удивляешься: откуда взялось на твоих икрах столько царапин и засохших сгустков крови? «Ой, горюшко, — всплеснет руками мать, — ну что ты наделал?» А Петька на это с видом степенного человека отвечает, бывало: «Ничего; заживет, как на собаке», — и на следующий день снова бежит ловить перепелок.

А сколько солнца у них в августе! Загоришь, бывало, так, что когда разобьют у ставка цыгане шатер и пойдешь к цыганятам знакомиться, трудно бывает сельчанам отличить, где их, где цыганские дети...

Лейтенант перевернулся на другой бок, выглянул из-под шинели:

— Почему не спишь?

— Да я посижу, товарищ лейтенант. Мне так удобно, — соврал Петька. — Вот только вода в портянках. Как только пошевелишь пальцами, чавкает.

— Иди-ка сюда.

Петька хочет встать и никак не может. Ноги не слушаются — занемели, замерзли.

— Ложись ко мне.

— Да как же...

— Ложись. И ботинки сними.

Разулся матросик, прилег рядом с лейтенантом, укрылись шинелями. Петькины ноги командир прижал к себе. Обнял Петьку. Давно-давно когда-то вот так обнимала Петьку мать, когда он замерзал.

Лежит парень, а сон не берет его. Думает о своем командире. Спит. И во сне, наверное, суров. И брови, видно, насуплены, сдвинулись на переносице. И рот крепко стиснут. От уголков обветренных губ протянулись тенями морщинки. На высоком лбу от виска пролегла розовая полоска — картузом надавлена.

Лейтенант то и дело вздыхает и прижимает к себе матроса.

«Хотя бы на миг какой-нибудь уснуть», — думает

Петька и медленно закрывает глаза. А они не закрываются.

К тому же еще и море зашумело. Слышно, как бьется волна о волну, как шуршит галька...

III

Резкая очередь немецкого автомата зловеще вспыхнула в темноте. Громко ударила винтовка часового у землянки, и трассирующая пуля, метнувшись вверх, перечеркнула ночной покой.

Тревога!

Лейтенант выскочил из землянки. Петька — за ним.

Неподалеку строчили пулеметы, раздались оружейные выстрелы.

— Где рота? — на бегу спросил главного старшину Припотеня лейтенант.

— В окопах.

— А фрицы?

— Наседают справа.

— Много их?

— Изрядно.

Они побежали в расположение роты.

В-в-и-и-и! — мина.

— Ложись!

Петька свалился в полузалитый водой окопчик. Мина плюхнулась позади. Вскочил лейтенант. Вскочил и Петька. Не отстает от командира.

— Старшина Припотень!

— Я с вами! — откликнулся из темноты главный старшина.

— Цел?

— Бескозырку испортили, сволочи.

До окопов было около полутора шагов. А Петьке показалось — более двух верст. Медленно, очень медленно приближались они к окопам. И не вспомнишь, сколько раз немецкие мины заставляли их приникать к земле, а потом вскакивать и снова делать короткие рывки вперед.

Наконец передовой заслон.

Матросов не густо — на четыре-пять окопчиков один. Залегли в свободных окопчиках.

- Кто здесь? — спросил лейтенант.
- Матрос Хайруллин! — последовал ответ.
- Что делает враг?
- Шумит лишь. Но не атакует.
- Интересно.

Лейтенант долго размышляет: что обозначает этот ночной фашистский ход? Зачем враг бесцельно выпускает на ветер такое количество снарядов и патронов? Что-то тут не так.

— А вы случайно не всполошили фрица? — спрашивает лейтенант матроса Хайруллина.

— Нисколечко. Мы его не трогаем, — спокойно отвечает матрос.

— Тогда ясно. Главный старшина Припотень! Вы остаетесь за меня.

— Есть!

— Петька!

Лейтенант первым, ничего не объясняя, вскочил и, пригибаясь, побежал вдоль линии окопов. Петькины глаза никак не хотят привыкнуть к темноте. С большим трудом выхватывают они из дымчатой пелены ночи сгорбленную фигуру лейтенанта, которая то скрывается в кустарнике, то выскакивает оттуда. Все равно не отстанет Петька от командира. И хоть безжалостно стегают его по лицу упругие ветви и замерзшие руки уже не в состоянии как следует держать винтовку, Петька не отстанет ни за что.

Стрельба остается все дальше и дальше, за спиной. На этом фланге война еще притаилась в стволах автоматов и пулеметов.

Изменчива фронтовая тишина, только море что-то нежное и знакомое нашептывает матросам. И их сразу и не увидишь — так хорошо замаскировались.

— Кто здесь?

— Старшина Подолян, товарищ лейтенант! — будто из-под земли откликнулся старшина, на которого чуть было не наступил Петька.

— А с вами?

— Нет никого, я один.

— Немцы не лезли?

— Бог миловал.

— На бога надейся, а сам не плошай. Смотри повнимательней!

— Так точно, товарищ лейтенант.

- Пулемет исправен?
- Абсолютно.
- Где второй номер?
- Ранен. Отправил в тыл.
- Связного на помощь оставить?

У Петьки даже дух перехватило — мечтал попасть в пулеметчикн.

- Не возражаю.

Лейтенант оставляет Петьку при старшине, а сам как неожиданно появился, так неожиданно и исчез в зарослях. Двигался он беззвучно, не было слышно, как удаляются его шаги. К тому же и тут слышны отзвуки недалекого боя.

— С «максимом» знаком? — шепотом обратился старшина к Петьке, когда тот поудобнее расположился в пулеметном гнезде и перевел дыхание.

- Немного.
- Стрелял?
- Не приходилось.
- Жаль.
- Сухарика хотите? Домашнего?

И Петька протянул сухарь. Старшина не отказался. Жуют сухари. Как и раньше, фашисты не выдают себя. Может, напрасно лейтенант Ярушкевич беспокоится об этом участке плацдарма? Ведь немцы все еще назойливо ведут обстрел центральных позиций? А у моря пробиться по узенькой полоске побережья почти невозможно. Атаковать моряков именно с этой стороны — безумие. На это и рассчитывает командир десанта, приказавший лейтенанту ограничиться здесь одним пулеметом. На плацдарме все на учете, силы нужно распределять с толком.

— Выходит, мы и воевать не будем? — огорченный объяснениями старшины, негромко спросил Петька.

— Эх, друг мой, друг, — мягко взъерошил Петькины волосы старшина, — на твой век такого горя, как война, еще хватит. Не в одном десанте еще побываешь, как я вот. Помню и выборгский десант в финскую кампанию, и феодосийский, и керченский, и новороссийский, и вот этот. И не думаю, что будет последним. Есть кого освобождать! Ждут нас родные люди в Одессе, в Николаеве. А там, глядишь, метнутся фашисты в Румынию или Бол-

гарию — и туда нужно спешить с десантом, добивать зверя. Батальон наш гвардейский. Кому же, как не нам, быть впереди?

— И я всюду с вами? С пулеметом?

— Конечно. Если комроты не заберет тебя обратно к себе. Где тебе больше нравится — с лейтенантом или со мной?

Задумался Петька.

— То-то и оно, — одобрительно отметил старшина. — Лейтенант у нас — это лейтенант. Настоящий боевой офицер.

— А разве бывают офицеры и не настоящие? — с детской наивностью допытывается Петька.

На этот раз уже отмалчивается старшина. Он долго и старательно перекладывает коробки с пулеметными лентами, прилаживается, чтобы лучше следить за расположением врага и чтобы в случае боя они с Петькой не мешали бы друг другу.

— Сухаря хотите? — снова предлагает Петька.

— Давай.

Поднес старшина сухарь ко рту и не откусил. Немцы.

Они появились неожиданно. Шли осторожно, друг за другом, вдоль берега моря. Сверху, из пулеметного гнезда, казались они Петьке слишком маленькими, значительно меньшими, чем он. Парень не мог поверить, что это и есть те фашистские молодчики, о которых он столько слышался страшных рассказов. И чем ближе немцы подходили к ним, тем сильнее и яростнее разгорался бой на правом фланге плацдарма.

Что ж, хитрость врага не стоит выеденного яйца. Лейтенант Ярушкевич давно уже разгадал замысел гитлеровцев. Они отвлекают внимание батальона, дабы незамеченными пройти здесь.

— Ничтожества, черт бы вас побрал! — ругнулся старшина. — Ищете дураков? Не там ищете. Петька, за дело!

Петька отложил в сторону винтовку, расправил перед собой плотно набитую патронами ленту и уже весь жил ради одного — ради пулемета.

А немцы все движутся и движутся. Без всяких команд, — видно, хорошо вышколены для ночных налетов. Это уже не тени, а сильные солдаты-гренадеры, с ко-

торыми старшина Подолян встречался уже в предгорьях Кавказа. Тогда 137-й гренадерский полк врага, разбитый наголову моряками, едва добрался до Краснодара. Теперь он был пополнен, переформирован и снова брошен против черноморцев.

Старшина держит мушку прицела на переднем немце. И еще какую-то минуту, ничего не подозревая, немец находится на мушке «максима» и вдруг, словно бы поскользнувшись о морскую волну, набегавшую на берег, падает навзничь.

Это старшина Подолян нажал на гашетку. Забился, застрочил «максим». Еще троих срезал. Остальные залегли. Подолян отпустил гашетку, и пулемет, не закончив второй очереди, послушно умолк.

Прокатилось и где-то неподалеку в море утонуло тревожное эхо.

У Петьки зазвенело в ушах, и он ничего не мог понять. Это и все? Немцы теперь будут отползать, пятиться назад? Недолго думая выглянул из укрытия. Тотчас же просвистела над головой пуля, и только чуточку погодя донесся звук выстрела.

— Береги нос, заденет — начисто снесет, — пошутил старшина, а сам подумал: «Хотя бы парень оказался не трусливым. Работы, вижу, хватит до утра».

Да, для старшины Подоляна это была обыкновенная фронтовая работа. Как собственную выдумку он иногда вспоминал гражданскую одежду, слесарную мастерскую в МТС, первую заработную плату и девичьи песни по вечерам. Седьмой год служит старшина на флоте и из них почти четыре находится в боях. И когда лейтенант Ярушкевич спросил однажды, кто он по специальности, старшина вполне серьезно ответил: «У меня пока одна специальность — бить фашистов. Закончится война — переквалифицируюсь».

А Петька тем временем молчал лишь потому, чтобы не надоедать старшине излишними вопросами. Он все выполнит, что прикажет Подолян.

Немцы, укрывшись в прибрежных камнях, начали оттуда вести стрельбу наугад. То и дело свистели пули над головой. Лишь одна звякнула неподалеку о камень и высекла пучок красных искр.

— Ну, стреляйте, стреляйте, — сказал старшина. — Увидим, чему научило вас Туапсе.

— Рус, сдавайся! — не поднимаясь из-за камня, крикнул морякам хриплым голосом какой-то чудной немец.

Высунулась каска, но во весь рост немец не решился встать. Петька придвинул к себе винтовку, начал поудобнее прилаживать ее и целиться, но старшина положил на ствол руку — подожди.

— Иди сюда! — позвал пулеметчиков тот же самый хриплый голос и спрятал каску.

Старшина задумался. «Нет, этот гитлеровец не из глупых. Неспроста заговаривает. Не решили ли фрицы обойти пулемет другой стороной? Не зря ведь и до сих пор в центре плацдарма все еще бьют немецкие минометы и беснуются пулеметы. Неужели проклятые фашисты догадались, что между пулеметным гнездом и ближайшим заслоном есть просвет? Если догадались, прорвутся».

— Петя, — шепнул Подолян и привлек парня к себе.

— Слушаю вас, товарищ старшина.

— Один... сам... сможешь?

— Как это?

— Боюсь, что фрицы решили пройти сквозь разрыв. Знаешь, о чем идет речь?

— Знаю.

— Так вот, найди окопчик посередине между мной и крайним заслоном и держи оборону.

Сказал старшина Петьке, а сам пристально смотрит ему в лицо: способен ли парень справиться с такой задачей, не растеряется ли без поддержки?

— У тебя есть гранаты?

— Две.

— Возьми еще и мои.

Старшина поделился гранатами, подбадривающе пожал Петьке локоть, и парень пополз.

Ямы, воронки от взрывов, колючая прошлогодняя трава. А парню кажется, что она вовсе не колется. Разве лишь натолкнется матрос на острые колючки, вытащит ту, которая впилась в лицо, и ползет дальше.

Оглянулся — не видно ни пулемета, ни берега моря, где залегли фашисты. Вскоре должен быть какой-нибудь окопчик. А его все нет. Начался кустарник. От кустарника в сторону немцев голая площадка. Вот здесь, в зарослях, Петька и решил занять оборону.

Под кустом карликовых сосенок и дубков обнаружил

давно кем-то вырытый в песке и забытый окопчик. Его края осыпались. Прибитый дождями, бруствер еле-еле заметен. Парень пожалел, что не захватил с собою саперную лопатку, чтобы навести здесь порядок. Но понадобилась ли бы ему лопатка? Петька еще не успел как следует разобраться в обстановке, где он и какое расстояние до заслона, а фашисты уже вот они, на площадке. Медлить нельзя ни одной минуты. Винтовка легла на бруствер, выстрел, резкий толчок в Петькино плечо. Не попал. Еще выстрел. И, словно бы в поддержку Петьке, застучал «максим» старшины Подоляна.

Но немцы не обращали внимания на пулеметные очереди, — они посылались не им, а тем, кто пытался прорваться вдоль берега моря, — бегут на Петьку. Он плавно нажимает на спусковой крючок, и подкошенный пулей гитлеровец падает ниц.

«Почему они не стреляют? Почему не стреляют? — не дает покоя назойливая мысль. — Чего хотят? Незаметно пройти в наш тыл? Волки, настоящие волки!.. Нет, это у вас не выйдет».

В маленькой руке Петьки зажата холодная, как комок льда, «лимонка».

Швырнул. Ослепительно яркая вспышка, взрыв, протяжное эхо.

Граната положила врага на землю. Петьку ослепило. Он не успел прийти в себя, а немцы уже на ногах. И снова взрыв гранаты преграждает им путь. Похоже, они решили окопаться. Это лучше. Парень перезарядил винтовку, подсчитал гранаты. Между патронами нащупал сухари. Достал один, тихонько откусил.

Как и в землянке, ароматный сухарь напомнил Петьке августовскую золотистую степь, огромное солнце и белое, будто аист, облачко. Когда-то в детстве ему очень хотелось поймать себе такое облачко, но они пролетали высоко-высоко, и он ни одного из них так и не поймал.

Немцы не окапывались. Выждав минуту, сориентировавшись, вскочили...

IV

В центре плацдарма бой затихал. Сначала умолкли орудия, потом минометы и наконец автоматы и винтовки.

Так и не начав пехотной атаки, немцы успокоились на этом участке. И тогда лейтенант Ярушкевич услышал, как на левом фланге, ближе к морю, одна за другой разорвались четыре гранаты. А когда прислушался внимательнее, услышал и короткую, но очень знакомую пулеметную дробь. Бил «максим». Значит, его предположение оправдалось, тут была демонстрация, а там — атака. Что делать? В роте тридцать семь бойцов. Еще в заслоне пятеро. Кого взять с собой?

— Хайруллин!

— Есть!

— Бобков!

— Есть!

— С отделениями за мной!

Подмоги Петька не ждал. Он даже забыл, что кроме него и старшины Подоляна есть еще отделение, рота, батальон моряков, есть лейтенант Ярушкевич, который и в момент ожесточеннейшего обстрела помнит о новичке. Петька полагается только на себя и на старшину Подоляна. Это не кто иной, а именно он, старшина Подолян, время от времени откликается пулеметными очередями.

Где же это замешкался рассвет? Почему такая бесконечно долгая ночь?

У него осталось совсем мало патронов, и стреляет он лишь тогда, когда фашисты пытаются продвигаться вперед. Он умеет стрелять. Это потом подтвердит и старшина Подолян.

«Ну, идите же, идите! Сколько еще вас?»

И немцы пошли. Переступая через трупы убитых, они продвигались двумя разомкнутыми шеренгами. Ближе, ближе. Их было много, так много, что парень никак не мог выбрать себе цель. Наконец выстрелил. Еще и еще раз. Потом снова нажал на спусковой крючок, а винтовка уже занемела. И тогда взлетел Петька на бруствер окопчика и сколько было мочи воскликнул:

— Стойте! Слышите? Стой-те-е!

В его звонком, решительном голосе было столько требовательности, столько непреодолимой силы, что черная лавина врагов на какой-то миг оторопела. И уже не от смелости, а от страха затрещали автоматы гитлеровцев. Петька не устоял на ногах.

Из ближайшего кустарника, сразу нащупав фашистов, застучал матросский «станкач», вслед за ним ударили винтовочные залпы. Немецкие автоматы захлебнулись. Будто помелом смело с площадки тех, кто уцелел.

Моряки занимали новые позиции.

Нашли матросы Петьку за бруствером окопа, в луже ржавой воды. Глаза у него были открыты, губы занемели в крике. В одной руке он стискивал винтовку, а в другой — залитый кровью сухарь.



СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ МАКИ

Свежий ветер колыхал море.

Сапун-гора стояла в легкой дымке полуденного солнца, манила к себе и сердце мое, и память.

В небе, словно колокольчики, поют жаворонки. От нежного прикосновения ветерка тают росинки на травах, под теплым лучом расцветают маки.

Меня очаровывает дружное пробуждение цветов. Распускаются маковые лепестки, и, будто сонные глазки, мерцают на солнце черные, еще не обветренные тычинки.

Здесь — маковое царство.

Я наклонился и сорвал яркий цветок. Красивый, горящий свежестью, он напомнил мне одну легенду. Рассказал ее на передовой бывалый матрос накануне штурма Севастополя.

Будто сейчас вижу его. Худощавое, не слишком гладко выбритое лицо и воспаленные глаза, окруженные глубокими морщинами.

А еще вспоминаются черные, слегка порыжелые около губы усы, которые устало свисают вниз, на груди медаль «За оборону Севастополя».

Кем он был до войны — не знаю. У нас этот матрос служил только две недели десантником. Я слышал, что моряк воевал и был ранен под Новороссийском, долго лежал в госпитале.

На этот участок фронта он попросился сам.

Мы лежали рядом, ожидая сигнала атаки.

Сигнал — две зеленые и одна красная ракеты — разглядеть было нелегко: над Сапун-горой и рядом с ней стояла сплошная стена огня и дыма. Вторые сутки гремели пушки.

Звенели, посвистывали пули.

А вокруг цвели маки.

Цветам казалось, что все это неизвестно для чего. Даже тогда, когда отозвались немецкие батареи и перед нашими окопами начали вспыхивать взрывы снарядов, выворачивая из земли чудесные цветы, маки умирали безмолвно.

Я никак не могу этого забыть. Из воспаленных глаз моего соседа-черноморца брызнули чистые, как и его душа, слезы. Ему было жаль цветов!

Матрос поправил каску, высунулся из окопа и прислонил к груди несколько ярко-красных маковок. Погладил их шероховатой и черной от пороховой копоти ладонью, словно отец маленьких детей.

Он гладил их, а они, будто и в самом деле его детишки, не отстранялись.

Это волновало матроса. Он не выдержал и спросил:

— Сережка, ты когда-нибудь бывал в Севастополе?

— Не доводилось, — ответил я.

— То-то ж, сразу видно. Даже севастопольских цветов не замечаешь. Мы, черноморцы, всегда их приветствуем.

— Да-а, — согласился я, — таких цветов действительно не встречал, их тут целое море.

— Об этих маках люди легенду сложили. Говорят, что все идет от первой обороны Севастополя. Сто лет назад тут тоже стоял фронт. Отстаивали деды родную

землю. Много полегло, не одну выкопали братскую могилу. Столько крови пролито, что если б собрать ее всю, настоящее море вышло бы. Вот и говорят люди: после Крымской войны земля летом покрывается маками, словно сама природа кладет венки павшим героям.

Взлетели ракеты. Залпом ударили пушки, гвардейские минометы.

Кто-то крикнул:

— Вперед, моряки! За Севастополь! Ура-а-а!

Тысячи людей подхватили этот призыв и понесли вперед.

Мы бежали к Сапун-горе лавиной, которую уже нельзя было сдержать.

Я почти ничего не видел, а еще меньше слышал, захваченный пылающим вихрем боя. Мне казалось, что еще какая-нибудь волна — и я провалюсь в бездну.

Но вот над головой тяжелое дыхание утомленной груди и знакомый голос:

— Не отставай, сынок, не отставай. Я уже вижу их!

Усатый матрос вырвался вперед, и я следом за ним увидел врагов.

Там уже вершина Сапун-горы!

До фашистских траншей оставались метры, когда краснофлотец остановился. Будто знамя, поднял вверх автомат, и в суматохе боя послышался его голос, обращенный к товарищам:

— За мно-о-о-й! За мно-о-о-й!

Я не видел, как он упал. Я не мог представить его мертвым. Не шаг, не два и не сто — до самой вершины Сапун-горы, до самого моря, сколько я бежал, падая и снова поднимаясь, он звал меня за собой.

А потом с измятой бескозыркой в руках стоял я над ним с низко опущенной головой. Думал о победе, о славной матросской жизни, о севастопольских маках.

... По крутым склонам Сапун-горы всхожу на зеленую вершину. Вокруг тишина. Обелиск Освобождения, будто устремленный в небо меч, поднялся над могилами, над горами, над всем Крымом.

Солнце лучилось на гранях, на золотых буквах надписи: «Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные!..»

На горизонте открывается величественная панорама. Поднимался одетый в инкерманский камень возрожденный город. Над ним, над его бухтами, словно запоздалый туман, стоит сизый дым — корабли собираются в поход. Дальше, на западе, сходясь с небом, синее море. От Сапун-горы и Мекензеевых гор к самому городу подступали маки, они только начинали цвести. Но пламенели так густо, что казалось, все слилось в один гигантский красный ковер.

У подножья Сапун-горы по этому ковру синим пятнышком ходит девушка и срывает цветы. И кто знает, может, она понесет эти маки, севастопольские маки, в свою приветливую мирную комнату, и поставит букет на столе, и будет говорить с ними о жизни, солнце и бессмертной славе героев.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА. <i>Роман</i>	5
СТАРЫЕ РАНЫ. <i>Повесть</i>	209
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ МАКИ. <i>Новеллы</i>	
Вице-адмирал принимает революцию . . .	259
Правильный боцман	283
Чайки летят за облака	294
За бруствером окопа	324
Севастопольские маки	339

**Лэгвиненко
Виталий Андреевич
ТЯЖЕЛАЯ ВОДА**

М., Советский писатель», 1975, 314 стр.
План выпуска 1975 г. № 212.
Художник *Н. А. Короткин*
Редактор *А. И. Чеснокова*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *С. И. Малкина*

Сдано в набор 7.V 1975 г. Подписано в печать 3/IX 1975 г. Бумага 84×108¹/₂, № 1.
Печ. л. 10³/₄ (18,06). Уч.-изд. л. 17,88. Тираж 30 000 экз. Заказ № 520. Цена 71 коп.
Изд-во «Советский писатель», Москва Г-63,
ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 5 Союзполиграфирема при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.



71 к.

Г